

Огни Кузбасса

№ 1 / 2022



Поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым!



Сергей и Алексей Ткачевы. Зима в деревне

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Б. В. Бурмистров,
г. Кемерово, председатель
общественного совета

Н. Ф. Иванов,
г. Москва, председатель
Союза писателей России

А. И. Юдина,
г. Кемерово, министр
культуры и национальной
политики Кузбасса

И. Ф. Федорова,
г. Кемерово, председатель
комитета по вопросам
образования, культуры
и национальной политики
Законодательного
собрания Кемеровской
области – Кузбасса

С. Ю. Куняев,
г. Москва, лауреат
Государственной премии
им. М. Горького, главный
редактор журнала
«Наш современник»

В. Н. Крупин,
г. Москва, первый лауреат
Патриаршей
литературной
премии

Г. Л. Немченко,
г. Москва, лауреат премии
«Прохоровское поле»

Д. Я. Голофаст,
директор по внешним
связям и имущественным
отношениям Кузбасского
филиала ООО «Сибирская
генерирующая компания»

ЖУРНАЛ
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

Огни Кузбасса

ИЗДАЕТСЯ С 1949 ГОДА

№ 1 / 2022

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ

Литературный журнал
выходит
при поддержке
Министерства культуры
и национальной политики
Кузбасса

Главный редактор
С. Л. ДОНБАЙ

Редколлегия:

Татьяна ИЛЬДИМИРОВА
Андрей КОРОЛЕВ
Вера ЛАВРИНА
Олег МАКСИМОВ
Дмитрий МУРЗИН
(ответственный
секретарь)
Агата РЫЖОВА
Елена ТРУХАН
Дмитрий ФИЛИППЕНКО
Марина ЧЕРТОГОВА
Евгений ЧИРИКОВ
Григорий ШАЛАКИН

Адрес редакции:
650000, Кемеровская область,
г. Кемерово, пр. Советский, д. 40,
тел. 8 (3842) 36-85-14



12+

Содержание

ПРОЗА

Андрей Королев. Догони радугу. Роман	4
Кристина Кармалита. Бог с соседнего балкона. Рассказ	68
Надежда Усольцева. Рассказы	78
Александр Кердан. По главной линии. Рассказ	87
Владимир Максимов. Праздник, который всегда... Повесть	94

ПОЭЗИЯ

Андрей Правда. На прогулке	65
Елена Русанова. Русское словушко, где ты, соловушка?	75
Евгений Казаков. Бабочка в небе заблудилась	85
Сергей Москвитин. После летней грозы	92
Юрий Могутин. Отзвук жизни прожитой	124

ДРАМАТУРГИЯ

Михаил Косарев. Там жили поэты... Диалоги в ресторане	126
---	-----

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЧТЕНИЯ

Приветствие Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского	136
--	-----

КНИГА ПАМЯТИ

Владимир Келлер. Из Поволжья – в Кузбасс	138
--	-----

ЛИКИ ЗЕМЛЯКОВ

Александр Ярошук. Инженер-романтик, всегда дававший результат	157
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ

Молодежный литературный фестиваль-конкурс «Оперение».

Аня Пронкевич, Климентий Малиновский, Богдан Рытенков, Андрей Назаров. Стихи	160
---	-----

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ирина Заболотская. До выстрела подумать о душе (к 80-летию Анатолия Кулемзина)	163
Ирина Надирова. От читателя к читателю. О книге Дмитрия Филиппенко «Зайди за мною жить»	164
Татьяна Колач. Россия и стихи – едины	164
Дмитрий Филиппенко. На честном слове. Два смысла – и оба правильны	166

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Литературная хроника. Подготовил Дмитрий Мурзин	169
---	-----

Русскому поэту Юрию Левитанскому – 100 лет



(1922–1996)

Собирались наскоро,
обнимались ласково,
пели, балагурили,
пили и курили.
День прошел — как не было.
Не поговорили.

Виделись, не виделись,
ни за что обиделись,
помирились, встретились,
шуму натворили.
Год прошел — как не было.
Не поговорили.

Так и жили — наскоро,
и дружили наскоро,
не жалея, тратили,
не скупясь, дарили.
Жизнь прошла — как не было.
Не поговорили.

ОБРАЩЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ ПО ПОВОДУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НАШЕЙ АРМИИ В ДОНБАССЕ И НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Специальная военная операция, проходящая сейчас в Донбассе и некоторых частях Украины, назревала давно. Запад не оставлял попыток так или иначе уязвить Россию, очернить ее и в конце концов расчленить. Этому есть многочисленные свидетельства: от рассекреченных военных планов НАТО по уничтожению России и постоянных нагромождений лжи американскими телеканалами до физического устранения выступивших против фашистской идеологии людей на Украине.

Особый размах антироссийская истерия приняла с 2014 года, когда крымчане свободно и почти единогласно решили присоединиться к России, а Донбасс не захотел больше унижений за то, что говорил и думал по-русски. И Россия поддержала эти законные требования.

Наше стремление к диалогу, обеспокоенность России проблемами безопасности не были услышаны. Сознательно сеялась рознь с помощью агрессивных военных действий, фейковых новостей, информационных провокаций и инспираций. Восемь лет мы терпеливо уговаривали все стороны исполнять Минские соглашения, но Запад давал Украине негласное добро на их срыв.

Стравливание славян между собой недопустимо. Мы, россияне, не хотим никого ни с кем стравливать! Русские не начинают войну. Русские обычно ее заканчивают. Специальная военная операция России направлена на то, чтобы в Европе установился мир.

Мы любим украинский народ, поем украинские песни, смотрим украинское кино, молимся в одних и тех же храмах. У нас общие мысли и острое желание вдохнуть наконец воздух уже близкой, общей для наших народов весны. У нас великие писатели, связанные одними духовными радениями о счастье, свободе, мире, человеке. Лев Толстой и Николай Гоголь, Тарас Шевченко и Александр Пушкин, Леся Украинка и Анна Ахматова. У нас несметное число общих побед и достижений, которые никому не перечеркнуть.

Россию часто назначали виновницей того, в чем виноваты были другие. Величие нашей культуры, армии, духа воспринималось как то, с чем надо покончить. Чего только стоит запрещение концертов Валерия Гергиева и Дениса Мацуева в Нью-Йорке...

Но теперь Россия не бессильна! Отсюда дикая злоба и оголтелые нападки на нашу страну как снаружи, так и изнутри. Однако теперь мы сумеем защитить и себя, и дружественные страны, защитить нашу великую культуру и вековые связи.

А что было бы, не начнись военная операция? Продолжили бы свои людоедские марши по Киеву бандеровцы, убивали бы украинских журналистов, так и сидели бы по тюрьмам учителя русского языка, остались бы безнаказанными злодеяния тех, кто в Одессе сжигал людей заживо, перенимая тактику гитлеровцев, повисла бы над Россией грязная бандеровская атомная бомба!

Так кто же хочет жертв? Наши войска, пока не уничтожившие намеренно ни единого мирного жителя? Или те, кто ведет непрекращающуюся лингвистическую войну против русского языка, а также информационную войну против русского сознания? Ответ ясен. Жертв хочет обнявшийся с нацистами Запад, хотят бандерлоги, братающиеся с натовцами.

А чего хотим мы? Мы хотим, чтобы Украина была суверенной и дружественной, процветающей и свободной. Но не хотим, чтобы ею правили нацисты.

Вот поэтому с горечью, но и с надеждой смотрим мы, писатели, на вынужденные действия Российской армии. С надеждой смотрим на президента. И тут же с радостью видим: многие украинцы прозревают, встречаются войска флагами, как, например, в Мелитополе, или вместе несут боевое дежурство, как на Чернобыльской АЭС, и все чаще клянут командование батальонов с фашистской символикой, бросающее в бой необученных безусых солдат.

Писатели не хотят войны, не хотят вмешиваться в политику. Гуманитарные документы всего мира прямо запрещают это. Но голос разума и вдохновения, голос литературы все равно прозвучит и сегодня, и позже, когда придет пора изобразить то, что происходило в наше неповторимое, хоть и безумно трудное время.

Мир тебе, Украина! Мир вам, Россия и Белоруссия! Из одного истока мы, и этот исток Руси изначальной будет питать и нас, и близкие нам по духу народы всегда!

Обращение на данный момент подписали: <https://lgz.ru/article/-8-6822-23-02-2022/kto-khochet-zhertv/>

Распространение в интернете ссылки на материал приветствуется.

**Андрей
КОРОЛЕВ**

ДОГОНИ РАДУГУ

Роман*



Жене

СЕГОДНЯ (Вступление)

Сегодня мне исполнилось двадцать пять и я начал свой роман. С какой стати я решил совместить два этих выдающихся события – мне и самому не вполне ясно. Может быть, меня окончательно уели разговоры о шестилетних Моцартах и пятнадцатилетних Гатах Камских и я решил, что и 25 лет тоже не слишком много, я еще достаточно молод и чист и еще не совсем закорстел? А может, я просто поленился ждать до семидесяти пяти, когда начинать новую вещь, безусловно, более почетно, но зато и более ответственно (уже не сошлешься на инфантильность и не подстрахуешься тем, что «все еще впереди»)? Честное слово, не знаю, но я все же начал и в любом случае проявил похвальную прыткость и не слишком рисковал: в двадцать пять ты уже, слава богу, не ранимый юноша и еще, упаси боже, не ущемленный в правах *молодой писатель*, и все тебе, как говаривал мой армейский начальник подполковник Беднушкин, как с гуся трава!

Кстати, об армии.

Так уж получилось, что два года назад я призвался (?) и, как нетрудно догадаться, совсем недавно уволился (?) в запас (???). Впрочем, если учесть, что я был основным игроком в футбольном СКА, один вопросительный знак после слова «запас» смело можно опустить. Можно также опустить по поводу моей службы пару пассажей в жизнерадостном стиле, дескать, «сам не знаю, почему АНЗЮС не напал на нас: я был ощутимой брешью в обороне», или еще что-нибудь в этом же духе, но, во-первых, к обороне я имел не самое прямое отношение (я был полузащитником), а во-вторых, сейчас мне пока еще не до шуточек, а потом, подозреваю, не достанет нужного сарказма: я человек отходчивый.

А начал я об армии для того лишь, чтобы еще на раз умыть руки: вот где набираешься ценнейшего инфантилизма! Мне, по крайней мере, на втором году службы приходили в голову мысли исключительно детские, на уровне «хочу – не хочу», и почти не приходили интеллектуально-творческие. Часть ответственности за это я, пожалуй, могу принять на себя (обычно мне просто лень было дойти до библиотеки), но основную долю вины все же вынужден свалить на объективные причины: все равно в ней, кроме

* Печатается в сокращении.

КОРОЛЕВ Андрей Александрович родился 13 июня 1964 года в Кемерове. Играл в футбол за команду «Кузбасс». Служил в армии. Окончил филологический факультет Кемеровского государственного университета. Более тридцати лет работал в газетах («Комсомолец Кузбасса»/«Кузнецкий край», «Край», «Губернские ведомости», «Российская газета», «Кузбасс»). Публиковался в журналах «После 12», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни». Живет в Кемерове.

«Белого клыка» и «Маленькой железной двери в стене», читать было нечего. Спасибо сослуживцам: все эти два года у меня в тумбочке как-то смог сохраниться старенький Кортасар из серии МСП – он-то и помогал мне (если только Кортасар может кому-то помочь) не опроститься окончательно. Да еще письма из дома (ах, эти примитивно-трогательные письма из дома!) и – еще важнее! – письма домой: благодаря им я поддерживал на уровне свою врожденную грамотность и оттачивал легкость стиля. Возможно, это не слишком много, для того чтобы начать роман. Но, поверьте, и не слишком мало. Оставалось только дослужить без залетов и приступить к делу. Вопрос только – когда?

И вот представьте теперь, как застучало мое сердце, когда в конце апреля мой шеф Беднушкин остановил меня в коридоре штаба (не стану утверждать, что я оказался там совершенно случайно) и вдруг спросил:

- Как дома-то?
- Да как... – вяло отозвался я.
- Мамка с папкой ждут?
- Ну дак, наверное... – горько отозвался я.
- И дивчина?
- Х-хэ!

Сказать по правде, пока я лишь в самых общих чертах представлял себе ждущую меня дивчину, но не сомневался, что какая-нибудь сейчас наверняка только этим и занимается!

– У меня день рождения пятнадцатого, Виталь Палыч, – ввернул я, и, кажется, довольно невпопад.

– Значит, домой, – сказал он, видимо, не слышав мою последнюю вводную.

Я кивнул и преданно заглянул ему в глаза.

– Ну-ну, – сказал он и отошел, оставив меня в самой тяжеловесной задумчивости.

Если это был намек, то слишком для меня тонкий. Я предпочел бы что-нибудь менее теплое, но зато по-армейски четкое, например: «Чтобы сегодня же духу твоего здесь не было!» Честное слово, я бы не обиделся.

Но вскоре выяснилось, что, хотя дембель и неизбежен, справить свой день рождения дома я смогу лишь в случае победы нашей команды в городском турнире по мини, посвященном, кстати, Девятому мая. Знали ли несчастные наши соперники, какие тучи сгущались над их головами? К счастью, вратарь головной автоколонны, с которой мы встречались в финале, оказался действительно головастым парнем и всего лишь за литр

благополучно пропустил один мяч от меня уже в первом тайме и еще два от других дембелей – во втором. Теперь мы имели полное право обступить Беднушкина в раздевалке и испытующе уставиться на него.

– Ну что? – непроницательно осведомился он.

– Обещали, Виталь Палыч, – нашелся кто-то.

– Ну и поедете завтра, – сказал он таким тоном, словно до этого каждый день выпроваживал нас, а мы все как-то отнекивались. – Только смотрите мне не нажритесь сегодня, – добавил он отцовски-ворчливо и обвел нас зорким взглядом. – А то будет вам тогда дэ-эм-бэ!..

– Что мы, дураки? – искренне возмутились мы.

Мы действительно были не дураки и поэтому нажрались только на следующий день, только получив документы и только-только выйдя за пределы части...

И вот я уже сижу дома перед раскрытым майским окном и довольно ясно различаю в нем даль свободного романа: герой-симплиций в новой неестественной среде, несколько его приятелей, пара-тройка дивчин и коварный антагонист. И разумеется, пикантные сценки через равные промежутки по всему тексту – для затравки. Ничего, пойдет?

Глава I

ТРЕТЬЕГО ДНЯ

(Боб М. Моткин – жуир и бонвиван)

В ночном кафе мы молча пили кьянти.

Я шагнул из вагона и мысленно запечатлел этот миг для потомков: утренне-яркое небо, длинное и приземистое (со стороны города гораздо выше) здание вокзала, чисто-пустынный перрон и в центре – моя некогда статная фигура в слегка изжеванном спортивном костюме, солдатских ботинках и с сумкой на плече. Камера выхватывает украшенный здравицами фронтон здания, группу пионерок-нимфеток с полевыми цветами, потного председателя горсовета с хлебом-солью и, наконец, наезжает на мое выспавшееся, свежее, приятное, улыбающееся лицо. Стоп-стоп, лицо снимать не будем, не видите разве – переволновался человек, растроган да и брился явно не сегодня. Лучше дадим его вскользь, панорамой, а то и просто заменим ка-

скадером – румяным и с американской улыбкой: che-e-e-ese! Приезд и встреча, дубль семнадцатый: мотор!

Я потоптался на месте, ожидая, когда же счастье свалится мне на голову, когда же наконец я почувствую: ну вот, наконец-то!.. Впрочем, нет, именно это я и почувствовал, именно в этих словах, но что «наконец-то» – понять было трудно. Наконец-то я добрался? Наконец-то я вернулся в свой родной город – такой крикливый, чумазый и ужасно милый? Наконец-то начнется моя новая красивая жизнь?

Я сделал несколько шагов – первые шаги по родной земле. Вчера, 12 мая, в 9.30 утра вернулся домой после службы в ВС Константин Владимирович Аксенов – известный в прошлом спортсмен, а ныне подающий надежды литератор, почетный житель нашего города. На перроне высокого (метр восемьдесят два) гостя встречали представители широкой общественности. Под звуки туша Константин Владимирович вышел из дипломатического вагона. Вот они, долгожданные первые шаги по родной земле!

– Константин Владимирович, если честно, первое ощущение?

– У меня нет слов... Простите, я так взволнован... Простите, потом, потом...

Я остановился, опустил сумку на асфальт, запрокинул голову и закрыл глаза. Хорошо! Или я это только пытаюсь себе внушить? Нет, все-таки хорошо, хотя голова – ч-черт! – еще побаливает. А, в принципе, чему особенно-то радоваться? Что я хотел здесь увидеть?

В оргкомитете по встрече легкая паника: клиент взгрустнул. Срочно запускаем кордебалет. Кордебалет! Где эти безмозглые куклы?! А ну-ка, живо на перрон! Кордебалет в полугусарской (сверху гусарской) форме выскакивает из-за спин и выписывает перед моим носом гостеприимные кренделя. Спасибо, друзья, я так рад вас видеть. Спасибо, товарищи. Нет, как это у них все-таки ловко получается! Как все-таки они умеют передать ногами такие тонкие, понимаете ли, переживания. А вон та брюнеточка, третья слева, ей-богу, ничего. Оч-чень даже неплохо. Так! Превосходно! А еще выше? Нет-нет, достаточно. Хватит, хватит, а то, боюсь, сердце не выдержит – разорвется от радости. Два хлопка – достаточно. На сегодня все. Кордебалет, оставив попки, отбегает. А вот ту брюнеточку – вас, вас! – нельзя ли попросить остаться?

И вот ты идешь по чистым улицам своего города, просто гуляешь по чистым улицам (ничто так не располагает к прогулкам, как чистота улиц), просто идешь майским утром рядом с тонкой девушкой в светлом платье, и осторожные машины иногда проезжают мимо, и усатые водители поворачивают головы, глядя вам вслед... Ах, как тебе нравится гулять по майским улицам рядом с этой девушкой с тонкими руками и чуть выгоревшими волосами, с ниткой ярких бус на тонкой шейке, пусть это будут всего лишь стекляшки, рубиновые или изумрудные – неважно, важно, чтобы шейка была длинная, с родинкой у плеча, с прозрачным пушком и незагорелая сзади, где начинаются волосы, где кожа светлая и нежная, куда ты изредка (ах, какая вольность!) кладешь свою руку, или просто проводишь рукой по этому месту, или просто прикасаешься к нему – тебе не надо слишком многого, зачем? – тебе хочется просто ходить по этим свежим улицам с этой майской девушкой, с этой девушкой в прозрачно-светлом платье без рукавов, с чуть-чуть вывернутыми локотками и легкой осторожной походкой – как босиком по мокрой гальке – и добрые волны, шурша, набегают, и цвет у воды невообразимо-зеленый, и небо над головой пронзительно чистое, и солнце стоит высоко... Ах, как бы ты хотел сейчас пройти по чистым улицам с тонкой девушкой, и молоть всякую чушь, глядя строго вперед, и с глупым счастливым лицом неудачно острить и ловить себя на этом, и ловить себя на мыслях не совсем приличных (как тебе не стыдно?), и, бросив взгляд налево, увидеть в вырезе платья полоску более светлой кожи и торопливо отвести взгляд, и поспешно начать новую фразу – чуть громче предыдущей, и потом, перестав притворяться, взять ее за руку – ну и что с того, что сейчас ты похож на восьмиклассника? – и чуть сжать эту тонкую руку, чуть пожать ее, просто пожать, ничего не говоря этим, абсолютно ничего, ну разве что самую-самую малость, так, одну вещичку по секрету, касаясь ушка губами, одну невинную глупую безделицу – самую невинную глупость – самую большую глупость на свете – хорошо, что ее тут же унесет ветерок...

Мой юный отчим в третий раз клюнул носом, и всем, кроме него, стало понятно, что вечер окончен. Мама, изогнувшись, собрала со стола тарелки, уложила сверху ножи и вилки и удалилась на кухню. Я проводил ее взглядом: она сто-

ила этого. Не уверен, что со мной согласились бы члены нашего домкома, но, на мой взгляд, она была еще хоть куда, или, целомудренней выражаясь, переживала вторую молодость. А может быть, даже не выходила из первой. Да, наверное, так, хотя склонность к декольте и выдавала в ней женщину за тридцать, появившиеся рябинки на груди – за сорок и уже заметная костлявость – за сорок пять. Так оригинально и ненавязчиво я описал вам ее, заодно намекнув на то, сколько ей лет, хотя и без того понятно, что ей никак не меньше... Но нет, даже важность такой художественной детали, как возраст моей мамы, не позволяет мне назвать его вслух. Тем более что точно я его просто не знаю.

Готов присягнуть, что моя мама никогда не собиралась сбежать на целину и в связи с этим не сжигала свои метрики и не прибавляла себе недостающие года. И тем не менее, когда я попытался однажды найти ее документы (а точнее, бумажник или просто припрятанную трешку) и прошмонал весь платяной шкаф, ни паспорта, ни чего-либо другого, намекающего на возраст, я так и не обнаружил – разве что плиссированную юбку из добротной выцветшей ткани да лакированный ридикуль, из тех, что смешно сжимали на танцплощадке или где-нибудь в сквере у тира «Учись метко стрелять!»... Разумеется, ни о чем расспрашивать ее я не стал. Ведь мы были заодно, вместе были замешаны в одном страшном заговоре, владели одной великой тайной – средством Макропулоса, секретом ее молодости. Я и сам, к слову сказать, выгляжу до обидного молодожавым, особенно когда подстригусь, и уши мои торчат по сторонам с характерной для персонажей-выдумщиков из «Ералаша» мягкостью и прозрачностью. И вообще, думаете, мои разговоры об инфантильности – чистое кокетство? Да, чистое, детски чистое. Так что поверьте старому физиогному: внешнее всегда отражение внутреннего. Ну, почти всегда.

Так вот, как и в любой другой, в нашей маленькой семье (маму, правда, можно включить в нашу семью лишь условно или, скажем, членкором – это спорный вопрос) тоже существовал свой культ, свой предмет гордости. Только если другие могут похвастаться аристократической линией носа, двойной «л» в начале фамилии, дедушкой-эмигрантом или, на худой конец, престижными знакомствами, нам не оставалось ничего другого, кроме как упиваться втайне своей потомственной молодостью. А именно – ма-

миной молодостью. Точнее – нашей маминой молодостью.

Ах, сколько здесь сюжетов для ночного (раньше – вряд ли) разговора за чаем! Представляешь, сегодня в троллейбусе: девушка, вы не сходите? Или: представляешь, этот Рудик до сих пор считает тебя моим братом!

– И тебе, конечно, не хотелось его огорчать?

– Еще бы, такая лапочка... Хотя я сказала, что отношусь к тебе как к сыну...

– И он поверил? Бедный Рудик! Слушай, а он не порывался передать твоему несчастному братцу рублей десять – на пирожное с кремом?

– Что? Вот бездельник! Опять он тянет деньги с престарелой матери...

Само собой, было в этом что-то ненормальное, и иногда я с ужасом представлял себе день, когда все это кончится (я почему-то был уверен, что произойдет все очень быстро, как у проснувшихся после летаргического сна) и мама с криком отпрянет от зеркала – точь-в-точь Марта Келлер в фильме «Федора». А может быть, сцена будет не столь красивой и трагичной, но она будет, обязательно будет разыграна: сценарий залитован и принят в самых высоких инстанциях, и помреж внимательно следит за очередностью подаваемых реплик. И осталось отснять последний кусок.

...Уже давно, лет тринадцать назад, я как-то подслушал оброненную мамой фразу о предстоящем юбилее. Имея пятерку по математике, я быстренько произвел несложные подсчеты и вот 8 марта (очень удобное совпадение, не правда ли?) торжественно поздравил ее с тридцатилетием. Лучше бы я простыл, съев свои двадцать честно сэкономленных мороженых, или подарил бы этот дурацкий флакончик с «Сигулдой» заучу по внеклассной работе – глядишь, и облегчил бы себе жизнь! Тот мамин праздник был напрочь смазан моей бестактностью, и на следующий год, поумнев, я уже дипломатично написал на открытке:

*С 29-летием поздравляю,
Счастья, радости желаю
И в здоровье, и в труде,
И везде, везде, везде!*

Понятно, что еще через год я просто обязан был поздравить ее с двадцативосьмилетием, потом – с двадцатисемилетием и так далее. Только когда мы почти сравнялись возрастом и в нашей

уютной квартирке явственно пахло чем-то странным, я одумался и несколько лет подряд поздравлял ее просто с Днем молодости. Последний раз это было на первом году службы. А в этом году я что-то совсем обленился и поздравил ее только задним числом и только по телефону...

Итак, надеюсь, вас не слишком шокировало то, что я не знаю точно, сколько лет моей матери. Для любителей же пунктуального искусства могу предложить в качестве компенсации такую задачку-алгоритм. Отсчитайте 9–14 лет на период созревания, добавьте 3–4 года на здоровую скромность, еще год-два на условности, еще два на разборчивость, еще год на мучительные раздумья и год на капризы. Теперь отнимите год на капризы и столько же на взбалмошность, раннее развитие, книжно-патрицианскую испорченность – и вы получите возраст моей мамы в период моего (за)рождения. Теперь-то вы, надеюсь, достаточно ее узнали, и можно переходить к отчиму. Тем более что вот он, кстати, и проснулся.

– Костантин! – так внушительно и по-свойски называет он меня. – А, Костантин! А п-почему не пьем?

– Видишь ли, Гена, – говорю я очень вежливо, – мы всё уже выпили, увы.

– Да? – удивляется он, до этого выдувший две трети всех стартовых запасов.

Но я на него ничуть не в обиде. У меня самого сегодня что-то нет настроения, и ему это нужней – представляю, как ему, должно быть, неприятно разыгрывать тут передо мной Доброго Папу Этакого Шляпу. Так что его стремление в данной ситуации поскорей упиться, вероятно, самое мужественное и честное из всего, что можно было предпринять. Но он, добряга, еще не чувствует свою совесть успокоенной.

– Анюта! Анют! – кричит он в кухню, но, вспомнив обо мне, поправляется: – Анна! У нас есть еще что-нибудь – выпить с Костантином?

– На сегодня достаточно, – говорит мама, строго выглядывая из кухни. – Давай-ка укладывайся. Я еще хочу побыть с сыном.

– Ну почему? – капризничает Генасик, своевольно выгибая бровки. Конечно, он успокоится, просто должен попытаться еще раз. – По глоточку, а, Кость?

Я молча улыбаюсь – слегка сочувственно и растерянно. Лучшее средство в подобных случаях – такая ни к чему не обязывающая улыбка.

– Эх, – вздыхает Гена, накрывает мою руку своей и корефански подмигивает: «Ничего, Кость, мы с тобой еще погуляем!»

Я прекрасный собеседник и, как и следует, понимаю «погуляем» во всех трех смыслах, но с упором на разврат: у Гены, видимо, пунктик насчет наших с ним будущих совместных приключений, и он весь вечер сулит мне в самое ближайшее время какие-то неизъяснимы сексуальны наслаждения. Так и вижу: бравый сержант Геннадий с элегантным коком-чубом, фуражка на затылке, китель нараспашку, в руке – атташе-кейс с некрасивой немкой-переводкой, и сзади я, пьяненький, косенький и улыбающийся: «Здрассте, девочки!» М-да. Боюсь, Ген, что я не смогу поддержать тебе компанию...

Бросив последнее прости опустевшему столу, заметно погрустневший Гена убывает в спальню. Мама тоже на минутку скрывается там и тут же выходит – стесняется? Она меня стесняется? Ну и напрасно: я давно уже перевел взгляд и изучаю теперь вдруг ярко памятный урбанистический пейзаж за окном – площадь со сквериком и уютными фонарями, обступающие ее здания с живой мозаикой светящихся окон, полукружье только что политой дороги по периметру... Вот оно, значит, как бывает. Вот так, значит, мы и свиделись. Приезжаешь вот так и понимаешь, как давно тебя здесь не было и как всегда ты был здесь.

Я чувствую мягкое прикосновение к макушке: это мама подошла и встала сзади.

– А-а, – говорю я, приподнимая к ней лицо. – Ну как ты, устала?

Она молчит и только проводит по моей голове ладонью, туда и обратно, и больше как будто не смеет. Что это на нее нашло?

– Что-то не так? – спрашиваю я.

Она вздыхает и уж совсем по-бабьи, втиснув сомкнутые ладони между колен, опускается рядом на стул. Ну-у, мама, такого я от тебя просто не ожидал. Я тут расписывал тебя, расписывал, а ты возьмешь сейчас и разреवेशься – и морщинки у глаз станут заметней, и нос покраснеет, и весь макияж коту под хвост...

– Как ты повзрослел, – говорит она тихо и банально.

– Еще бы, – хмыкаю я. – Армия – школа мужания.

Я шучу, а она не понимает. Не улыбается. Наоборот, лицо замкнулось, тяжелый вздох. Который уже за вечер? Не слишком ли она ими

злоупотребляет? Чего не люблю – так это при-мадоннской аффектации, а этот вздох как раз из категории «Ну что ж! Я готова нести свой крест!».

– Сынок, – произносит она и снова вздыхает, на сей раз – «не решаясь заговорить».

– Да? – говорю я.

– Костя, – снова начинает она и снова замолкает.

– Давай я помогу тебе, – говорю я. – Я начну: Костя... нет, Константин... Ты уже большой и все понимаешь...

Она смотрит на меня и молчит, взгляд спокойный, разве что чуть усталый. Потом слабая усмешка.

– Ты прекрасно понимаешь, как мне должно быть неловко.

– Должно быть? – ухватываюсь я. – Или на самом деле?

Она пожимает плечами и не отвечает мне, а словно размышляет вслух:

– Хотя чего я должна стесняться?

– Действительно, – говорю я, – чего?

Короткая пауза. Просто пауза – в строчке и в скобках, между моими словами.

– Так что можешь считать, что ты уже получила индульгенцию. Ты ее действительно получила, – добавляю я поспешно и подчеркнуто. – Что там должно идти дальше? «Тебе пора подумать о своем будущем»? Или: «Давай решим, как мы будем строить наши отношения»? Или: «Надеюсь, ты понимаешь, что теперь мы не можем жить под одной крышей»?

Мама берет сигарету и по-мужски размашисто чиркает спичкой. Какая удобная вещь – сигарета! Пока прикуриваешь, пока затягиваешься – глядишь, и все как-то само собой улеглось. А если еще умеешь курить красиво – как мама – о-о, тогда сразу перехватываешь инициативу и зарабатываешь лишний балл!

– Надеюсь, ты не считаешь, что я окончательно опустилась? – спрашивает она, приподняв подбородок и выдохнув дым.

Примерно на четверку. То есть выдохнула неплохо, а вот «окончательно» не слишком хорошо сакцентировала и на «опустилась» недостаточно дрогнула голосом.

– Скажем так: я на это надеюсь, – говорю я.

– Ты можешь еще долго изображать этакого ироничного (затяжка) циника (выдох), но я-то знаю, что у тебя это еще мальчишеское, детское...

Фи! И это она посчитала хорошим уколom? Мама! Ты хочешь заставить меня поверить, что ты действительно опустилась?

– Ты хочешь напомнить мне о своем праве пожить? – спрашиваю я. – Так я и не забывал. Как можно! Забыть об этом?!

– Ладно, пусть так, – говорит она и выдыхает дым.

Самое время небрежно затушить почти целую сигарету и холодно подняться – то-то я помучусь! Но она продолжает сидеть и курить и только смотрит не на меня. Да что это с ней сегодня?

– Поверь, я на самом деле не собираюсь об-суждать твои поступки, – смягчаю я. – Но если это тебе обидно – ради бога: на пару фраз я всегда готов собраться. Допустим, так: мне не очень нравится вся эта ситуация.

Молчание. Взгляд. Затяжка. Выдох в сторону.

– Ты поступила жестоко по отношению ко мне. Твое очередное замужество ранит меня – нет! – наносит мне глубочайшую моральную травму, озлобляет, заставляет замкнуться в себе. Опять же, эдипов комплекс...

Молчание.

– И в конце концов, это же просто смешно. Ну посмотри на себя и на него – это же просто курам на смех.

– Это-то я и без тебя знала, – усмехается она.

– Э-э, нет, – говорю я. – Ты должна вспылить: ну, знаешь ли!

– Зачем? Если я действительно так считаю.

– Вот те на! А меня ты что, не хочешь переубедить?

– Нет, не хочу. – Вот тут сигарета действительно сминается о край пепельницы с аппетитно-сухой податливостью. – Пока ты еще играешь, красуешься, но видишь все правильно, и я это чувствую. Со временем мы прекрасно пойдем друг друга – вот и все.

– Правда? Вот так вот просто? Пойдем – и все тут. Значит, и говорить больше не о чем. Хеппи-энд? Бай-бай?

– Я же не требую от тебя чего-то бог весть, – говорит она неожиданно раздраженно. – Ты можешь просто поговорить со мной, без всяких вывертов?

Так это я, выходит, должен обороняться?!

– Знаешь что? – тоже не выдерживаю я. – По мне, так все это вообще не стоит настоящего разговора. Я глубоко уважаю твое право посту-

пать так, как тебе угодно. Но и ты тогда будь добра уважать мое право никак к этому не относиться, просто *никак*. Я просто не желаю об этом говорить. Считай, что это моя прихоть, каприз, что угодно...

– Ну хорошо, – говорит она.

И пауза. На пять с плюсом. И вот, когда она уже собирается добавить что-то, звонит телефон.

Мама встает и держит руку над трубкой, дожидаясь, когда смолкнет очередной звонок. Черт, как не вовремя. Теперь придется перенести мое раскаяние на утро.

– Да. Одну минуту, – говорит она бесстрастно-приветливо и оборачивается на меня.

Я подцепляю аппарат и иду на кухню. Конец первой серии.

– Да.

– Алло, Костя?

– Да, я слушаю.

И снова:

– Костя, это ты?

– Да вроде я. А что, непохоже?

И только тогда:

– Котенька, солнышко, здравствуй.

Тот же голос, та же интонация. И весь смысл в первой же фразе. Представляю, как долго она ее придумывала, как выбирала порядок слов, как мучилась: солнышко или золотко? Лучше солнышко – так теплее и в то же время нейтральнее, если я окажусь холоден и сух.

– Котенька, солнышко, здравствуй.

– А-а, привет.

– Ты не узнал меня, Котенька?

– Ну как же. Здравствуй, Лера.

– А я думала, ты меня не узнаешь. Я тебя не сразу узнала. Ты когда приехал?

– Сегодня. Недавно только зашел.

– Насовсем?

– Да как тебе сказать? Надеюсь.

Она засмеялась, и я сразу вспомнил: глаза закрыты, подбородок вперед и смех неожиданно грубоватый для такого неволевого близорукоего лица.

– Котенька, ну как ты там жил без меня? Не очень скучал? – Она успокоилась и повеселела, и пугающе-нежный тон сменился более игривым.

– Разве это была жизнь – без тебя? Так, прозябание. Ни тебе ласки, ни умного слова – одно мужичье, и все в погонах.

Она снова рассмеялась – обрадованно:

– Вот теперь я тебя, точно, узнала! Ко-о-отик, Котя-а-арик, а я знаешь как по тебе соскучилась!

– Ну-ка, ну-ка, интересно – как?

– Очень-очень.

– А конкретнее?

– Ну Кот, не заставляй меня краснеть.

– Ну я же не вижу – покраснела ты или нет.

– Все равно нельзя.

– Ну почему же?

– Об этом нельзя по телефону.

– Ясно. Значит, ты по мне нисколько не соскучилась?

– Ну Ко-о-о-от!

– Значит, с глаз долой – из сердца вон? Так получается?

– Котяра, я тебя съем!

– Вот так служишь, служишь, можно сказать, кровь проливаешь, а они...

– Ну Ко-о-отик! Знаешь, как я соскучилась!

– Как?

– Не-э-эт!

– Ну, я все понял.

– Что ты понял? Вот придешь – увидишь, как я соскучилась.

– Мне же надо знать, стоит ли вообще приходить, а то вдруг ты совсем не соскучилась.

– М-м, Котище, погоди, я до тебя доберусь!

– И скажешь, что нисколько не соскучилась?

– Вот приди только – посмотришь!

– Только посмотришь?

– Кот! Я тебя, точно, съем!

– А как?

– М-м-м, я уже не могу!

– А что ты не можешь?

Я сам, признаться, уже с трудом сдерживался и сейчас почувствовал, что хватит.

– Котенька, не мучь меня: я и так уже вся трясусь, – сказала она.

«Ты не простудилась?» – чуть не спросил я, но вовремя остановился.

– Я шучу, Лера, – сказал я. – Солдаты – грубый народ. Видишь, какие у меня теперь шуточки?

– Садистские, – сказала она и облегченно вздохнула. – Ну так когда же тебя теперь ждать?

– А когда ты меня пригласишь?

– Да господи, хоть сейчас.

– Нет, сегодня, сама понимаешь: старушка мать, семейный ужин, бойцы вспоминают минувшие дни, подарки, разложенные на диване...

– Конечно, сегодня никак... Может быть, завтра?

– Конечно, Лерик, или завтра, или чуть попозже.

– Но, надеюсь, мне не придется ждать еще два года?

– О чем ты говоришь? Слово солдата – крепень.

Город спит.

Красивая фраза, если поместить ее в соответствующий контекст, осложнить деепричастным оборотом (что-нибудь с домами, свечами, зарницами, а то и черной шалью из темноты и звезд) или просто добавить наречие – только не «спокойно», чтобы не напоминало концовку очерка об участковом милиционере с 35-летним стажем, лучше просто – «чутко» или «крепко» или хотя бы «как новобрачная после Чего-то и Чего-то» (обязательно с больших букв) – так, чтобы можно было, закрыв глаза, сразу представить себе странно-симметричную мертвенность зданий на улицах (только поздней ночью эта странность и симметричность видятся так ясно), и завораживающе-мистическое мигание желтого света на перекрестках, и прохладу темного воздуха, и одиночество припозднившегося пешехода...

Город спит.

Очень емкий образ, придающий нужную тональность последующему повествованию – тревогу или надежду, умиротворенность или чистую грусть, прекрасный образ, если, конечно, подать его умело: придумать гнусавого сторожа с трещоткой, шаркающего по булыжной мостовой, или грозный отблеск аркебузы над сереющим силуэтом донжона, или белизну колонн в глубине аллеи, или музыку из распахнутого окна мезонина...

Город спит, пишешь ты, и душа твоя летит далеко-далеко, проникает сквозь стены и зависает невидимым зондом над какой-нибудь Татьяной с сохнувшей на языке облаткой, или какими-нибудь утомившимися любовниками (ну как же без них?), или каким-нибудь несчастным графоманом вроде тебя, только что отстучавшим на новом листе первое предложение, допустим: «Город спит» – и теперь упрямо присобачивающим к нему следующие: «Но Дронову не спалось. Осторожно, чтобы не разбудить жену, он встал и закурил»... Город спит, пишешь ты и, прикурив от дроновской папироски, заходишь в старый заброшенный парк на окраине микрорайона – здесь ты играл в детстве, и все здесь с тех пор сохранилось без изменения: толстые деревья, заросли кустарника, заржавленные останки

аттракционов (как бы ты, интересно, увидел все это в темноте?), и сумасшедшие круги летучей мыши на фоне ночного неба, и бледные (черные? темные?) призраки, прячущиеся за каждым стволом... Стра-а-ашно, страшно! – скорей отсюда – на улицы, к людям, к теплу! Ты выскакиваешь из парка на пустырь и по неровному суглинку, поросшему жесткой травой, несешься напрямик к показавшимся неподалеку зданиям с огнями. Вот ты уже и на спасительной улице, а вот ты уже и дома, за письменным столом (уф-ф! устал!) и только-только успеваешь написать: «Город спит», как уже наступает ночь.

Бар назывался «Пингвин», о чем и напоминали белые неоновые буквы над входом, вспыхивающие с частотой ударов сердца начинающего влюбленного, продвинувшегося-таки вниз от плеча сантиметров на десять, или скорее закоренелого пьяницы, наклонившегося за упавшим под холодильник пятнадцатилетним. Ни тех ни других, впрочем, в «Пингвине» никогда не бывало: здесь собирались люди солидные, кредитоспособные, с устоявшимися жизненными ориентирами и слабостями. Припарковав автомобили на стоянке чуть выше по улице, они, наклонив головы, спускались по довольно крутой лестнице в небольшой холл, где были двери туалетов, гардероб и чучело королевского пингвина в зюйдвестке, с трубкой в клюве и каким-то засохшим подтеком под глазом. Здесь женщины правляли прически, а мужчины прочищали горло, готовясь поздороваться с барменом и переброситься с ним парой фраз о футболе. Бармен по прозвищу Капитан или Адмирал (в зависимости от степени близости и опьянения) – сам бывший профессиональный игрок, в расцвете карьеры сломавший ногу и с тех пор прихрамывающий (хотя злые языки и утверждали, что прихрамывает он больше для экзотики), – одетый в стилизованно-флотскую форму с непременно бабочкой, стоял за оцинкованной стойкой в зале слева: там было светлей и играла радиоло; справа был еще один зал, поменьше: здесь обычно встречались для деловых переговоров и спокойных любовных разрывов, здесь тоже повсюду были развешаны старинные карты, сети, рынды, потрескавшиеся деревянные штурвалы и другая маринистская бутафория. Посетителей тут обслуживала белокурая официантка в тельняшке мини, пожилая и разговорчивая девушка, при необходимости подсажива-

ющаяся к особенно одинокому мужчине и держащая при этом колени не слишком сдвинутыми. В отличие от левого, в этом зале почти всегда было тихо, и после одиннадцати он, как правило, пустел: ударившие по рукам дельцы перебирались поближе к стойке – обмыть новое предприятие, примирившиеся парочки удалялись в ближайшую гостиницу, а особенно одинокие мужчины выходили на улицу и слонялись по городу до тех пор, пока усталость не пересиливала в них отвращения к своей пустой квартире, своему привычному ужину и своей измятой, не заправленной с утра постели.

Все течет, но ничего не меняется.

Клуббижисты сидели на своем обычном месте – у стены напротив входа, словно и не было двух этих лет, и я просто отлучался ненадолго, чтобы проводить до лестницы смазливую девчонку, и вот теперь вернулся за свой столик. Где-то сходятся в смертельной схватке силы Реакции и Прогресса, где-то в седьмой раз за последние девять месяцев сменилось правительство (ослы не хотят, а слоны не могут жить постарому), и СПИД семимильными шагами распространяется где-то по планете, и где-то в Эфиопии снова засуха – как все это далеко!.. А здесь все тот же хрупкий рипванвинклевский мирок с навсегда остановившимся временем – после одиннадцати, и нет на свете такой силы, которая могла бы его разрушить.

Лицом ко мне сидит Боб, мой милый старый Боб, как твои дела, старикашка? Что-то у тебя сегодня вялый вид – опять перебрал с утра, или просто не работалось, или просто жизнь не удалась? Справа от него монументально возвышается Бубен. А у тебя, малыш, я вижу, новый спортивный костюмчик. Австрийский? Или немецкий? Дашь поносить? Ха-ха-ха, да в него троих меня завернуть можно, как в чехол для фортепьяно. Или в чехол для «Жигулей» – чтоб понятней... Ладно, проехали. Ну, как оно вообще – ничего? Все нормально? Ну ла-а-адно... А вот и Мишель. Привет, Мишель. Что-то ты на меня совсем не реагируешь. Аль забыла? Аль не любя тебе боле? Хорошо же ты меня дождалася! Ну все, все, молчу. У тебя плохое настроение. Тебя кто-то обидел. Плюнь, я ведь тебя люблю, а это самое главное. Ну улыбнись мне хоть раз, можешь ты хоть раз мне улыбнуться? Не хочешь? Ты мне совсем не рада? Что же делать? Что де-

лать, если те, кому мы были бы рады, прекрасно обходятся и без нас?

Я захожу в круг света. Сейчас меня заметят и начнется спектакль, которого я так ждал и которого боюсь: боюсь растеряться и выпасть из ритма, боюсь запороть роль; впрочем, сомневаюсь, что она будет очень уж заглавной или, по крайней мере, достаточно характерной...

Краем глаза я отмечаю зрителей, уже заполнивших соседние столики. Адмирал, как дирижер, занял место за стойкой. До меня доносится шелест партера и зуденье парадиза. Позвольте вас побеспокоить. Ах, извините. Ничего-ничего. Аксенов-то сегодня играет? А вот сейчас и посмотрим.

Войдя в зал, я сразу заметил ее. Хотя нет, «заметил» не то слово, будто просто увидеть ее было моей заслугой или требовало от меня каких-то усилий. На самом же деле не я первым заметил ее, а она сама бросилась мне в глаза, если только, конечно, можно броситься в глаза, сидя к тебе влоборота и не обращая на тебя никакого внимания.

Итак, я сразу увидел ее, и остановился, и обмер, потому что она была из той породы ярких, что встречаются гораздо реже даже настоящему красивых и, безусловно, производят на нас гораздо более глубокое впечатление. Я и сейчас прекрасно помню всех ярких женщин, с которыми мне посчастливилось встречаться (не быть с ними близким – боже упаси! Может, потому-то они и запомнились мне так *прекрасно*, что промелькнули мимо подобно комете и тут же исчезли, оставив после себя лишь солнечно-зыбкий след на радужной оболочке?).

Первая такая женщина была женой моего тренера в футбольном спецклассе – чистокровная украинка – очень смуглая и с ослепительно светлыми белками глаз. Вероятно, именно этот контраст (да еще моя шестнадцатилеточная потребность поэтизации) и делал ее яркой, и, значит, яркость эта была ненастоящей, чисто внешней. Но в то время я не мог понять этого. Я мог лишь тихо млеть. И млел раза три очно и месяца четыре экстерном и по вечерам. Потом, разумеется, она перестала занимать в моей жизни столь заметное и обязательное место, тем более что я услышал ее голос – для меня в то время как-то слишком грудной – и речь с характерным акцентом и характерными лексическими

вкраплениями, что на меня всегда почему-то действует отрезвляюще. Словом, комета пролетела... Но след остался.

Другая яркая женщина встретилась мне в Ростове-на-Дону. Мы с приятелем заскочили в автобус и случайно обратились к ней – как доехать до чего-то (стадиона, гостиницы или ЦУМа – чего же еще?). И она не просто ответила, но заговорила с нами. Ах ты боже мой, что это была за женщина! Приятель заливался соловьем, а я стоял как болван и только изредка вставлял свою реплику в самые очевидные просветы, да и то потому лишь, что промолчать было бы еще глупей (Костя, слышишь, нам не верят, что мы молодые бельгийские искусствоведы. Ну-ка, скажи что-нибудь по-нашему, по-бельгийскому. – Бамбурбия? Кергуду?). Мы затягивали разговор как могли и даже вызвались ее проводить, но она засмеялась и сказала: «Как-нибудь в другой раз», и мы вышли из автобуса и раздосадованные потопали по обочине назад, и приятель всерьез надулся на меня, потому что я якобы специально не помогал ему ее склеить и вообще все испортил... Вот уж никогда бы не подумал, что он так проницателен!

Было у меня и еще несколько таких ярких встреч-видений – еще более мимолетных, но и они все навсегда запечатлены в моей душе. Может быть, в этом и заключается главная трагедия моей жизни: я влюблен в какой-то небесный фантом, мечтаю о чем-то высоком и недостижимом и никак не хочу спуститься на землю и научиться подгонять свои идеалы под потребности, а желания – под конкретные условия выпавшей ситуации. Хотя это и не так просто, как кажется поначалу.

На ней был желтый облегающий свитер, и, глядя на нее, я понял человека, придумавшего такие вот тонкие желтые свитера. Я понял также людей, придумавших такую прическу – блестящую и гладкую до плеч, и такой лак для ногтей, и особенно такую позу – сидеть за столиком очень прямо и в то же время раскованно, глядя на собеседника очень внимательно и в то же время иронично... Я понял всех этих людей и мысленно усмехнулся: насколько их труд – труд умелых декораторов – был жалок по сравнению с легким мановением руки истинного творца, сделавшего все настолько бегло-гармонично... Так, я уверен, и рождается поэзия под пером гения, точнее, не под пером, а чуть позже, уже высохнув на бумаге, когда написанное вдруг наполняется глубиной многих смыслов и

эхом параллелей, магией цельности и блеском игры слов, игры в широком смысле – потому она и игра, что начинает играть под лучами пристального внимания, и гореть, и переливаться, и выходит, что вся фраза, весь период только выигрывает от множественности взглядов: что так поверни бриллиант, что этак – все равно он будет сверкать, как звезда.

Вот и сейчас: я видел и мог бы описать блеск ее каштановых волос, и утонченную линию профиля, и нежность кожи, и легкий румянец (который, возможно, был искусственным) – но зачем? Одно общее ощущение яркости образа, независимое от костюма и грима, заслоняло и делало ненужными, неважными все составляющие детали: суммы красивых частей, к счастью, совсем недостаточно для гармоничности целого... Ну да что это я рассиропился? Пора и честь знать. Пора закрыть рот и выбрать себе местечко в уголке – в самом темном углу зала – и мужественно заказать чего-нибудь покрепче, и потом изредка – очень редко! – позволить себе посмотреть туда, в ту сторону (только не глупо скосить туда взгляд!), посмотреть спокойно и чуть грустно, заинтересованно, но без особого интереса, просто понаблюдать за чужой жизнью – это ведь всегда интересно...

– Эй, чертенок, ты что ж это отворачиваешься? – вдруг услышал я за спиной насмешливый голос – очень знакомый, но забытый, из тех знакомых, но забытых, что вызывают не беспокойство, а радостное смятение да еще, пожалуй, легкое раскаяние.

Я обернулся. Это был Боб. Мой милый старый Боб. И сидел он как раз за столиком этой шикарной бабенки – почему же тогда я его не заметил?

– Боб, – сказал я.

– Нет, – сказал он, – Чарльз Спенсер Чаплин. Мне что, самому выходить из-за стола и бросаться тебе на грудь?

– Ну почему? – сказал я и подошел.

Эта желтая кошка зыркнула на меня снизу и тут же отвела взгляд. М-да, настоящий фурор, по моему, выглядит несколько по-иному. Ну да ничего, утремся. Боб встал, мы обнялись, и он усадил меня за столик рядом с собой и напротив нее. Хотя я смотрел только на него, а он – на меня.

– Я начинаю считать – в скольких словах ты выразишь радость от встречи со мной. Клянусь, что не больше чем в двух.

– Ты же знаешь: я страшно рад, – сказал я, сдержанно улыбаясь.

– Ого! Целых шесть! Впрочем, «ты же знаешь», как вводная конструкция, не в счет. Остается три. Для твоей обычной речи это даже цветасто. Ты даже украсил свое высказывание эпитетом: ты не просто рад, ты рад *страшно*. И все это ради меня. Спасибо, дружище, спасибо.

Похоже, он уже прилично загрузился, и его кошка здорово сковывала меня, но я действительно был рад его видеть, и мне было хорошо.

– Я действительно рад, Боб, – сказал я. – Так давно тебя...

– А уж я-то, уж я-то как рад, Константиныч! – Он немного паясничал, но и это не было неприятно. – Не поверишь: так рад, что... Ах ты, чертенок! – И он притянул мою голову к себе и чмокнул меня в ухо. – А теперь скажи еще что-нибудь в своем стиле – расспроси меня, как я живу.

– В самом деле – как? – Я уже начал подыгрывать ему.

– Поразительно! – засиял он. – Мне бы потребовалось для этого слов двадцать!.. Да как тебе сказать, дружище? Тебе же не ответишь пошлостью или каламбуром – вон ты какой умненький Буратино. Умненький-умненький, – повторил он в ответ на мою скромнягскую гримасу. – Лучше ты пока расскажи о себе, а я пока подумаю. Ну, и как же ты жил, дружище Констан? Можешь вот так вот прямо, по-мужски – так, мол, и так: хреново. Или наоборот: зашибись.

– Я был в армии, – сказал я довольно спокойно.

Довольно спокойно – в самый раз.

– Ай-яй-яй-яй, – покачал он головой, сквасив кислую мину.

На всех пьяных лицах смена настроения отражается с запозданием. У Боба это, напротив, получалось слишком быстро.

– Тогда все ясно... В первый же месяц – грибок, потом лобковая вошь, потом еще какая-нибудь гадость. И жрать все время охота, и спать... И чувствуешь, как постепенно, с каждым днем все больше и больше тупеешь...

– Ну, не совсем уж так...

– Да-а-а, – протянул он с излишне соболезнующим видом. – Не повезло тебе, брат..

– Я-то, Боб, служил в СКА (а знает ли она, что такое СКА?), так что у меня все было не так мрачно...

– Все равно.

Кошка вдруг рассмеялась. Точнее, расхохоталась. Наверное, она знала, что это получается у нее неплохо.

– Ты же вообще не служил! – сказала она Бобу. – Ты-то откуда можешь знать?

– Ну-у, милочка моя, совсем не обязательно два года протопать в кирзовых сапогах, чтобы в принципе понять, что это такое.

– Тебя просто не взяли – вот ты и рассуждаешь в *принципе*.

Ее тон меня озадачил, и я впервые посмотрел на нее открыто.

– Не обращай на нее внимания, – сказал Боб. – Мы с ней поцапались немного, вот она с горя и не в себе. А вообще-то она хорошая девушка. Да, кстати, вы ведь еще не представлены. Познакомься, Константин, с моей девушкой, с моей красотулечкой. Слышишь, золотко, это – Константин (смоктуновский жест кистью в мою сторону). А это – Марина.

Мы обменялись взглядами. Хотя, если честно, обмен был не очень равноценный: мой взгляд был теплей градусов на сорок.

– Но, по секрету, – продолжал Боб, – если хочешь добиться ее расположения, называй ее просто Мишель. Запомни: Мишель. Постарайся запомнить?

– Постараюсь, – сказал я, надеясь, что это выглядит не слишком глупо.

Мы со значением пожали друг другу руки. Я чувствовал, что Мишель смотрит на меня и, кажется, уже не как в меню деревенского «кафе», куда и зашли-то только потому, что у машины перегрелся двигатель.

– Ну вот и чудненько, – сказал Боб, повеселев. – Чем теперь займемся? Выпьем?

– Выпейте, – сказала Мишель и встала. – А я пойду прогуляюсь.

– Ага, – сказал Боб и отечески шлепнул ее по кожаной юбке.

Она фыркнула, но промолчала. Я сделал вид, что ничего не заметил. Я боялся, что больше она не вернется.

– Посмотри, посмотри, – сказал Боб, словно прочтя мои мысли.

Впрочем, для этого совсем не требовалось особой проницательности. Я повернул голову и посмотрел.

– То-то, – сказал Боб и отхлебнул из бокала. На лице его расплылась довольная улыбочка.

– Подожди еще немного, когда она дойдет до конца коридора, – сказал он, не глядя на нее. – Вот сейчас.

Я посмотрел. Он был прав.

– Думаешь, почему я всегда сижу здесь? – хитро улыбнулся он. – Прекрасный вид. Я жду, когда они дойдут до той точки. Один только взгляд, сотая доля секунды – и я уже могу ска-

зять о них все, начиная от размера обуви и кончая подробностями биографии. Когда там перегорел свет, я просто рвал и метал, рвал-л-л и метал-л-л... – Он сделал глоток, потом слегка подался ко мне и подозвал меня пальцем. (Я вспомнил: у него была такая привычка.) – Мой тебе совет, дружище, – продолжал он, – выбирай себе женщин только так. Садись напротив длинного и темного коридора, чтобы освещение было с той стороны. Лучше, если это будет солнце: электричество еще может соврать, а старушку солнце не обманешь. Да, – сказал он, отпивая из бокала и явно увлекаясь, – садись и смотри. И вот когда она дойдет до точки, – он хохотнул, – до нужной точки – смотри особенно внимательно. Когда остается только один силуэт и чистое движение. Никакого платья, никакой бижутерии, никаких уловок – только тело и движение. И все становится ясно, как божий день. Здесь уже ни тряпки, ни любая косметика, – он снова отхлебнул, – ни тряпки – ничего не поможет. Или ты понастоящему красива, или – извини...

Он сел прямо, постукивая пальцами по бокалу и с явным удовлетворением глядя на меня.

– Ее ты так и выбрал? – спросил я с безразличным видом.

– Ого! – сказал он, по-мхатовски вскинув брови. – Ты решил сразу взять быка за рога? Нет, дружок, это только моя теория. Жизнь, к несчастью, куда богаче. Впрочем, скажу тебе сразу, чтобы потом не было недоразумений: она не стоит тебя. Поверь моему темному прошлому: она тебя не стоит. Она красива, да, но не для тебя. Зачем она тебе?

Он нисколько не играл, не бахвалился и не покровительствовал, и это придавало его словам странный притягательный смысл.

– Зачем они нам вообще? Женщина вдохновляет нас на великие дела и сама же мешает нам их совершить. Дюма-младший был совсем не так глуп. Не-э-эт, это совсем не так глупо: самые глубокие вещи всегда кажутся банальными просто потому, что никто не берет на себя труд их опровергнуть... Да, а почему ты спросил? Ты же не собираешься за ней приударить? Тебе просто совесть не позволит. Тогда зачем?

– Не знаю, Боб, – сказал я откровенно. – Просто хочется поговорить, общаться с тобой, как раньше. Хочется узнать ее, разглядеть... Так, безотносительно... Сейчас, после армии, в душе такая пустота, и хочется как-то ее заполнить. А

тут ты и такая красивая... женщина. – Я вдруг смутился.

– Сразу видно, что ты тоже не любишь это слово, – улыбнулся он. – Женщина – даже звучит-то как-то странно. Жжжэнщщщина. Грубость какая-то, примитив.

– А вот тут мы поспорим, – сказал я, сразу внутренне расслабившись. – Я в последнее время довольно часто повторяю его про себя, и по возможности – грубее и примитивнее.

– А-а-а, – рассмеялся Боб, – понятно. Я называю это паллюцинациями. Это мой авторский неологизм, думаю взять патент. Грубовато, но точно.

– Да, – сказал я, держа улыбку и кивая.

– Ничего, дружище. Один-два стервозных бабца – и ты будешь думать: неужели из-за этого стоило так убиваться?

– Я знаю.

– Вот видишь, как мы здорово друг друга понимаем. Вот мы и общаемся снова, как ты и хотел. И я, признаться, тоже.

Эти слова меня растрогали. Я поднял свой бокал, коснулся им бокала Боба и залпом выпил. Не спорю, было в этом что-то картинное, но по мне – так и картинность порой бывает необходима и оправданна. Для самоуспокоения. Боб улыбнулся и выпил тоже. Мы посидели, глядя друг на друга и просто по сторонам. Мне было хорошо.

– Ага, сидят, обнялись, сейчас будут петь! – услышал я голос Мишель.

Она подходила к нам, расставив руки, как для объятий. Она шла как-то слишком энергично, и я глупо испугался, что она не успеет остановиться и врежется в стол. Кажется, я тоже дошел до нужной точки, подумал я. До нужной ручки. И еще я подумал, что Боб прав и что теория редко совпадает с жизнью, только не к сожалению, а к счастью.

– Значит, спелись, – сказала Мишель, с ходу уронив руку на плечо Боба, усевшись, закинув ногу на ногу и небрежно поправив юбку.

От нее сильно пахло сигаретой, но совсем не противно. Даже если она добавит «и спились», я не буду разочарован, подумал я. Но она не добавила.

– Видишь ли, красотуля, – сказал Боб. – Мы давно знакомы с Константином и нашли много общего в своих взглядах... В одном только мы не сошлись, – тут тон его стал подозрительно бес-

печным, – он считает, что ты не так уж и красива...

Я чуть не подскочил. Подлый Боб улыбался отрешенно и чисто, как октябренок, только что помогший старушке донести тяжелые сумки и совсем не ждущий за это конфетки. А Мишель с интересом смотрела на меня. Я чувствовал, что она смотрит на меня с *интересом*. Потом она повернулась к Бобу.

– Только не говори, пожалуйста, что ты врешь, – сказала она. – всю жизнь мечтала встретить человека, который бы на третьей же минуте не сделал мне комплимент, а на шестой не намекнул, что не отказался бы разделить со мной ложе, или диван, или кровать, или диван-кровать, или стул, или стол, или цветочную клумбу... – В ее голосе была настоящая горечь. – Так это правда? – повернулась она ко мне.

– К сожалению, нет, – сказал я не сразу.

– Жаль, – усмехнулась она.

– Вот черт! – воскликнул Боб, во все глаза следивший за нами. – Вот это игра! Не разговор, а матч шахматистов. И все – гроссмейстеры! Какие тонкие ходы!

– Кто-кто, а ты-то играешь топорно, – фыркнула Мишель. – Сразу было видно, что ты пытаешься натравить на меня этого мальчика. С чего бы это?

Я похолодел. И промолчал. А что я должен был сказать?

– Фу, – сказал Боб. – Не обижайся на нее, Константиныч: мы просто в ней ошиблись. Она не гроссмейстер, не-э-эт, в лучшем случае – мастер, да и то по переписке. В очной встрече она допускает такие пенки!

– Может быть, вы во мне ошиблись? – сказал я. – Я-то здесь вообще ни при чем. Я даже не кандидат в мастера, и не по этому виду спорта, и вообще давно не играю.

– Вот это да! – воскликнул Боб. – Выбраться из такого положения! – Он снова дурачился, но, наверное, только так и можно было спасти этот разговор. – Костильо, ты просто Бобби Фишер. Какой ход! То есть – проход слонем. «Я даже не кандидат» – шах! «И не по этому виду спорта» – еще шах! «И к тому же давно не играющий» – шах и мат! Все! Я сдаюсь. Силы слишком неравны. Кладу короля, сливаю воду и сушу весла.

– Здорово мы его? – сказала Мишель и подмигнула мне. – Да же?

– А по-моему, он еще ничего – держится, – сказал я и улынулся.

Не уверен, что это вышло у меня достаточно искрометно.

– Нет, какое мастерство! – покачал головой Боб. – Я уже жалею, что окликнул его. Да-а, такой прокол...

– Да ладно тебе, Боб, – начал я миролюбиво, но он не слушал.

– Как я мог так фраернуться? – продолжал он. – Я уже предчувствую, уже трепещу... Эта фигура. Это волевое лицо. Эта мужественная молчаливость. Наконец, эта убийственная скромность. Рядом с ним я кажусь себе фазаном, воткнувшим себе в задницу морковку и орущим с насеста. – Он сам было хихикнул над своей шуткой, но сдержал себя и снова вошел в роль: – Мишель, посмотри на него. Ты обречена. Ты еще не догадываешься об этом, еще храбришься, но ты уже обречена. И я обречен. Я буду лежать во прахе и наполнять слезами ваши следы, убегающие за горизонт. Я уже обречен. Я трепещу...

– Это ты уже говорил, – заметила Мишель.

– Да, но меня можно понять! – театрально возвысил он голос. – Своими же руками задушить свое счастье. Своими же ногами наступить на горло собственной песне. Прощай, Мишель! Прощай, песня моя! Я сам нашел свою поги...

Он закатил глаза, дернулся, как в агонии, и замер с открытым ртом. Я молчал, чувствуя себя идиотом и абсолютно не зная, как себя повести: рассмеяться, обидеться, обматерить Боба или просто уйти? Тем временем Мишель набрала в рот шампанского и, как это делают домохозяйки, когда гладят, выпрыснула его на Боба. Тот приоткрыл один глаз и бессмысленно уставился в пространство.

– Кажется, больному лучше, – сказала Мишель.

– Уф-ф, ну и долго же я спал! – сказал Боб, вытирая лицо ладонью. – Ну что же вы молчите? Вы должны сказать: «Эх, братец, спать бы тебе еще дольше, кабы не мы». Ну!

– Кажется, немного поспать тебе бы не помешало, – проронила Мишель.

– Обижает, красотуля: у меня же гость. В кои веки настоящий гость. Кстати, Бенджамен (ты понял, почему Бенджамен?), ты не очень обиделся? Не обижайся, старина. Сделай скидку на мой преклонный возраст, на мое опьянение. И вообще привыкай к таким шуточкам. Теперь мы, надо полагать, будем видаться чаще, не правда ли, красотуля? Нет, серьезно, Константиныч, не бери в голову. Не бери никуда.

Все, все, молчу. Гм, так на чем же мы остановились? Я сказал, что тебе надо привыкать...

Я слушал его и не то чтобы не слышал – смысл его слов был понятен мне, однако душа моя словно была уже где-то далеко-далеко, может быть в океане, который бороздил вечно пьяный ирландский шкипер, держащий обеими руками вот этот самый разошедшийся штурвал, что висит сейчас на стене напротив. Стена и океан – две крайности, сходящиеся в одно целое, название которому: «Я сижу в этом баре со старым другом и его девушкой, красивой, как Калипсо, и мне хорошо»... А ну, плесни мне в кружку рому, Красавчик Бобби, шкот тебе в глотку, и выпьем, крякнув, и втянем просоленный воздух заросшими ноздрями...

Боб громко сглотнул, а потом и вправду крякнул, и склонился ко мне, уставившись на меня повлажневшими разбегающимися глазами, и зашептал:

– Ты не поверишь, как я тебе рад, чертенок. Ты же мне страшно нужен, просто до зарезу. Нет, ты не думай, я рад не потому, что ты мне нужен, а вообще, словом... М-м, чертенок. – Он ухватился за мои волосы на затылке и несильно подергал. – Ну как тебе доказать? А!

Он безнадежно махнул рукой, сел прямо, с секунду посидел задумавшись, потом взял свой бокал и опрокинул его содержимое в рот. Бокал был почти пуст, и его жест выглядел довольно комично.

– Так на чем я остановился? – спросил он, посмотрев на нас пьяно-сосредоточенно.

– Ты делился с нами своей радостью, а потом сказал, что обречен, – злорадно подсказала Мишель.

– Вот именно. Красотуля, ты оч-чень тонко чувствуешь нить моей мысли. Я говорил о радости. Я говорил о том, что страшно рад его видеть – вот этого чертенка. – Он протянул руку и, не глядя на меня, потрепал меня по плечу. – А если я говорю так, значит, так оно и есть. Вы понимаете? Я страшно рад его видеть, и я докажу это. Когда, ты говоришь, у тебя день рождения?

Я не успел ответить.

– Через неделю, – сказал он сам. – Видишь, я помню. Я все-о-о помню... – И он зачем-то угрозил мне пальцем. – Целая неделя – это же целая вечность. Мир рождался целую неделю. Ты тоже родишься через неделю. А пока ты что? Правильно, скрюченный сидишь в мамином животике. Нет, образы мне сегодня определенно

удаются: сначала фазан с морковкой, теперь вот этот... Так на чем я остановился?

Мишель, отвернувшись, смотрела куда-то в сторону стойки.

– На морковке? – сказала она.

– На подарке, женщина, – серьезно поправил Боб. – О-о, это будет царский подарок – ровно через неделю, секунда в секунду. И за это вполне можно выпить. Ты слышишь, красотуля? – И он ткнул Мишель в бок. – Я намекаю, намекаю, а ты... А еще красоту-уля, боевая подру-уга! А ну-ка, улыбнись Адмиральчику, этому кровавому Сильверу, этому старому морскому пингвину – пусть он одуреет от радости и принесет нам бутылочку, а?

– Успокойся, пожалуйста, – неожиданно мягко сказала она. – Успокойся. Ты говоришь, что рад Косте, а сам надоедаешь ему своей болтовней. Ну скажи ему. – И она прикоснулась ко мне кончиками пальцев.

– Да, Боб, – сказал я. – Может быть, хватит на сегодня?

– Неужели я так всем надоел? – поразился тот. – Константиныч, правда?

– Да нет, Боб, дело не в этом, – начал я и сам почему-то замолчал.

Боб сокрушенно покачал головой, потом поднял свой бокал, но увидел, что тот уже пуст, и нетвердо поставил его на столик. Он смотрел в одну точку – в трех сантиметрах правой моей головы.

– Значит, так, – вдруг сказал он. – Подарок ты все равно получишь. Это я обещаю. Ровно через неделю... или нет, даже раньше – потому что через неделю я буду уже далеко-далеко... Видишь, старина, как оно бывает: одним – рождаться, а другим, значит, фьють! Что поделаешь, такова жизнь. Все там будем. Как там еще говорят? Рано или поздно. Во – рано или поздно! Хочешь узнать самые веселые на свете слова? Рано или поздно. Понимаешь? Рано или поздно. То есть при любом раскладе. Здорово, правда? Смотри Екклезиаст, глава... А впрочем, не знаю. Но ты не бойся, чертенок, праздника я тебе не испорчу. Я вообще никому не собираюсь досаждать, слышишь, Мишель? Так что не беспокойтесь: я уеду куда-нибудь в лес, в тайгу, к корням, как раненый зверь забирается в самую чашу, чтобы там... А, ч-черт, как красиво я говорю! И никто не узнает, где могила моя. И друзья не бросят горсть земли на мой свежеструганый гроб. И прекрасная вдова с персидскими глазами не будет безутеш-

на у свежего холмика... Кстати, красотуля, у тебя не персидские глаза? Дай-ка я взгляну... в предпоследний раз...

Он взял ее за подбородок и повернул лицо так, чтобы на него падал свет. Я тоже смотрел на нее. При всей дикости и нелепости только что услышанного – смотрел на нее. Глаза у нее были продолговатой формы, карие, с золотистыми искорками вокруг зрачков. И сейчас они, невольно сузившись, пристально смотрели на Боба.

– О-о, эти глаза! – сказал Боб, задумчиво поглаживая ее по щеке. – Как мне будет жаль с ними расставаться! Знаешь, Костилю, – повернулся он ко мне, – нужно просто назначить себе *точный день и час*, чтобы почувствовать, как прекрасна жизнь... Ты, случайно, не хочешь попробовать?

И он закатился глуповатым смешком.

– А, Константиныч? Разочек?

– Да нет, ты знаешь, что-то не манит, – натянуто сыграл я.

– Ну и зря. Знаешь, я все-таки запишу тебя в наш клуб любижистов – Мишель знает: клуб любителей жизни – с испытательным сроком, разумеется. А со временем, когда вакансии освободятся, глядишь, и в председатели выбьешься... Ну как, согласен? Заманчиво, правда? – И он снова захихикал, неприятно теребя мне руку.

Все это уже начало мне надоедать. Боб заметно изменился: раньше он и в больших дозах был сносней и удобоваримей. Я украдкой посмотрел по сторонам, ища повода отвлечь его. Но он, кажется, и не думал отвлекаться.

– Если хотите знать, – продолжал он, обращаясь теперь к нам обоим, – вся дурость на земле только оттого, что никто не знает точно, когда скovyрнется. Все убеждают себя, что будут жить вечно, и делают тысячи глупостей. Природа гуманна за свой же счет! Вот объяви каждому точную дату: во столько-то и во столько-то – и ты увидишь, как преобразится мир. Он станет прекрасным, этот наш дрянной мирок. *Memento mori* – единственная вещь по-латыни, которую следовало бы запомнить. Вы скажете: все бросятся срывать удовольствия, давить друг друга – *carpe diem et cetera*? Ничего подобного. Все станут смиренными, как евнухи-пенсионеры. Добрыми. Взаимно вежливыми. Кинутся в религию. Вспомни начало войны или атомную бомбу. Все миссионеры вместе взятые не сделали для церкви столько, сколько один ма-а-аленький хиросимский «Крепышок». Ах, людишки, людишки! Им

всегда нужна гарантия, ощущение, что *вот-вот*. Как будто лишний год или десять что-то решат. *Memento mori*, дурачье! Рано или поздно! И вообще...

Он не договорил. Остановился на полуслове, уставившись в даль океана слева по борту, потом сомнамбулически вытащил салфетку из вазочки, вытер губы, скомкал ее и бросил в свой бокал. Я наблюдал за ним и чувствовал, что Мишель все это время изучает меня, и добавлял своему взгляду мужественности и ироничности.

– Вот ты, – вдруг мотнулся Боб в ее сторону, – если бы у нас в языке было правило все высказывания начинать с одной фразы, с какой бы начинала?

– Я? – сказала она, ничуть не удивившись. Похоже было, что она уже привыкла к таким поворотам. – Я бы все фразы начинала с «Э-э-э...». – И показала как – подняв брови и глубокомысленно. – Э-э-э, не пора ли тебе в постельку, мой милый?

– С тобой? – дурашливо прищурился Боб.

– Ну зачем же? Ты же стал святым. Sanct-Bорис – *memento mori*, любовь к ближнему и полное воздержание.

– Вот-вот, – сказал он. – Я вижу, что не зря прожил жизнь: ты кое-что поняла. Ну а ты, дружище?

Все это время я лихорадочно придумывал, что бы ответить, но так ничего и не нашел.

– Не знаю... Может быть... – начал я, подыскивая слово, а точнее – просто затягивая время.

– Ну Бенджи! – воскликнул Боб. – А еще притворялся, что совсем отупел! «Может быть» – вот золотые слова! Ни в чем нельзя быть уверенным! Никто не прав! Может быть, сейчас ночь? Черта с два! Может быть, я родился в одна тысяча девятьсот каком-то году? Накося, выкуси! Ай да Константиныч! Это ж надо так тонко все уловить. Только, знаешь, тут есть одно исключение: все мы, братцы, когда-нибудь скovyрнемся. Вот тут твое «может быть» не срабатывает. Не может быть, а точно.

– Кажется, я это уже слышала, – вдруг сказала Мишель, глядя на него. – Ты не напомнишь мне – где?

– Ну а что касается меня лично, – словно не слыша ее, продолжал Боб, – то моя фраза, как вы, наверное, уже догадались: «Поскольку мы все помрем...» Поскольку мы все помрем, надо жить красиво. Поскольку мы все помрем, уже без пятнадцати двенадцать. Поскольку мы все...

– Спасибо, мы запомнили, – перебила его Мишель. – И будем теперь повторять через слово.

– Поскольку мы все помрем, я этому очень рад.

– Поскольку мы все подохнем, – вдруг взорвалась она, – заткнешься ты сегодня или нет?!

– Поскольку мы все подохнем, будь чуточку терпимей, дай мне поговорить с человеком.

– Человеку вот уже где все твои разговоры!

Она была права. Хотя я и выразился бы помягче. Но в целом она была права.

– А ты сам, Костильо, что думаешь по этому поводу? – невозмутимо повернулся ко мне Боб.

– Не знаю, Боб, – сказал я. – Мне сейчас, честно говоря, не до таких фундаментальных проблем.

– А до чего же тебе сейчас? – спросил он неприятно-насмешливо и ткнул пальцем в сторону Мишель: – До нее?

Я не успел ответить.

– Пойдем отсюда, – сказала мне Мишель. – Проводи меня. К черту этого больного.

– Ну зачем же так торопиться? – сказал Боб, сжав ее руку повыше локтя. – Это у нас по плану несколько позже. Я ведь пока еще здесь. Пока я только подвожу теоретическую базу под свою э-э-э... – И он рассмеялся.

– Ты совсем чокнулся, – сказала Мишель, как-то сразу размякнув. – У тебя белая горячка. Ты больной! – И вдруг заплакала.

Никогда бы не подумал, что она может заплакать так неожиданно и так обычно – со шмыганьем и всхлипами.

– Ну-ну, – сказал Боб, поглаживая ее по руке, – и это тоже преждевременно. К тому же я абсолютно здоров. Может быть, в этом и заключается весь трагизм моего положения, или драматизм, или идиотизм – как вам угодно... Будь я сумасшедшим или хотя бы сильно пьяным – это еще куда ни шло, а так... Что ни говори, а мама-природа поступает очень мудро, отнимая у нас к старости мозги. Маразм – страшно гуманная штука. У меня, к сожалению, его нет. Потому-то, наверное, мне еще так трудно сейчас ко всему этому привыкнуть. Ну да ничего, у меня еще есть время – целая неделя. Давайте проведем ее вместе – весело и с пользой.

Нет, подумал я, что-то здесь не так. Есть здесь что-то ненужное и фальшивое. Этот вечер был хорош, но что-то в нем мне определенно не нравилось.

Но что?

Глава II

ПОЗАВЧЕРА

(Очаровательная лоретка, подруга художников и журналистов)

Встречу ли я Магу?

Я проснулся с ощущением выходного – с тем странным чувством, когда не знаешь точно наступившего дня недели, но по всем признакам: хмуро-белесому свету за окном, аквариумной тишине вокруг и общей атмосфере тягостной праздности и скуки – узнаешь воскресенье, самый мерзкий день в неделе, одурачивающе-вялый, с мнимыми надеждами вначале и приглушенно-жгучим недовольством под конец, загодя бездарно потерянный день.

Часов до двенадцати я провалялся в постели, почти заставляя себя наслаждаться негой и покоем, *покоем и волей*, а точнее – слабо забавляясь сознанием освобождения (по контрасту с воспоминаниями об оставшейся позади преувеличенной несвободе), эфемерными мечтаниями о предстоящих новых событиях и однообразными порнографическими сюжетами. Последнее, впрочем, доставляло совсем немного удовольствия, и сама процедура упрямого мысленного повтора была почти противна.

Нет, лучше уж полежать просто так, а еще лучше – полежать и подумать о жизни. Точнее, о своем месте в ней. В конце концов, с чего, как не с этого, начинали все большие романисты – если, конечно, их словам можно верить.

Итак, он был молод, здоров и достаточно красив, и это было важнее всего. Будь он еще немного тщеславней и усидчивей, то, пожалуй, смог бы изложить подробнее свою любимую теорию о важности самоощущения красоты, той уверенности в собственной симпатичности, которая, как фундамент, кладется в основание здравого взгляда на мир, портативно-личной жизненной философии и более-менее стабильного общего тонуса.

Это не значило, однако, что он был махровым оптимистом, вовсе нет. Но, сознавая себя человеком во всех смыслах нормальным (в том числе и, увы, с обозримо-ограниченными интеллектуальными способностями), он с большим

основанием мог считать свое представление о себе и жизни скорее более, чем менее верным. Или даже так: его нормальность давала ему право вовсе не задумываться над жизнью – его совесть и то, что он называл честью (и что являлось всего-навсего тактом – почти условным рефлексом – следствием доброго аскетичного воспитания), были надежным компасом на его жизненном пути, а всю свою дежурно-мазохистскую рефлексию, достаточно, впрочем, ему свойственную, он считал неизбежной расплатой за всякий неловкий поступок, а иногда и просто бесполезной мозговой зарядкой, элитарно-обязательным занятием вроде лаун-тенниса или бриджа...

Но нет, слишком вычурно, а все было куда проще. Жизнь давалась ему достаточно легко, и у него редко появлялась нужда обдумывать ее ход или корректировать свое будущее движение: все шло как бы само собой, и его природная нормальность (не путать с примитивной положительностью) была надежной гарантией от неожиданного крена или попытки заблудиться. Он рано понял всю прикладную прелесть выражения «плыть по течению» – без вульгарного упрощения, разумеется, и привнесенного негативно (пассивного) оттенка. Он понял, что это, пожалуй, для него лично, для него конкретно – и честней, и проще, и мудрей всего (само собой, если при этом не мешать плыть другим), и всячески старался (а точнее, следил за тем, чтобы) сделать это плавание действительно плавным и по возможности приятным.

Нет, он не был эгоистом, по крайней мере – не был тривиальным мелким эгоистом с грубо обоняемой целью и упрямым сопением в ходе (в беге на карачках) ее достижения. Он был достаточно красивым эгоистом (да-да, *This Side of Paradise*) или, во всяком случае, достаточно чистым эгоистом, достаточно совестливым – с трезвой оценкой собственных возможностей плюс необходимый минимум эмоционального катализатора и минус врожденная скромность – наинужнейшая, как успокаивал он себя, черта характера. Понятно, что и требования его к окружающим были поэтому несколько завышены – совсем немного и не в повседневном общении, а вообще. Но и этого было достаточно, чтобы он заранее и будто бы сознательно обрек себя на одиночество, но иначе поступить просто не умел. Он был как будто строг к себе и не менее суров с другими, и его порой четкие нравственные нор-

мы, по необходимости напоминающие ему о себе (о себе – в двух смыслах), давали ему повод иногда выступить в роли мирового судьи (опять два значения) или просто побрюзжать или поплакаться.

Вот такой он был странный парень, очень странный, если исходить из баранье-поголовного общепринятого счета, и тем более странный, если попытаться выделить его одного из общей массы. Последнее, впрочем, сделать было бы очень непросто: за годы неизбежного привыкания к людям он внешне неплохо мимикрировал к среде обитания и везде, во всех кругах, где ему приходилось возвращаться (школа, спорт, вуз, армия), мог вполне сойти за своего и даже признавался всеобщим любимцем (за исключением разве что недалеких завистников да пронизательно-сознательных антагонистов), слегка выделяясь остроумием, доброжелательностью и порядочностью; подлинная же, внутренняя его суть, отличная, как ему казалось, от внешнего набора масок, а на самом деле являющаяся лишь более откровенным раскрытием видимых всем качеств (той же чистоты и тонкокожести), и не предполагала слишком уж большой его внутренней противоречивости и потребности в самокопании. Просто, будучи достаточно мнительным, он нередко готов был заподозрить себя в некоей скрытой испорченности и искал объяснение возникающему у него порой ощущению трагичности жизни, неудовлетворенности жизнью почему-то в себе, а не на стыке себя и мира.

Согласитесь, это был неплохой стимул для саморазвития, жаль только, что это доставляло ему так много (по его меркам) неудобств и даже страданий. Может быть, со временем он научится и вовсе обходиться без этого саморазъедания или, может, он обречен до конца дней своих нести этот резиновый крест? Не знаю, да и, честно говоря, не очень-то и хочется знать. И вообще – довольно философических справок. Полностью объясненный персонаж становится пресен, тем более в наше время. Сейчас герой без тайны, без потенции к неожиданному развитию (желательно выпячиванию какой-нибудь червоточинки, какой-нибудь экзотической – половой, этической – аномалии) просто обречен на смерть и забвение. А с этим мы, само собой, никак не можем согласиться.

– Ротоподъем! – сдавленно вскрикнул мл. сержант Кулецкий, отойдя подальше от закутка

дембелей. Загудели, замигали, защелкали лампы дневного света. Дрожащие от недосыпа духи, еще не соображая, спустили ноги на пол и бесположно затеребили одежду. Притворно потягиваясь, зашевелились черпаки. Деды демонстративно натянули одеяла на головы. И только отдельные дембеля степенно поднялись, надели брюки и, шаркая-хлопая тапочками, отрешенно энергично направились в каптерку.

– Подъем, рота! Выходи строиться! – художочно рявкает Кулецкий, заметив сбоку фигуру вышедшего из канцелярии Старшины.

«Ты, сопливый!», «Заткнись, ты, хомут!» – доносятся в ответ из углов сонно-грубые голоса, прерывающиеся завываниями зевков.

– Подъем, рота! Через минуту построение! – храбрится Кулецкий, проходя по безопасным рядам, подталкивая духов и затравленно избегая взгляда Старшины.

Старшина, засунув руки в карманы галифе, стоит в сторонке и копит показной гнев, чтобы вконец застрашать бедного Кулецкого, а там, глядишь, и сразиться с кем-нибудь из дедов. Дембелей он мудро не замечает, с черпаками и тем более молодыми возиться просто ниже его достоинства, так что они не в счет.

– Выходи строиться!

В казарме движение. Самые работающие молодые, уже успевшие одеться, торопливо-сноровисто заправляют кровати.

– В строй, в строй, – строго, но справедливо наставляет их Старшина, медленно приближаясь к наконец-то выбранному сопернику.

Однако у него явно не хватает боевого запала, и, скорее всего, поединок завершится вничью – лишь бы дед не обматерил его спросонок. А так они попрепираются минуты три, и за это время все, кому надо, успеют встать в строй. И реноме не пострадало, и работа сделана. Ай да старшина!

...Вибрируя, отходит высокая разбитая дверь, вся жирно-черная снизу от сапог, и концентрированная вонь здоровой утренней мочи с размаху ударяет мне в нос. Фу, думаю я, привычно задохнувшись, переступаю через уже натекшую к порогу лужицу и, расстегивая на ходу ширинку, забираю вправо, к ряду открытых кабинок с военнотолстыми и сплошь исчириканными перегородками.

Первое очко, как всегда, закрыто куском темной перекосившейся фанеры с еще различимыми буквами – Р и Я. С одного края фанера под-

мокла и разбухла, и чувствуется, как под ней волнуется и прибывает тяжелая бурая жижа.

Я ковыляю дальше. Второй «кабинет» – самый ходовой, и сейчас он наверняка занят. Так и есть: сержант Черный уже заступил на свое утреннее дежурство. Организм у него работает как швейцарский хронометр, только еще точнее и надежнее, и это обстоятельство, а также основательность и серьезность, с которой он отправляет эту насущнейшую свою потребность, и особенно его сумеречный медвежий вид со сросшимися бровями и выдвинутой челюстью – все это вызывает в роте подлинное уважение и почти исключает насмешки.

– Ну как стул? – спрашиваю я у него дружелюбно. – Не беспокоит?

– Бу-бу-бу, – отвечает он, что может означать «отнюдь нет», или «поживем – увидим», или просто «проходи, проходи».

С артикуляционным аппаратом он не очень дружит – не то что с кишечником.

– Ешь поменьше жирного, – говорю я и двигаюсь дальше, держа равнение направо и словно принимая парад.

Очко номер три. А это еще что такое? Черпак Цюрюк с ремнем на шее, добросовестно оголенной задницей и нагловатыми продажными глазами сидит, перенеся вес тела на одну ногу, и явно шлангует – даром занимает место.

– Теряешься? – говорю я. – А ну-ка, на зарядку – шмелем!

– Ну Ко-о-остя, – канючит он, – ну в натуре живот болит! – а у самого в глазах хитренькое самодовольство: «Как я всех наколол! И этого дембеля тюленистого тоже – все равно ведь отстанет».

Разумеется, отстану. Была нужда стоять тут над тобой. В армии таким – самое то, особенно под конец. В дембельстве он будет разжиревшим, капризным, с гнусавым голосом и непрекаемым тоном – самым лютым для духанов пиночетом...

– Ладно, придурок, сиди, дыши озоном, – говорю я и добавляю философски (уже не для него): – Инициативу и выдумку тоже надо поощрять...

Смотр парада продолжается. Р'няйсь! Смирн! На одного линейного дистанции!.. Я делаю еще один шаг – походный (очень трудно отчеканить строевой в дембельских тапочках и держа одну руку на резинке плавок) – и замираю от неожиданности. Ба! Товарищ полковник! Какими судьбами? Беднушкин, нахохлившись, мол-

чит и лишь таращится на меня глупыми от натуги глазами.

– Здравствуйте, Виталь Палыч, – зачем-то говорю я.

Он чуть привстает на согнутых ногах и снова садится – как прыгун на лыжах с трамплина, шумно выдыхает через ноздри и лиловеет еще больше.

– Вам не плохо, Виталь Палыч? – спрашиваю я участливо. – Может, скорую вызвать?

– Что?! Ах ты, хам, быдло! – вдруг шипит он и пытается дотянуться до моего лица сложенными белыми перчатками. – Как стоишь? Молчать! Будешь замечать офицера!

– Тихо, тихо, – успокаиваю я его и бочком-бочком отступаю к следующему очку.

Здесь оно должно быть, спасительное, привилегированное, дембельское. Я оборачиваюсь. Что за чертовщина? На его месте возвышается что-то вроде пьедестала или гранитного биде, а на нем, свесив ноги на одну сторону, в длинной бархатной амазонке цвета хаки и со стеклом в руке восседает Тварь – фиксатая посудомойка из нашего чипка.

– Ты?! – бормочу я. – А ты-то как здесь оказалась?

– Роуд-гоулд-таун-копибук, – величественно и бегло роняет она на каком-то тарабарском языке, но я чувствую, что говорит она на стерильнейшем английском, и, мне кажется, прекрасно понимаю ее.

– Ес, – соглашаюсь я удивительно подобострастно и с кивком. – Ай’м сори. Дон’т мэншэн ыт.

– Во дурак! – хохочет Тварь, тыча в меня пальцем, и внезапно зло ощеривается: – А ну-ка, вали отсюда, шибанутый, кому сказала!

Съежившись, я бросаю взгляд влево и холодею: вместо стены со староформатным окном, заляпанным до половины крупно-зелеными ван-гоговскими мазками, я вижу протянувшуюся до самого горизонта галерею – широкую, светлую, с высокими сводами и беломраморными перегородками.

– Ты че, не понял? – перекашивая щербатую харю, орет на меня Тварь. – Кому сказала – вали!

– Стоять! На месте! Стрелять буду! – ревет сбоку Беднушкин и подбирается ко мне гусиным шагом, одной рукой придерживая штаны и время от времени потрясая зажатый в другой револьвером. – Я приказываю – стоять!

Я отскакиваю в сторону и пускаюсь наутек – несусь, лечу по проспекту, сжавшись от ужаса и машинально вцепившись взглядом в скользкую мимо вереницу лиц – словно патроны, выглядывающие из ячеек бесконечной пулеметной ленты, – лиц, мелькающих в чередке блестяще-белых перегородок, снова Цурюка и Черного, а потом вообще без всякой последовательности: мамы и бармена-адмиральчика, Леры и отца (что-то он сильно изменился – постарел?), Бубна и Мишель и несколько раз – Боба. Я не успеваю даже удивиться, просто отмечаю про себя присутствие того или иного лица, с ходу вспоминая забытые и убеждаясь в их, оказывается, значимости для меня – сумел же я воскресить их в памяти, сумели же они сохраниться в ней! Но вот сзади меня, совсем близко обнаруживается чей-то шорох, и мне уже не до каких-то там лиц: меня даже передергивает от страха, и я еще быстрее, еще отчаяннее устремляюсь вперед, к уже ясно различимой в конце галереи голубоватой дымке и доносящимся оттуда нежным звенящим звукам, похожим на пение птиц, – ах, как прекрасно мне было бы до них добраться! Но ноги все хуже и хуже слушаются меня, и хотя я прекрасно вижу раскинувшийся впереди блистающий сад, достичь его – понимаю я с тупой отчетливостью – уже не смогу. Из последних сил переставляю словно отекие ноги-колодки – шаг, еще шаг, ну, еще! Нет! Я замираю на месте, больше всего мне сейчас хочется вжаться в плиточный пол, отключиться от происходящего, перенестись душой (которая вся сейчас дрожащее желе страха) в темное уютное забытье, в спасительную временную смерть – чтобы только не слышать, не чувствовать этого усиливающегося, изводящего присутствия за спиной – нет-нет, я не хочу, я не могу обернуться – ну, беги же, беги! Я делаю еще одно, последнее усилие – бессильное – и... просыпаюсь.

Такой или примерно такой сон вполне мог бы присниться мне в первую ночь на родной кровати. Но мне снилась вообще какая-то смутная мура, смурная муть без сюжета, композиции и хоть сколько-нибудь потаенно-пророческого смысла – что-то предельно темное и примитивное: то я с какой-то прямо сладострастно-шпионской радостью подбирал с асфальта обильно рассыпанную мелочь, то вел напыщенные и непонятные разговоры с какими-то незнакомыми людьми, а остаток сна и вовсе провел бок о бок с какой-то большебертой блондинкой почему-то в абсолют-

но пустом и со всех сторон просматриваемом салоне трамвая: я все время пытался каким-то образом обмануть ее, чтобы незаметно раздеть, и уже добирался до прохладных веснушчатых плеч, но мне постоянно что-то мешало, и все приходилось начинать сначала – кошмар какой-то! – и к счастью, я так и не успел добиться от нее ничего путного...

Легкий звук за дверью сразу сдернул с меня сон, и я сел в кровати – совершенно проснувшийся и как будто даже бодрый.

– Да-да, – сказал я.

– Это я, – сказала мама, приоткрывая дверь локтем. – Доброе утро.

В руках у нее был поднос, а на нем дымящийся кофе и горка бутиков с маслом и сыром.

– О-о, мэм, – сказал я, – как ты догадалась, что я мечтал именно об этом?

– Так уж и мечтал? – проворчала она польщенно, ставя поднос мне на ноги.

– Вот тебе крест, – сказал я, поднимая с блюдца тонкую белую чашечку.

Потом сделал первый – самый смачный – глоток, потом еще один – светский, маленький, поставил чашечку и отхватил целую половину обольстительно-аккуратного бутика: амм!

– Слышь, мэм, а недурственно бы было завести такую моду на каждый день – с подноси-ком, горячим кофе, а? И чтобы ты была в черном платье, с маленьким белым передничком и накрахмаленной наколкой.

– Ага, и еще лицо намазать ваксой.

– Зачем? Никакой расовой дискриминации. Единственное, что от тебя будет требоваться, приходиться вот так с кофе, говорить: «Доброе утро, сынок» – и целовать меня вот в эту щеку. И так – всего раз в день.

– Вот именно – день, – сказала она, совсем как обычная тихая мама, стоя рядом и умиляясь на свое жующее чадо. – Ты теперь всегда будешь вставать в два часа?

– А что, я не прочь.

– Ты-то, я знаю, не прочь...

Я не спеша подмел все бутики, допил кофе, вытер губы салфеткой и, довольный, отвалился на подушку. Все это время мама стояла рядом.

– Спасибо, мэм, – вспомнил я, подняв на нее благодарный взгляд.

– Я могу идти, масса Джон?

– Конечно-конечно.

– Спасибо, – сказала она и вдруг спохватилась: – Мне же и правда надо бежать!

Я смотрел, как она собирается на работу: на-красила губы у зеркала, сняла жакет со спинки стула, подхватила сумочку. Потом снова забежала ко мне, прикоснулась уголком губ к моему виску и механически стерла помаду. Потом потопталась-пошелестела в прихожей и щелкнула замком.

– Счастливо, мэм! – крикнул я в ту сторону, но, кажется, уже поздно.

Теперь предстояло жить.

Но для начала – небольшой сеанс нарциссо-терапии.

Я встал с кровати, скинул плавки и придиричи-во осмотрел себя в зеркале. Хотя, если честно, особо придраться было не к чему. Разве что верхний плечевой пояс малость не дотягивает до шварценегеровского, ну так кто ж его заставлял накачиваться до такого вот комодства и разве ж это эстетично? Да вот еще растительность на лопатках стала заметней – и то неизвестно, может быть, это еще и плюс...

Зато лицо было то что надо. Нет, серьезно, лицо было в самый раз. Скажу прямо и мнелице-приятно: мое лицо меня вполне устраивает. Более того, оно мне даже нравится. Не всегда, конечно, но довольно часто, особенно с легкого похмелья, как сейчас.

Уж и не знаю почему, но для меня нет лучше-го средства выглядеть привлекательно, чем просто умыться по утрянке после непринудительной умеренной попойки – при условии, конечно, что ты ничего не смешивал, не обкурился и потом поспал хотя бы часов шесть-семь. И вот теперь промыл глаза, прочистил зубы двойной порцией пасты – и вперед! И ведь правда лицо становится как-то тоньше, мягче, плавнее, и небольшая щетина удачно оттеняет мужественность, и под глазами очень интеллектуальные круги, и сами глаза, самое главное – глаза: темные, глубокие, словно подведенные и чуть лучатся (тут важно не перебрать накануне – тогда они блестят тускло, тупо и мрачно), и что-то есть в них такое неизъяснимо-выразительное, какая-то насмешли-вая удалая задумчивость, какое-то обаятельное шалопайское самодовольство, какое-то здо-ровое мужское превосходство, и взгляд такой от-крытый, что поневоле скажешь – загадочный, а то и добавишь, подумав: «Казалось, он знал что-то такое, чего мы не знали» – удивительно точ-ная и универсальная формула, не правда ли?

Я выдвинул вперед нижнюю челюсть и олицетворил собой среднеамериканскую идею настоящего мэна. Зафиксировали. Потом предельно растянул рот, выгнул одну бровь и слегка высунул мокрый язык – как на какой-нибудь африканской маске – воплощение вселенского коварства и вообще гнусности. Брр, ну и рожа! Кстати, еще один признак приятства лица – его изменчивость, подвижность. А теперь чуть приподняли бровки, приоткрыли губки и добавили глазкам чистоты – как у Пола Маккартни, когда он поет обо всех своих «lips», «cheeks» или «eyes», вот так, и держали. И что это там за прелестный мальчик, вон тот пупсик, уж не Костенька ли Аксенов? Он самый. Ну Костенька, ну душка – сил нет! А теперь подбородок вниз, закусим нижнюю губу и глянем как бы исподлобья – только не злобно, наоборот, наивно-внимательно. И не надо утрировать, не старайся нравиться: просто собрали морщинки у глаз – чуть устало и чуть грустно, вот так, и смотрим на мир, просто смотрим на этот странный мирок – нет, без презрения, не свысока: ты ведь тоже часть этого мира, ты его дитя, и ты смотришь на него просто и спокойно, ты не судия и не палач, у тебя нет в руках оружия, ты даже скрестил их на груди, вот так, как Владимир Семенович, и почти новый «Ориент» на запытае сейчас довольно к месту – только чуть-чуть поверни циферблат, чтобы вид был весомей, но опять же не назойливо, не надо заострять внимание, вот так, хорошо.

Но все это – статика, подготовительные экзерсисы, как в моментальной фотографии на пустом и захламленном сочинском пляже в начале марта. А теперь – следующий этап, расцвет:

– Ий-я-а-а!

Самурайски-змеиный прищур, и молниеносно – один кулак вылетает вперед (до стекла – сантиметр, не больше), а второй, с побелевшими костяшками, затормаживает у ребер: «Тигр снова наносит удар», «Кровавая месть ужасного ниндзя» или как там еще? Еще можно зверски втянуть воздух ноздрями и вдруг припасть на спружиненные ноги, и руки со скрюченными пальцами – левая, плавающая, впереди, правая у плеча – как у какого-нибудь льва (вид сбоку) на гербе какой-нибудь полусказочной страны. Так, держим, держим стойку – хоп! Теперь выдох, расслабились, и сразу же грудь надули, расширили, и одна рука со сжатым кулаком максимально вверх: гол забил Диего Армандо Марадона, номер 10! Класс! Так можно постоять по-

дольше – уж больно красивая поза. И потом еще вернуться к ней – между концертными номерами Майкла Джексона (пластика, брейк) и Ронни Джеймса Дио (атакующий порыв, средневековая мистика) и еще кого-нибудь, может быть даже знаменитого Кэна Аксеноффа – лидер-гитариста, виртуоза, превзошедшего в мастерстве и задушевности самого Ричи, величайшего Ричи – «мрачного и непостижимого короля хард-роковой гитары»...

Ну вот, теперь зарядка окончена. Можно еще раз повторить свинцовый взгляд какого-нибудь Джонни Кольт-Тебе-В-Пах или еще раз замедленно прокрутить смертельный удар пяткой пьяного богомола школы чунь – один раз, и достаточно. И тогда уже снова спокойно и немного застенчиво улыбнуться этому приятному парню в зеркале, этому утонченному и в то же время удивительно свойскому парняге: теперь-то ты уверен, что все у него будет нормально.

Бреясь, я с давно не испытанным удовольствием неторопливо рассортировывал по степени значимости предстоящие дела. Дел, собственно, было немного, в основном встречи и визиты, и половина из них – необязательные: можно доброжелательно сходить, а можно и мудро не ходить... Что еще? Книги. Много-много книг, я уже вижу, как они ждут меня на полках, уже чувствую в руках таинственно-одушевленную пестроту их листов. Сотни и сотни книг, сотни и сотни страниц, строк и стран, в которых мне предстоит оказаться, сотни знакомств и новых жизней, которые мне удастся прожить... И конечно же, священный трепет, охватывающий тебя всякий раз, когда ты сам наконец – когда ты сам, наконец-то! – усаживаешься за обыденный стол с одним-единственным серым листом бумаги перед собой – чувство высвобождения главной твоей жизни, исполнения главного твоего предназначения, материализации главной твоей мечты... Но не слишком ли круто сказано? Ладно, не подлавливай меня на словах, терпеть не могу этой твоей нудной педантичности. Посмотрим потом, что получится, перечеркнуть-то, во всяком случае, никогда не поздно. Подумаешь, делов-то.

Вернулась мама не одна.

Я лежал на диване в форме одежды номер два (с голым торсом), когда из прихожей выглянуло любопытное очкастое лицо:

– Где он? Этот гренадер? Приведите, приведите меня к нему, я хочу видеть этого человека!

Я сразу заулыбался – невольно и искренне. Потому что это была Алка – бессменная (чуть не сказал «бессмертная») мамина подружка. Худющая, сутулая, в уродливо-толстых очках и с неистребимой жизнерадостностью, она была типичнейшей волонтершей боевой и бедовой армии старых дев (не путать с зондеркомандой лейб-феминисток) – хирургов, библиотекарей и эмэнэсок проектных институтов, с той лишь разницей, что сама она работала всего лишь диспетчером на железнодорожной станции и, помимо, никогда даже не поступала в вуз, что не мешало ей, однако, выписывать кучу толстых журналов, быть в курсе всех дел и при этом оставаться отличной теткой – почти родной.

Не надо быть слишком большим романтистом, чтобы сразу предположить, что она «немало пережила», вследствие чего и стала предельно «самостоятельной», поверхностно-циничной и довольно мужланистой. Все это легко читалось в ее некокетливо-сверлящем взгляде или манере неряшливо носить дорожную, но безвкусную одежду. И наверное, так же романно-естественно, что моя сугубо женственная, «взбалмошная» и «слабая» мама нашла в ее лице (вытянутом, с сильно развитой нижней челюстью и рытвинами от выдавленных в юности угрей) самую удобную подругу. Или – идеально подходящую подругу. И Алка согласилась ей подойти...

Она с грохотом сбросила туфли в прихожей и, хищно сверкая очками, по-хозяйски уверенно прокостыляла ко мне. Улыбаясь, я поднялся ей навстречу.

– А поворотись-ка, сын! – сказала она, все-таки по-женски старательно хлопнув меня по плечу. – Экой ты смешной какой.

– Взаимно, – сказал я, непроизвольно улыбаясь.

– Что?! Вот ты как встречаешь тетку, нахал? А ну-ка, обними меня – посмотрим, чему тебя в армии научили.

Я с готовностью обхватил ее одеревеневшее тело и поцеловал в сухую, плохо напудренную щеку.

– Крепче!!

Я сжал ее изо всех сил.

– И это все? – сказала она, отталкивая меня.
– Да ты, я вижу, мазунчик!

Теперь я расхохотался от души. Самой замечательной ее чертой было блестящее знание множества литературных штампов и неожиданно уместное реминисцирование, причем делалось это с такой неподдельной прочувзованностью, что не откликнуться было невозможно. Мы оба считали себя настоящими ценителями Слова и находили большое удовольствие в отвлеченно-художественной пикировке или хотя бы в обмене репликами-цитатами, более-менее привязанными к конкретной ситуации.

Например, стоило мне задуматься, либо просто погрузнеть, либо просто отвлечься от разговора, как она, наклонившись ко мне и трагично «сопереживая», выдавала что-нибудь вроде:

– Музгарка, дорогой, скажи – что болит? Молчит верный пес.

И если первое (вопросительное) предложение мог употребить, в принципе, любой человек, окончивший шесть классов, то продолжить высказывание, завершить цитату в более выигрышном месте (без чего она теряет 50 процентов смыслового и все 90 – ритмико-синтаксического остроумия) под силу только истинному эстету!

Улыбаясь (а скорее – «ухмыляясь», а то и вовсе – «ослабившись», хотя эти уточнения не несут для меня лично никакой оценки), Алка усадила меня рядом с собой на диван.

– Харо-о-ош, харо-о-ош, – тянула она, разглядывая меня, как, должно быть, серая цапля разглядывала бы не простую лягушку, а какую-нибудь большезобую квакшу – с обычной своей десятидиопретивой откровенностью, несколько сдобренной разве что насмешливой симпатией. Хотя, хотя... При всей похожести ее интонации и выражения лица в ней явно появилось что-то новое и беспокойное, но что? И вдруг я понял: она перестала быть для меня *своей*, по-настоящему близкой, то есть такой, когда близость естественна, как дыхание, и воспринимаешь человека лишь на уровне новостного смысла слов и жестов, не держа постоянно в уме оценки его поведения.

Я смутился. Теперь я ясно различал в ее глазах блестящее беспокойство. Мы продолжали перебрасываться традиционными фразами, а я как будто подбирал слова. Она поглаживала меня по бедру, а я уже готов был увидеть в этом чуть ли не заискивание и, знай я ее меньше, может быть, что-то и похуже. Я чувствовал, осязаемо чувствовал, что она стала чужой. Не просто

постарела и свялилась, а действительно как-то отдалилась, и самое неприятное, что связано это было с какими-то изменениями во мне, именно во мне, больше во мне, чем в ней. Даже то, что она заметно сдала, казалось мне каким-то образом связанным со мной: это отражаясь во мне, измененном, она представлялась такой непривычной. Другой вопрос – каким это изменением в себе я так отпугнул ее, человека с раз и навсегда утвержденным характером, языком и привычками? И надеюсь, изменение это в лучшую сторону?

– Ну и как? – спросила мама, подойдя.

Вопрос предназначался Алке и явно продолжал недавний разговор, и явно обо мне. Чего не переношу – так это блаженного облизывания матерями своих отпрысков, слепого восторга и непоколебимой уверенности в том, что именно их чадушко и есть венец эволюции: глупо-целомудренного румянца беременных, горделивого взора вылинявших мамаш, семенящих подле своих тонконогих акселераторов, и особенно – снисходительной улыбки превосходства тяжеловесных матрон на покое, продолжающих опекать выводок энергичных и чванливых хозяев жизни... А все эти уютюканья, пришепетывания и причмокивания: ах, мой Венчиславчик, он такой милый! Ах, он скушал целую тарелку каши! ах, он вымахал под два метра ростом! А то, что этот щекастый бутуз дуб дубом, самодовольный и с абсолютно непонятными амбициями – этого она не замечает и только ищет случая счастливо зардеться: ну и как?

– Не могу, слушай, – проговорила Алка, не сводя с меня своего некогда бесцеремонно-проницательного, а теперь чуть ли не агрессивно обороняющегося взгляда. – Взрослый, аж противно.

– Что делать? – дежурно острою я. – Годы берут свое...

– Ладно бы взрослый, – продолжает она, – а то какой-то...

Она морщится и щелкает пластиковыми пальцами, подбирая слово.

– Мудрый? – предлагаю я.

Она отмахивается.

– Умудренный?

– Противный – одно слово, – заканчивает она, так и не подыскав более образного эпитета.

– Спасибо на добром слове, – говорю я. – Вы удивительно добры.

– Ладно тебе обижать моего сыночка, – вступает мама, приобнимая меня за плечи: выждала-таки момент!

– Обнимайся лучше со своей подружкой! – говорю я, отстраняясь и генерируя негодование. – Все вы заодно.

– Смотри-ка, повзрослел! – удивляется Алка и шлепает меня сбоку по ноге. – Дылда неблагодарная! Смотри, я-то тебе не мать, церемониться не стану: живо надаю лозанов по филейным частям!

– А не слабо вам, тетенька? – изображаю я неисправимого шкидовца, сбавляя, однако, обороты.

С ними – суффражистками-ветеранками – важно не переборщить: что-что, а обижаться-то они мастерицы.

– Ну все! Долго же я терпела! – смеется Алка, хватая меня за загривок. – Ты перед сном молился, поросенок?

– Вот именно – поросенок! – хихикаю я. – Слышала, мамуль? – Потом высвобождаюсь и порывисто встаю: – Вы еще ответите за этот акт вандализма!

И, полный достоинства, как какой-нибудь седобакенбардый дворецкий, величественно удаляюсь в свои апартаменты – переодеваться.

Когда я вернулся, они уже сидели за столом – домашние, привычные – и пили чай.

– Сядешь? – спросила мама с искренней и очень идущей ей теплотой.

И даже приготовилась подняться с места, чтобы принести мне чашку.

– Вот уж увольте.

– Ну одну чашечку. Я свежий заварила.

– Правда не хочу, спасибо.

– Ну сядь, посиди с тетками, расскажешь, как служил, – просит Алка.

– Что тут рассказывать? – приостанавливаю я. – Наше дело известное: служи по уставу – завоеешь честь и славу. Честь твоей части – часть твоей чести. Мускул свой, здоровье и тело тренируй с пользой для военного дела.

– Ужас какой! – прыскает мама. – «Мускул свой».

– Красиво, не правда ли? – говорю я. – И главное, как мобилизует!

– И в самоволку ни разу не бегал? – допытывается Алка, уверенная, что щеголяет самым что ни на есть солдатским арго.

– А что это такое? – придируваюсь я.

– Ладно, не прибедняйся, поди, каждый день шастал к какой-нибудь вдовушке? Ну-ка, признавайся.

– Ну А-а-алла! – тянет мама, и тут я с ней солидарен.

– Пусть, пусть признается, – настаивает Алка.

– В чем? – оскорбляюсь я. – Я, можно сказать, хорошист боевой и политической подготовки, без пяти минут командир отделения...

– Ты, командир, мне зубы-то не заговаривай: бегал или нет?

– Так я вам все и рассказал, – ухмыляюсь я.

– Представляешь, приехал бы с молодой женой, – поворачивается Алка к маме и, поеживая, смеется.

– Ладно, старушки, вы тут развлекайтесь, – говорю я им, – а я, пожалуй, пойду разомнусь. – И скрываюсь в прихожей.

– Куда это? – кричит Алка мне вдогонку.

– Да так, по делам.

– Знаем мы твои дела! Чтобы в десять был дома как штык!

– Утра?

– Вечера, вечера!

– Завтра? Ну разумеется, даже раньше.

– Да, подруга, – говорит Алка маме, – придется тебе, чувствую, пару дней пожить у меня... Ты как, Костя, – повышает она голос, – не против?

– Не меньше, чем на неделю, – отзываюсь я.

– На меньшее я не согласен.

– Ого! Ничего себе заявочки! – доносится из комнаты, и я улыбаюсь.

И еще долго продолжаю улыбаться, уже выйдя в подъезд и спускаясь по лестнице.

На лавочке у подъезда оборудован наблюдательный пункт сводного подразделения Армии спасения, полиции нравов и нашего ЖЭКа одновременно. Сегодня здесь (как, впрочем, и в любой другой день последних лет семидесяти) дежурит Бабушка-С-Первого-Этажа – крючконосая беззубая старушка в белом платочке и со взглядом подпольного связника. Я даже не знаю, как ее зовут; сколько здесь живу, а до сих пор только здороваюсь да иногда отвечаю на пару вопросов – вот и все. У нас с ней подчеркнута деловые отношения, но, однако же, мы уже научились извлекать из наших блицвстреч массу удовольствия. Каждый день примерно с 6.15 до 22.45 и при любых погодных условиях Бабушка-С-Первого-Этажа фиксирует всех входящих и выходящих из нашего подъезда и тихо радуется, когда есть повод предположить что-нибудь интересное. Я числюсь в разряде самых пер-

спективных: меня она уже застукивала раза три вечером и пару раз утром. Впрочем, думаю, у нее на этот счет есть более точные цифры: иногда, случайно бросив взгляд в ее окно, я вижу, как она, замерев, сидит за отодвинутой шторкой чуть в глубине комнаты, и мы искренне доброжелательно киваем друг другу и шевелим губами: «Здрасте». Мы искренне желаем друг другу удачи.

Не знаю, докладывает ли она потом что-нибудь маме, скорее всего – нет (разве что в форме невинно-бестактного вопроса с последующим удивлением-раскаиванием), но, честное слово, та радость, которую я ей доставляю, проводя домой любую знакомую (а лучше – новую подружку), вдохновляет меня на риск и попутно делает и мое удовольствие более изысканным. Чувствовать себя нужным людям, хотя бы одному человеку – чем не стимул для активного существования? Живи подольше, мой апостол Петр в платочке, и не теряя бдительности, ибо враг не дремлет – тот враг, что находится в нас самих и все подначивает нас пролезть в рай без билета, через дырку в заборе!

– Приехал? – без предисловия и с радостной готовностью сразу приступает она к делу.

Соскучилась, бедняжка, по подлинной романтике.

– Ага, отслужил, – улыбаюсь я, замедляя ход.

– Теперь учиться будешь? – кивает она.

Она не спрашивает, где я служил, как. Я уверен, что она знает все это не хуже меня, включая имена-отчества командирского состава вплоть до сержантов и номера всех автомашин.

– Да надо, – говорю я и улыбаюсь.

Какой короткий, казалось бы, диалог, но как много мы передали друг другу информации! Мы не какие-нибудь там новички-перестраховщики, мы сразу выкладываем перед собой на стол все карты. «Слава тебе господи!» – вижу я в ее веере. «Скоро-скоро», – читает она в моем и еще прикупает из колоды: «Может быть, даже сегодня».

– Пойду прогуляюсь, – сообщаю я ей расчувствованно-откровенно. – Посмотрю, как тут все без меня...

– Ага, ага, – кивает она мне с видом безоговорочного духовного единства.

– Отвык от города, даже соскучился, – зачем-то добавляю я.

– Ну дак конечно, – соглашается она, и откидывается назад, и подтягивает узел своего белого платочка, и снова кивает.

Я тоже несколько раз киваю ей, потом вежливо разворачиваюсь и медленно иду в сторону центра – к площади Контрэскарп по бульварам Монпарнас и Дю-Пор-Рояль. А точнее, немного не доходя: до пересечения проспекта Советского и улицы Кирова. Там узловая остановка сразу нескольких автобусных маршрутов и, кроме того, табачный киоск: прошлой ночью я что-то явно не подрассчитал с сигаретами.

Ну вот ты и пришел.

И не делай такого лица: вот ты и пришел и показал свое подлинное лицо. Ведь это было так легко – просто прийти сюда.

Вот ты и стоишь перед закрытой дверью. Ну и что же ты не звонишь, дурачок? Все равно ведь пришел – не идти же теперь назад! Или правда уйдешь? Что, слабо? Ах, какие мы тонкие, как хорошо мы это умеем – делать все что угодно, любую низость с красивым внутренним сопротивлением, с почти невыносимой ломкой – как больно нам так поступать, как трудно, как неприятно! Ну да ладно, чего уж там – это мы только с виду такие хрупкие и слабые. Всё, всё мы снесем – уж свою-то гадкость по крайней мере. Это потом еще долго будем красиво переживать... Ну, бословьясь.

Я звоню.

За дверью мгновенно рождаются шаги. Меня ждали? Это приятно, не правда ли?

На пороге стоит Лера. Ах, это ты? Приличная барышня тут же хлопнулась бы в обморок и желательнее прямо ко мне на руки: эй, кто-нибудь! воды! ароматические соли! ну же! Но Лера лишь меняется в лице и произносит:

– Так скоро? Я и не надеялась. Проходи.

Даже обидно.

Я сижу на тахте, подогнув под себя ногу. Я расслаблен и немного насторожен. Вино уже раскрепостило меня внешне – но не слишком, в самый раз, чтобы не чувствовать себя чурбаном или, того хуже, марионеткой, исполняющей чью-то упрямую (пусть даже и мою собственную) волю. А так у меня есть достаточный зазор между желанием и необходимостью, позволяющий мне слегка флиртовать с ситуацией и не особо мучиться от чувства подчиненности: я могу взгрустнуть, могу задуматься, могу изобразить вальяжность или порыв. А могу и просто посидеть молча, как сейчас, и сделать вид, что сейчас я абсолютно естественен...

– А где твой мальчик? – спрашиваю я. – Давно его не видел.

– Ты знаешь, заболел, – отвечает она. – Оставила у бабушки. Все равно с меня никакого толку.

– Что-нибудь серьезное?

– Да нет, нормальная простуда. То есть не нормальная, конечно, просто обычная.

Она несколько не смутилась, говоря о ребенке, не попыталась выглядеть выгодно встревоженной и не выказала нарочитой беззаботности, и мне это нравится. Конечно, я мог бы описать два-три оттенка ее чувств в данную минуту и столько же – своих, но для этой конкретной ситуации (да и для меня самого в этот момент) важнее всего то, что она не смутилась и что мне почему-то это нравится, и я не замечаю всего остального.

– Плохо жить одной? – спрашиваю я.

Это тоже довольно жестоко, но, с другой стороны, может сойти и за тонкий ход, или при желании (*при желании* – изящный эвфемизм из XIX века) – за прямой намек, или за вполне безобидную реплику в разговоре старых друзей, не имеющих друг от друга секретов...

Но она смотрит на меня так, будто я только что грязно выругался, или усомнился в свежести ее воротничка, или сделал что-то не менее отвратительное. Обожаю эти дамские штучки: сначала спровоцировать тебя на неосторожное высказывание, а затем истолковать все по-своему и направить против себя, то есть в итоге – против тебя же!

– Ты что, обиделась? – спрашиваю я.

– Да нет, извини. Просто у меня уже *начинается*.

– Что-то не заметно. Но спасибо, что предупредила – я буду начеку.

– Не надо быть начеку.

– А я и не собирался.

Она так ненужно пристально смотрит на меня, что я даже пугаюсь: что это я опять натворил?

– У тебя комплекс хемингуэевского мужчины, – говорит она. – Ты хочешь, чтобы все было как у него. Ты одержим его идеей мужественности.

«Если бы все, – думаю я. – Если бы все было как у него».

– Это так заметно? – говорю я.

– Нет, но я знаю.

– Тогда уж скажи – идеей благородства. Мне больше нравится слово «благородство».

– Может быть – только не со мной. Со мной ты больше одержим идеей мужественности.

– А благородством здесь, значит, и не пахнет? Жаль.

– Нет, я не то хотела сказать. Просто со мной ты словно... Ты не воспринимаешь меня всеерьез. Тебе не до меня.

– Так, – говорю я, – дошли до откровенностей. Это уже симптом.

– Не злись, я не то хотела сказать. Я же говорю, что у меня началось.

Ну что ж, спасибо, что предупредила. Это, конечно, меняет дело. Раз у тебя началось.

Она сидит с расстроенным видом.

– Давай-ка лучше выпьем, – говорю я, – чем заниматься откровенностями. Нет ничего хуже: потом только противно будет.

– А ты, по-моему, и не откровенничал, – говорит она.

– Да, – говорю я, – я не откровенничал. Но разве это мешает нам выпить?

Она улыбается одними губами:

– Неужели ты правда хочешь этого?

Чего этого? Чего я хочу? Хотел бы я знать – чего. Ты, кажется, *это* имела в виду? Или что-то совсем другое? Скорее всего. Но я понимаю именно так. Я большой мастер понимать мельчайшие намеки (ах, эта чуткая ранимая душа!) и выпячивать в них второй смысл. Я и воспринимаю их только во втором смысле. А как их еще прикажете воспринимать? Особенно если ты одержим идеей мужественности и где-то даже благородства. Да, благородства, хотя *это* и не на первом месте. Ты воспринимаешь все *это* и понимаешь, чем все *это* может кончиться. А кончиться *это* может только одним – ты знаешь чем. И что самое удивительное, сознательно идешь на *это*. О-о, ты большой любитель посылать себе жизнь – не в смысле трудности, а в смысле сложности, этаким очень лстящей тебе амбивалентности, очень вредящей тебе и словно потому столь притягательной. Ну скажи, разве *это* не удивительно?

– Конечно, – говорю я и вкладываю в голос как раз тот оттенок, который и должен все испортить. – А почему я не могу хотеть этого?

Лера вздыхает, словно мой ответ не удовлетворил ее, но успокоил.

– Странное что-то со мной, – улыбается она виновато. – Когда это меня приходилось упрашивать?

Действительно, когда?

...Когда-то я, Лера и наш общий друг Славик Вязьмикин учились в одной группе и составляли вершины классического любовного треугольника, когда А любит В, В сохнет по С, а тот – роковой красавчик, бесстыжий его глаза – пользуется всеми преимуществами своего положения да при этом еще ухитряется водить дружбу (за нос) с бедняжкой А. Правда, к моей чести, следовало бы признать, что, во-первых, тогда я лишь однажды воспользовался своей привилегией – на пьяную голову, но довольно искренне и никого не обманывая, потому что, во-вторых, в то время Лера была обаятельно-густоволосой и активной гедонисткой, уже тогда некрасивой, но еще стремящейся нравиться.

Потом пути наши, само собой, разошлись: я безнадежно запутался в своих учебных долгах, в обессиливающе-раздутых житейских мелочах, разных моральных обязательствах, и особенно трактовке приписанной самому себе роли, и счел за лучшее сначала остаться на «повторный курс обучения», потом взять академ и, наконец, спрятаться в армии. Лера за это время успела окончить универ, но словно еще до этого превратилась во фригидную училку с преобладанием темных тонов в гардеробе и регулярными приступами одуряющей ипохондрии. Славик же пошел по журналистской стезе и, как узнавал я без интереса и зависти, довольно прытко. Иногда мы встречались (одно время я даже подкармливался в его газете футбольными отчетами), тем более что он продолжал упрямо-бескорыстно (потому-то и упрямо, что бескорыстно) любить Леру, к которой и я порой захаживал в гости и ненароком задерживался чуть дольше, чем Славика бы хотелось... Впрочем, если он и подозревал что-то, то не слишком для себя неприятное – во всяком случае, это не мешало нам всем троим оставаться *добрыми друзьями*, даже когда Лера зачем-то выскочила замуж за выпускника горного института – широкого в кости молодого специалиста с сонливым характером и жесткими рыжими усами – и тем более после того, как она спокойно ушла от него, забрав с собой лишь полугодовалого ребенка...

Все не так просто, как это может показаться, думаю я, глядя на Леру. А она избегает моего взгляда – повернулась в профиль и изредка наклоняет к себе бокал, смачивая губы. Все совсем не так просто, думаю я, особенно сейчас, когда еще слишком рано. Мы оба чувствуем это,

но этот вечер принадлежит ей, и в ее интересах понимать это лучше меня.

Главное – чтобы поскорей стемнело.

Главное – неожиданно убедиться, что уже стемнело и что тебе уже не уйти. Тогда мысль начинает работать расслабленной и направленной, и вот тут-то и должно помочь вино, должна помочь музыка и уют – только не очень назойливо, чтобы не возникло ощущения западни. Здесь важно точно уловить тот момент, когда можно начинать подпитывать свои желания правдоподобными мотивировками, осторожно наращивать их, словно прибавляя громкость у радиоприемника, и одновременно подготавливать себя к неизбежности будто бы спонтанных поступков – первого поступка, а потом все покажется само собой...

Но сначала ты должен создать соответствующий душевный фон, вывести себя из состояния циничной осмотрительности, дать увлечь себя кажущейся глупости и дикости древнего обряда оплодотворения мечты.

Посмотри в окно, если оно не зашторено, – что ты видишь в нем? О, если ты захочешь, ты сможешь разглядеть там много такого, что сразу очарует тебя, сделает проще и невесомей! Видишь ты в небе те далекие сигнальные огни? Неужели они не манят тебя, неужели тебе не хочется устремиться к ним, забыв о расстоянии и холоде? Нет, ты видишь только эти одиночные звезды, и тебе не хочется впускать в душу их леденящую беспредельную тоску...

А видишь ли ты того человека внизу? Наверняка это влюбленный, он не остыл еще от прошедшей встречи, он улыбается, опустив голову, и губы его повторяют не прозвучавшее еще признание и тихий ответ. Неужели ты не завидуешь ему, неужели не хочешь оказаться на его месте, идти вместо него, не разбирая дороги, и в душе возвращаться назад? Нет, ты видишь только этого одинокого человека, устало бредущего по улице, и тебе безразлично, куда он идет и зачем...

Но тогда, может быть, ты уже разглядел в глазах сидящей напротив женщины то самое главное выражение, что она приберегла для тебя, может быть, тебе уже передалось исходящее от нее тепло и тебе уже не удивительно и не стыдно признавать это? Нет, ты не смотришь на нее, ты проводишь пальцем по прохладному изгибу бокала, и его стеклянная твердость сооб-

щает тебе дополнительное спокойствие и лишнюю уверенность в себе. «Пол-одиннадцатого, – говоришь ты себе, украдкой взглянув на часы. – Уже пол-одиннадцатого. И вот за этим ты приходил сюда?»

Но погоди отчаиваться, погоди выносить приговор. Я знаю, ты еще почувствуешь искру, которая воспламенит тебя, ты еще поверишь, как это упоительно – бросаться лицом в огонь, ты еще найдешь в себе силы узнать себя счастливым... Только не надейся, что это останется с тобой навсегда.

– Как это глупо, пошло, глупо! – говорит Лера, качая головой.

Она сняла очки и закрыла лицо руками.

– Что глупо, Лера? – говорю я тихо.

– И главное, как все это мерзко, – произносит она глухо – это ладони мешают ей говорить.

– Что мерзко?

– Все это, – говорит она, обводя комнату расширенными застывшими глазами. – Все это мерзко, мерзко. Неужели ты этого не замечаешь? Ты делаешь вид, что не замечаешь! Я мерзко заманила тебя сюда, спланировала ребенка, надела красивое белье. И ты мерзко сидишь здесь, и терпишь меня, и скучаешь!

– Пстой, мы что, уже договаривались, что ты будешь говорить за меня? – улыбаюсь я удивленно-укоризненно (безукоризненно). – Я так не считаю.

– Считаешь, – говорит она, вытирая слезы – странно держа ладонь неподвижно и судорожно-размеренно трясь о нее лицом.

– Не глупи, – говорю я непринужденно-покровительственно и как можно теплее. – Что это на тебя нашло? Старый балбес приехал из армии, выпил хорошего вина, разомлел, а тут еще видит перед собой красивую женщину. Что я, по-твоему, должен делать? Скакать по комнате и улюлюкать? Говорю тебе: я чурбан, до меня все доходит на третьи сутки, дай мне немного прийти в себя, почувствовать себя человеком, привыкнуть к нормальной человеческой квартире, жратве, вот этому креслу, – стучу я по подлокотникам.

– Котенька! – вдруг шепчет она и, подавшись вперед, кладет голову мне на колено. – Котенька! Что же мне делать? Я так люблю тебя.

– Ну-ну-ну, – говорю я, холодея. – Ну что еще за новости?

– Котенька, – повторяет она. – Котенька. Ну что же мне. Ну я не могу. Ну Котенька.

– Подожди, – шепчу я, наклонившись к ее уху. – Еще немного. Совсем-совсем чуть-чуть.

Она поднимает заплаканное лицо и внимательно – нет, подозрительно! – смотрит на меня. Я поддергиваю подбородком и мигаю ей обоими глазами. А потом мямлю:

– Ну все, успокоились? Или еще будем плакать?

Она старательно мотает головой, потом отворачивается, вытирает глаза и поджимает губы.

– Может, ты боишься? – говорит она, упрямо глядя в сторону. – Ты боишься? Ты трус?

– Ну разумеется, – говорю я и думаю с тихим бешенством: разумеется, я трус.

Ведь нужно страшно много смелости, чтобы схватить тебя сейчас за соски, довести до калення и потом поймать прямо на этом столике. Нужно ужасно много смелости!.. Но говорю я другое.

– Ну разумеется, – говорю я, сдерживаясь, но тоже достаточно искренне и необходимо грубо, даже вульгарно, чтобы это могло скорей ее урезонить. – Разумеется, я боюсь. Не хотел бы, чтобы кто-нибудь оказался сейчас на моем месте. Никому не пожелаю. Я же взорвусь сейчас, стоит мне только к тебе прикоснуться. Ты что, хочешь, чтобы я взорвался?

Она снова закрывает глаза, но теперь губы ее начинают растягиваться и она коротко всхлипывает – не то смеется, не то плачет по инерции.

– Сейчас-сейчас, – таинственно шепчет она и так же, с закрытыми глазами, начинает завороченно расстегивать блузку.

Ее пальцы болезненно-ломко натываются на пуговицы и сминая ткань. Вот она – искра! Я чувствую в крови ее острое жжение. Я рад – как я рад сейчас поскорее сойти с ума!

И тут – я ощущаю это отчетливо и резко, как во сне, – где-то сбоку рождается звук, независимый и беспристрастный, потом умирает и снова появляется, теперь уже заметней, и снова пропадает, и снова повторяется – с явно искусственной периодичностью. «Звонят в дверь», – понимаю я хладнокровно и радостно. Вот и конец наваждению: семейный студент за кулисами потряс листовым железом, появился *deus ex machina* и швырнул в разомлевшее поле амфитеатра горсть долгожданного катарсиса. Дирекция Колизея убедительно просит вас соблюдать порядок при выходе...

– Н-н-н! – громко стонет Лера, роняя руки.

– Кто это? – спрашиваю я, сдерживая дыхание.

– Ну конечно! – с болезненной усмешкой произносит она, кивая самой себе. – Я же так и знала, что он пронюхает. Специально выжидал под дверью...

– Кто – он? – спрашиваю я как можно спокойней.

Я и так, впрочем, достаточно спокоен.

– Все это время стоял под дверью, – говорит она даже громче обычного, и я понимаю, о ком она. – Если б он только знал, как я его ненавижу!

– Не бойся, мы не откроем, – говорю я осторожно.

– Нет-нет, надо открыть.

– Хочешь, я выйду один и поговорю с ним?

– Не надо, – говорит она, будто с удивлением рассматривая что-то на потолке.

Снова раздается двойной звонок.

– Тогда открой, – говорю я. – Только спокойней.

– Спокойствие, только спокойствие, – говорит она, усмехнувшись, и выпрямляется.

Потом не глядя проводит рукой по груди и аккуратно застегивается.

Так тебе, скотина, первый любовник, думаю я, оставшись один. Так тебе и надо, скотина. Получи свое. Получите и распишитесь.

37

Вот он стоит передо мной – низкорослый и большеголовый, с окончательно повзрослевшим лицом, развившимся совсем не так, как хотелось бы, с налетом чванливой силы, ничем, впрочем, не подкрепленной, кроме выпуклой груди и статичной солидности, и то сомнительной – скорее всего, просто от полноты коротких ног. Вот он смотрит на меня пристально и, как ему кажется, уверенно, он думает, что имеет полное право так смотреть на меня – будто свисока, прямо в глаза, ну прям Железный Феликс, да и только, и как бы даже насмешливо – ты еще крепкий старик, Розенбом! – придавая этому слишком большое значение и вкладывая в это слишком большой смысл. Я уже вижу, как привык он к галстукам и неторопливым движениям, как удобно ему говорить сдержанно-бархатистым баритоном, взвешивая каждое слово и *вполне отдавая себе отчет*. Он так и излучает этакую упругую полнокровную надежность (о, голубая мечта золотушных соломенных вдов!), вполне законную надежность, к которой и придраться-то невозможно, если только во-

время не прибегнуть к мелкому злопыхательству или откровенной тупости типа «А х-кто ты такой?», он почти неуязвим в этой своей открытости, и лишь то, как неумело крепко сжимает он в руке револьвер, придает его позе, всей его фигуре нечто комическое; но, даже посмеиваясь над его не очень искренней (или не очень уместной) статуарностью в этой дурацкой ситуации, ты не можешь не признать, как он по-своему красив и закончен, как правилен он в своем спокойном гневе.

Ты тоже невольно играешь роль, но у тебя роль другая – полуповесы-полуюродивого и, что особенно облегчает твою задачу, с искренне смешливым раскаяньем в глазах.

– Может, ну их – эти хлопущки? – спрашиваешь ты, взмахом указывая на свой выдавший виды парабеллум и по-прежнему выдерживая его взгляд. – Неужели нельзя было выбрать что-нибудь менее варварское – шпаги хотя бы?

– А какая разница? – говорит он, перекачнув желваки, с молодцеватой издевкой, и довольно неудачно, и сам понимает это, и сразу теряет половину своей фотогеничности.

Теперь он чувствует, что сбился, и взгляд его становится темней и напряженней, и, значит, я могу наконец сокрушенно опустить голову, и не смотреть почему-то непременно прямо ему в глаза, и пожать плечами, выказывая не то страх, не то оправдание: видит Бог, я этого не хотел. Я знаю, что именно этот жест окончательно раздражит его и в конце концов выбьет из колеи.

– Так вы будете стреляться? – спрашивает он отрывисто. – Или снова попытаетесь увильнуть?

– Неужели все так серьезно? – говорю я, словно не расслышав его. – И ты не видишь другого пути как-то разобраться со всем этим? А наша дружба? Это как же: просто сделать во мне дырку – и весь сказ? Без сожаления, без раздумья? И потом ты спокойно сможешь заснуть?

– Хватит болтать! – бросает он нетерпеливо. – Мне больше не о чем с вами разговаривать!

– А зря, – настаиваю я. – Вдруг мы могли бы поладить и без этой дешевой героики. И одному из нас не пришлось бы становиться убийцей. Возможно, даже тебе. Ты подумал об этом? Или тебе непременно хочется выпустить из меня кишки? Понюхать, чем пахнет мой труп? Так ведь в тюрьму посадят, Славик, ей-богу. В лучшем случае. А вдруг я не промахнусь? Я не люблю промахиваться...

Я вижу, как мои слова западают ему в душу, где они теперь вместе со страхом будут ворочатся тошнотворным, обессиливающим, опускающимся книзу комком.

– Я не хочу тебя слушать, – мотает он своей большой головой. – Я чувствую, как ты меня подавляешь. Но в этот раз тебе, клянусь небом, не удастся свести все к шутловству. К барьеру! Я требую – к барьеру! – топает он ногой.

– Подумай, Слава, – говорю я, переходя на более естественный и, пожалуй, даже заискивающий тон. – Я и не думаю шутить. Какие уж тут шуточки – вон пушка смотрит прямо в лоб. Я говорю серьезно: подумай. Зачем тебе это надо? Ты уверен, что от этого тебе станет легче?

«Ну и змей же ты», – думаю я про себя.

– Уверен, – упрямо кивает он.

– Ну как тебя переубедить?! – скольжу я глазами по стенам, изображая отчаяние. – Ну хочешь, я извинюсь перед тобой? Тебя это устроит?

– Нет, – говорит он.

Чувствуется, что он и рад бы согласиться, но сам завел себя слишком далеко и теперь уже не в состоянии оттуда выбраться.

– Нет, – повторяет он более твердо.

– И это твое последнее слово? – спрашиваю я, упирая на «последнее».

– Да, – отвечает он и сжимает челюсти крепче, чтобы они не дрожали.

– Ну хорошо, – произношу я озабоченно и умолкаю, словно задумавшись.

– Да чего уж тут хорошего? – вдруг скалится он, затравленно блестя глазами. – Придется тебе стреляться, как ты ни выкручивался!

– А-а, ч-чертова твоя башка! – «не выдерживаю» я. – Не хочешь ей думать – подыхай как дур-рак!

– К барьеру! – тоже срывается он. – Без разговоров! Сию же секунду! Или, даю честное слово, я заставлю тебя замолчать!

– Это как же? – округляю я глаза. – Просто выстрелишь в меня? Без всякой там дуэли? Пук в меня – и все, да? Многого же тогда стоит твое честное слово!

– О Господи! – обрушивается он на колени и трясет поднятыми кверху руками. (Причем в одной из них по-прежнему зажат наган образца 1895 года, и это выглядит довольно забавно.) – О Господи, что же мне делать? Я не могу ему противостоять. Я чувствую, как теряю силы. О Господи Боже, наставь мя...

– Ну, довольно, – прерываю я его жестко и откладываю в сторону фуражку с черешнями. – Довольно опереточных сценок. Ты, князь Данила, кажется, хотел стреляться? Так изволь.

– Да, я буду с тобой стреляться, – говорит он, поднимаясь с колен с каким-то новым, кротким и просветленным лицом и новым, настораживающим меня звоном в голосе. – Можем начать хоть сейчас.

– Вот и славно, – подхватываю я холодно. – Тогда я, как оскорбленная сторона, выбираю условия. Итак, мы стреляемся в трех шагах, через платок. С завязанными глазами. На счет «шесть».

– Я согласен, – отвечает он как в забытьи, с остановившимся чистым взглядом. – Поскорей закончим это.

– И еще одно условие, – продолжаю я, пристально всматриваясь в его лицо и мысленно притягивая его взгляд. – Оно несколько странно, и ты волен отказаться. Я предлагаю *добить* раненого, даже если рана окажется пустяковой. Так что, может быть, есть смысл договориться заранее *сделать это самому*. Это бы как раз соответствовало твоему духу непримиримости...

– Я согласен, – не дослушав, повторяет он будто машинально и разве что еще заметней побледнев.

– Отлично! – говорю я. – Значит, с этим все...

С секунду я разглядываю свое оружие, затем щелкаю предохранителем и целюсь в пол перед самым носком своего сапога.

– Вы слышали, доктор? – бросаю я через плечо так же рассеянно. – Сегодня вы нам больше не понадобится. А кому-то одному из нас, возможно, и вообще никогда...

– Это ваше частное дело, господа, – торопливо-вкрадчиво и вместе с тем брезгливо отзывается д-р Ланцман, вставая со стула в углу и поднимая с колен потертый саквояж. – Однако мне хотелось бы вам напомнить...

– На секретере... – на носках поворачиваюсь я к нему. – На секретере вы найдете все, что вам причитается. И даже сверх того... Не смею вас больше задерживать...

Доктор сухо кланяется, педантично подбирает банкноты и бесшумно удаляется. Некоторое время я еще стою не шевелясь, глядя на закрывшуюся за ним дверь, а потом поворачиваюсь к Славику.

– Ну вот, – роняю я, глядя на него исподлобья. – Ну вот, – говорю я, – и свиделись. Ну, здорово, что ли, толстяк?

– Здоровей видали, – улыбается он и шагает ко мне с распахнутыми объятьями.

– Вот так встреча, – говорю я, похлопывая его по плотному объемистому боку. – Скажи?

– И не говори! – улыбается он, и мы с удовольствием тискаем друг друга.

– ...Простите меня, – вдруг доносится до нас голос Леры. – Я ужасно себя чувствую... Я хотела бы остаться одна...

Теперь мы оба смотрим на нее.

– Слава, ты слышишь? – давится она слезами. – Я не хочу тебя сегодня видеть. Уходи, слышишь? Я прошу тебя – уйди.

Стоя рядом, мы смотрим, как она, отвернувшись, лежит и плачет на тахте.

– И ты... Костя... тоже, – наконец произносит она.

Ну что, Чемпион, кушал?

Ну признайся, признайся, что этот раунд ты проиграл. Признайся, доставь мне удовольствие, тем более что все остальные ты, конечно же, выиграешь. Ведь на то ты и чемпион. И у тебя есть поистине чемпионская черта – относиться к поражениям легко, будто их и не было вообще, вернее, признавать их временными, незначительными, аннулированными и самому верить в это, уметь даже посмеяться над собой и в этом найти силы для более важного броска, более серьезного матча и выиграть, обязательно выиграть заключительный этап...

Ах, Чемпион, Чемпион, наивный ребенок с широко раскрытыми глазами и звездочкой во лбу: тебе и в голову не приходит, что ты можешь проиграть, и, наверное, именно поэтому ты и есть чемпион. Ты чемпион не потому, что всегда побеждаешь, а потому, что плевать хотел на поражения, потому, что умеешь делать хорошую мину при плохой игре, красивую мину при плохой игре. Или так: не умеешь делать некрасивую мину при игре, и поэтому у тебя просто не может быть поражений, а может быть только неинтересная партия...

И все-таки, все-таки... Признайся, ведь ты почувствовал, что победа выскальзывает у тебя из пальцев? Пусть на мгновение, но почувствовал? Я видел твое лицо. Наверное, в этом нельзя признаваться, но – бог ты мой! – как приятно мне было увидеть в зеркале из прихожей досаду

на твоём лице, как холодно вспыхнули твои щеки, как внезапно неумело расползлись твои губы в обычно столь щедрой улыбке! А глаза! Как враждебно-растерянно тлели твои глаза, пока неистребимый чемпионский инстинкт не подсказал им единственно правильного (и красивого!) выхода – стать иронично-виноватыми и теплыми, искренне теплыми, искренне искренними – вот что удивительней всего!

Ах как примитивна, как бездарно-примитивна избранная тобою тактика, но – черт возьми! – как она верна! В который раз, и в самой, казалось бы, проигрышной ситуации, ты снова выходишь сухим из воды, даже немного недоумевающе – как это я смог выкарабкаться? – и благородно подаешь руку скорчившемуся сопернику, даже незаметно поддерживаешь его, просто похлопав его по плечу или просто сымпровизировав отвлеченно-отвлекающий каламбур – и вот он снова на ногах, и ты ни словом не напоминаешь ему о том, что еще минуту назад он валялся на пыльном ринге виском в пол, пуская слюни и слабо елозя конечностями... А то и вовсе изобразишь проигравшим себя и отпустишь в свой адрес с полдюжины смачных кола-брюньонских острот или, на худой конец, парочку квазиуничижительных шуточек, дескать, да-а-а, старею, Акела промахнулся. Или даже более откровенно: ну и здорово же ты посадил меня на фонарь! – и при этом так обезоруживающе-сокрушенно покачаешь головой, что невозможно будет не признать твоего превосходства в классе, или в исполнительском мастерстве, одним словом, превосходства, а там уже сам решай – в чем и на что его употребить...

Но нет, оно ни к чему тебе. Твое чемпионство не поверхностно – как просто бы все было, будь оно только внешним! Нет, ты действительно сильнее, ты заведомо сильнее своей доступностью пулям, своим недемонстративным отшвыриванием пистолета в сугроб, своим некартинным выстрелом в небо. Или еще хлестче: ты изначально готов предоставить врагу право первого выстрела и очень смутишься, если он вдруг начнет отстаивать свои липовые права, и скажешь: «Ты думаешь, я против?» – и лишь легкая тень на лице, тень привычного разочарования напомнит о том, что ты тоже можешь проявить непростительную слабость – пожалеть врага...

Ты – Чемпион, а я лишь жалкий спарринг: где уж мне тягаться с тобой? Не проще ли отойти в сторонку? Может быть, только сопротивляющие-

ся тебе и надрываются, и ломаются, и валятся носом в собственное дерьмо? А что, если смириться заранее – по-своему, по-мелочному воспользоваться твоим же оружием: посоревноваться в благородстве, нет-нет, не на твоём чемпионском уровне, а на моем, аутсайдерском, на уровне интрижки, подножки и подтишка? Что, если даже не пытаться укунить тебе лодыжку в глупом стремлении догнать тебя, а просто отшагнуть с лыжни – не дожидаясь твоего бессильно-приказного выдоха, да еще подтолкнуть тебя, да еще помахать вслед вышитым платочком, мокрым от умильных слез? Куда-то ты выкатишься, не испытывая сопротивления, потеряв заведомо слабого противника, на фоне которого ты и мог блистать? Что, если твой соперник просто не явится на поединок и ты вынужден будешь глупо долго пританцовывать от каната к канату, воинственно молотя воздух кулаками, шумно дыша и незаметно косясь на все больше раздражающихся зрителей? Как-то ты будешь себя чувствовать?

Вот и сейчас ты смотришь на меня ласково-пренебрежительно, как, вероятно, супертяж смотрел бы на наскაკивающего легковеса: «Ну куда же ты лезешь, дурашка? Тебе что, жить надоело?» – и я уже обескуражен, уже пасую, уже сдаюсь!

Ах, Чемпион, Чемпион! Если б я только не знал, как на самом деле неловко ты себя чувствуешь, как ты на самом деле хочешь заглядить свою вину – но в чем? В том, что ты красивей и удачливей меня? Или в том, что я так упрям и старомоден? Или в том, что разница между нами так заметна? И так красноречива? И так болезненна? Неужели только из-за этого? Тогда напрасно ты беспокоишься: все равно ты как-нибудь выкрутишься из всего этого, даже не станешь выкручиваться, а лишь улыбнешься мне подбадривающе или скажешь что-нибудь простое и насмешливое, но так, что я снова не смогу устоять, и снова расплывусь перед тобой в безвольно-благодарную массу, и снова прощу тебе – но что?

Ах, Чемпион, Чемпион! Если б я только мог сейчас крикнуть на всю округу, брызжа слюной и тыча в тебя кривым и желтым от никотина пальцем: «Смотрите! А ведь он тоже струсил! Он проиграл! Он ненастоящий чемпион!» Если б я только мог крикнуть так – бессовестно солгать в упоенные окрыляющей зависти, в палящем вдохновенье подлеца – как проще бы стало жить нам обоим!

Но и ты прекрасно понимаешь, и я сам с отвращением чувствую, что никогда не сделаю этого, а если попытаюсь, то ты всегда предупредительно заткнешь мне рот, мешая мне выставить себя в худшем свете: «Да какой там, к черту, чемпион? Так, везунчик...»

Нет, ты непобедим. И я не могу, просто не могу (и не хочу!) не восхищаться тобой или хотя бы не чувствовать к тебе беспрекословной симпатии. Я снова вижу тебя, и снова мой план завистливо-детской мести скручивается к своей исходной точке – преклонению, и я снова все сделаю для того, чтобы ты взял верх, сделаю произвольно, но сознательно. А ты, конечно, и не заметишь взметнувшегося в моем углу полотенца, и используешь этот обоюдный конфуз для того, чтобы высмеять себя, и от этого только еще больше поднимаешься над нами. Да, так оно все и будет. Легкая уязвленность от прокола возбуждает твою свободную говорливость, твои живые актерские качества – и ты развлечешь нас изящно-саморазоблачительным и веселым рассказом, многими рассказами, вечером рассказов – это будет настоящий твой бенефис! – и я при всей своей злокозненности никак не смогу этому воспрепятствовать. Напротив, даже зная, что своей угрюмостью я только развяжу тебе руки, я буду угрюм. Я буду стараться не острить зло и натянута – и буду острить, и у тебя появится повод поддержать меня, развить мои шутки и поднять мне (всем нам!) настроение. Я буду заставлять себя не смотреть на плачущую Леру, и не краснеть, и не напрягаться – и буду смотреть, бледнеть и напрягаться, и ты спокойно и вовремя шепнешь мне: пойдём, старина...

А позже, когда мы вместе выйдем на воздух и я ухвачусь за какой-нибудь нелепый предлог, чтобы вернуться, или просто замедлю шаг, или безвольно брошу взгляд на ее окно, ты хлопнешь меня по плечу: ну, покедова. Надо будет встретиться, посидеть – ты не против? Еще бы ты был против! Ну, счастливо. Ты уж не серчай, что не могу с тобой прогуляться – сам понимаешь: сегодня только вернулся, старушка мать, ужин в семейном кругу... У тебя не сменился телефон? Ну, хоп. Ну, будь здоров!

И ты проворно, чтобы не дать мне глупо сдвинуться в ненужную сторону, перейдешь через улицу и скроешься за ближайшим углом. Торпливо, но очень естественно повернешь за угол. И при этом ни разу не обернешься. И оставишь меня одного.

О чем говорит тебе вечер?

Что чувствуешь ты, садясь в этот автобус со слабо освещенным салоном, неожиданно нагнавший тебя на безлюдно-темной остановке?

Ты думаешь: я люблю ездить вечером в таких вот пустых автобусах, сидеть у окна по правую сторону, и чтобы водитель не включал никакой радиомузыки, и, главное, чтобы в салоне был такой вот неполный свет, и было немного пассажиров, и не было бы холодно...

Наверное, это из детства, думаешь ты и пытаешься вспомнить, когда же ты впервые полюбил все это: мягко вибрирующее гуденье мотора, и теплое движение, и странно-близкие взгляды случайных попутчиков, и проплывающие мимо смутные силуэты, и нереально яркие огни...

Ты вспоминаешь, как однажды осенью ты с мамой ехал куда-то с ночевкой, неважно куда – скорее всего, к родным или знакомым, важно, что вы собирались остаться там на ночь, где-то *вне дома*, и выехали не к какому-то определенному часу, а покончив со всеми делами, освободившись, ближе к ночи, и именно поэтому, наверное, та поездка так врезалась тебе в память, и теперь всякий раз ощущения ее – предночной предсвободы – легко всплывают в твоём сознании и наполняют тебя не спокойствием даже, нет, почти противоположным, хотя и родственным спокойствию чувством – спокойной верой в чудо? спокойной уверенностью в значимости окружающего и правильности собственного пути?

А разве не то же чувство безболезненного ухода из Дома – спокойно-томительного ожидания ночи (одна из форм которого – это плавное движение в полупустом полусветлом автобусе) охватывало тебя всякий раз, когда ты ехал к женщине? И ведь правда есть, есть что-то схожее! И какая сразу выстраивается хрупко-барочная анфилада: поездка в автобусе вечером – ощущение свободы вне дома, ощущение свободы – ощущение волшебства надвигающейся ночи, ощущение ночи – предчувствие встречи с женщиной, и так далее, и так далее, а в самом конце изящная, как арка, аналогия: Женщина – Ночь.

Нет, в самом деле, как интересно, говоришь ты себе и, увлекаясь, пытаешься развить эту мысль (именно мысль, не чувство), отпуская ее по уже намеченному фонарным пунктиром направлению: близость Ночи и Женщины, их неясная связь и взаимодополнение, их взаимопроникновение и иногда – противоборство.

Ты думаешь: «Женщина совсем по-другому воспринимает ночь» – и, посчитав это положение априори истинным, тут же, почти без усилия выстраиваешь для себя еще одну уютную мысленную конструкцию.

Подлинное сближение с женщиной возможно лишь ночью, убеждаешь себя ты, ибо только ночью ее таинственное естество выходит наружу и растворяется в обступающей мгле, тонким слоем покрывает мерцающие простыни и сосредотачивается на рецепторах кожи. Ибо только ночью тебе бывает по-настоящему хорошо, и дело тут вовсе не в голых ощущениях (в конце концов, и в дневной любви есть свой особый шарм, и даже более чувственный), все дело в изначальной установке, в желаемой атмосфере или, если хочешь, в принимаемых правилах игры, когда ты уже вправе не мнить себя красивым, изощренным и приятно испорченным животным и можешь думать (а можешь и не думать) ненапряженными поэтическими образами-символами или – что еще более странно – позволить себе быть особенно нежным и даже находить в этом какой-то высший смысл...

Нет, думаешь ты и опускаешь целый развернутый период – внутренний монолог о разнице ощущений ночью и днем и о роли темно-зеленых гардин, оплывших свечей, зеркал, прозрачной одежды, духов, вина и хрустальных бокалов. Нет, понимаешь ты, ночь так особенна вовсе не из-за создаваемого ею призрачно-чарующего антуража. И женщины, понимаешь ты, так особенны ночью вовсе не оттого, что оказываются как бы в своей стихии. И это ощущение свободного движения в полутьме вовсе не потому так созвучно тебе и приятно, что вызывает предчувствие Возвращения к Женщине или чего-то еще в этом же духе.

Просто, понимаешь ты, иногда полезно бывает осознать, как легко тебе быть одиноким, и как нетрудно, оказывается, достичь этого при соответствующей душевной подготовке, удачном сочетании внутренних позывов, приглушенного света в салоне и расплывающихся огней за окном.

Вот только знать бы еще, куда же ты все-таки едешь – туда или обратно, и что тебя может ожидать на следующей остановке, и когда тебе лучше сходить...

– Ага, явился не запылится, блудный сын. Мишель, отгадай, кто к нам пришел? Сдаешься? Констан. Тот самый обворожительный Констан.

Констан – он и в Африке Констан, правда? Не дрейфь, солдат ребенка не обидит. Садись вот сюда. Миша, будь кысой – сделай два дайкири. Тебе со льдом?

– Немного.

– И один немного со льдом. Ну-с, молодой чемодан, как ваши темные делишки? Что подельваете? Дело пытаете али от дела лытаете?

– Видимо, второе, хотя я и не знаю, что это значит.

– Это значит – шляешься по улицам и кружишь головки молоденьким выпускницам средних школ, так?

– Скорей уж они мне кружат головку.

– Что, неужели так серьезно?

– Я бы сказал – ошутимо. А что это Колек меня игнорирует? Забыл, как вести себя при появлении вышестоящих начальников? Сейчас я тебе напомню. Эй, малюсенький, ты что там – совсем нюх потерял?

– Не тронь это дитя природы – пускай себе дрыхнет. Хик яцет Коля Бубен, который был совсем не дурак поспать. И вообще: хороший Коля – спящий Коля. Да он и не услышит, надеюсь...

– Что, уже готов?

– Как пионер. Как днем упал – так и не поднимался. Я молю бога, чтоб подольше.

– Много же ему понадобилось. Судя по позе, литры три, не меньше.

– Да ему и ведра бы не хватило. Нанюхался, поди, какой-нибудь гадости.

– Ага, солярки. Сам, наверное, накачал, чтоб не мешал творить.

– Слушай, а ведь это мысль: только он начинает шевелиться – р-раз ему плипорцию под зебры – и хорош! Костяныч, ставлю.

– А вдруг он заболел? Или горе у человека, а ты тут зубоскалишь?

– Вот коварственный! Сам же начал! Ну, Констан коварный, берегись!

– Человек, можно сказать, погибает, а он смеется! А еще: «Я-а, совесть на-а-ации!»

– Это кто – он погибает? Да ему стреляй в брюхо – он и пулю переварит. Вот кто болен – так это я. У меня душа болит. За весь мир. За таких, как ты, оболтусов.

– Печень у тебя болит, а не душа. Печень.

– Да он издевается надо мной, этот мальчишка! Мишель, ты послушай, как он меня поливает.

– Привет, Мишель.

– Привет. Ну-ка, интересно, как тут тебя поливают?

– Вот этот мальчуган говорит, что я алкоголик.

– Какой же ты алкоголик? Ты просто тихий пьяница – смирный и безвредный. Ты и пить-то даже не любишь, пьешь для виду, а потом закроешься в ванной – бя-а-а, бя-а-а – и снова бодрячок.

– Измена! Пятая колонна! Пабло, Ансельмо, отходим в горы! Тра-да-да-да-да! Костян, падай, ты убит. Бух! Бух! Мишель, ты тоже!

– Тише ты, поднос перевернешь. На, выпей. Я пошутила: ты редко закрываешься в ванной. Но потом все равно стонешь: «Не рабо-о-отается! Творческий кри-и-изис!»

– Что ты понимаешь в творческом кризисе, женщина? Вместо того, чтобы помочь... Саския, где ты? Где ты, моя Каллиопа, ау!

– Да тише ты. Вот проснется твоя муза, тогда запоешь. Пей. Я тебе побольше льда положила – как ты любишь.

– То-то же. Пей, Костя. Это единственное, что она делает для моего творческого роста. И еще курицу под чесночным соусом, раз в год и если не сгорит... М-м, вкуснятина. Спасибо, девочка. Как бы я жил без тебя? Хочешь посидеть с нами?

– С тобой что-то не очень.

– Вот так. Вот и делай после этого людям добро. Прославляй их имя. Обесмерчивай в веках. Ну и слово я придумал – обес-смерчивай... А с Констаном? Хочешь посидеть у него на коленках? Только честно?

– А он сам-то хочет? Ты у него-то не спросил.

– Констан, ты хочешь, чтобы Мишель посидела у тебя на коленках?

– Хороший, вопрос. Серьезный. Тут с бухты-барухты не ответишь, тут все с разных сторон надо взвесить...

– Вот наглец! Я говорил только «посидеть», а он уже – «взвесить», да еще и «с разных сторон»!

– Пока ты взвешиваешь, я как раз приму ванну, хорошо?

– Да я, собственно, не против...

– Хорошо, прими ванну, а потом приходи на взвешивание. Ха-ха-ха! Здорово я вас?

– Ты сегодня на удивление остроумен.

– Хорошие задаю вопросы?

– Ужасно остроумные. Прямо в лоб.

– Тогда уж не в лоб, а ниже пояса – ха-ха-ха!

– Молодец. Продолжай в том же духе – как раз уровень нашего старшины. Прапор. Тоже любил поострить.

– Неужели обиделся? Задел за живое? Ха-ха!

– Удивительно. Ты сегодня прямо в ударе.

– Ладно, не буду больше. Ну, пей. Я тоже пойду умоюсь. Сегодня, по-моему, даже не умывался. И не ел. Интересно, сколько фунтов мяса заменяет одна сигарета? Ты, часом, не знаешь? Вот и подумай пока, я приду – доложишь. Здорово я шучу? Ну, посиди пока. Я скоро.

Мастерская Боба (назовем это мастерской, тем более что никому бы и в голову не пришло назвать это как-то иначе, скажем, ателье или студией) помещалась в мансарде старинного (по нашим меркам, конечно) каменного дома с булочной внизу и белеными пилястрами по фасаду. Поднявшись с площадки пятого этажа по двум сузившимся лестничным маршам, вы попадали на другую площадку, гораздо меньших размеров и всего с двумя дверьми – влево и вправо.

Выцветше-тусклая, неопределенного бурого цвета, с закрашенной табличкой наверху и без ручки, левая дверь как будто лет сто уже не отпиралась и как будто еще столько же не собиралась отпираться – так, во всяком случае, казалось – но потом ваш взгляд наткнулся на совсем новый английский замок, и мысли ваши тут же поворачивались в совершенно другом направлении – авантюрном – и вы уже представляли за этой дверью какую-нибудь тайную явку карбонариев-антисоветчиков, или тайно-комфортабельную ночлежку бичей-номенклатурщиков, или просто один из тайных складов наворованной управдомом сантехники, если, конечно, вас вообще интересовала чья бы то ни было посторонняя дверь, к которой вы не собирались подходить.

А подходили вы к правой двери напротив, никогда не запирающейся, недавно только покрашенной рыжей нитрозмалью, но уже снова испещренной многочисленными посланиями друзей Боба, чаще – претенциозно-информативными и реже – пьяно-остроумными. Войдя в эту дверь, вы попадали в темный коридор – точь-в-точь как в общежитии имени Бертольда Шварца, только без несгораемого шкафа и скелета, – на мгновение задыхались от темноты, пока не замечали впереди на полу полоску света, и, переложив шампанское в левую руку, которую вы теперь прижимали к животу, правой находили липко-

твердую поверхность стены и осторожно, при- ставными шагами (вот интересно бы было вы- светить ваши движения каким-нибудь инфра- красным лучом!), медленно пробирались вперед. Потом, наехав рукой на расхлябанный звонок- кнопку, нажимали на него раз (никакого эффек- та), еще два раза (опять не работает, что ли?), переносили руку на дверь, нащупывали кольцо, дважды ударяли им по глухо гулкой дээспэшке и дергали его на себя. Если дверь поддавалась, вы отступали на шаг, какое-то время медлили и, вот уже окончательно настроившись на говорли- во-раскованный лад, перешагивали через порог – спрятав руки за спину, симпатично улыбаясь и почти не волнуясь. Во всяком случае, это было почти незаметно.

Первым делом взгляд упирался в мольберт, независимо и чужеродно стоящий почти посре- дине небольшой (большой, но бестолково за- ставленной, просто захламленной) комнаты на границе светового пятна от единственной про- зительно-тусклой лампочки, назойливо свисаю- щей с потолка на изогнутом черном проводе. Не- брежно накрытый изляпанной красками просты- ней, немного униженный, растерянный и ощетинившийся и все же полный непоказного костлявого достоинства, мольберт, казалось, от- дышал после того, как сумел-таки отогнать от све- та всю эту пошлую мелочь, так и норовившую пробраться на передний план, а теперь угрюмо отлеживающуюся вдоль стен и по углам, зализы- вая раны и набираясь новых сил: все эти прово- лочные клетки без птиц, аквариумы с высохшей на дне мутью, недоделанные женские бюсты (большей частью – без верхней части лица), раз- валенные связки журналов, штабеля чего-то де- ревянного, рулоны чего-то бумажного, и какую-то посуду повсюду, и повсюду пепельницы, забытые и не совсем, – на подлокотниках кресел, на углах полочек, этажерок и тумбочек; мебели было осо- бенно много – мелкой и вычурной, примерно од- ного ампир-комиссионного стиля, гнутой, с за- витушками и облезающим лаком, в общем-то ни- куда не годной, но здесь, в такой комбинации и при таких обстоятельствах представляющейся чуть ли не антиквариатом (так, по крайней мере, хотелось думать) или, по крайней мере, действи- тельно приобретающей не то чтобы особый шарм, но какую-то ощутимую, почти раушен- берговскую значимость.

...И только после этого твой взгляд возвра- щается к фигурам людей, узнает их: они были здесь все это время, но тогда тебе была еще не- понятна их статичная власть над окружающими предметами, неясен сам механизм их взаимо- действия между собой и с этим неодушевлен- ным миром, и ты своим дилетантским невнима- нием, согласишься, очень опрометчиво лишил их жизни... Зато теперь они оттаяли и порозовели, сердца их забились, и органы пищеварения за- работали со свойственной им обстоятельностью – с урчанием и еканьем, и первые капельки пота противно скатились из-под мышек, и рот слегка приоткрылся, принял в себя минимально-лиш- нюю дозу дыхательной смеси – полная готов- ность для заслуженно-самоуверенной вводной конструкции, и воздух уже начинает высачивать- ся наружу, пока еще беззвучно, еще не задев го- лосовых связок, и язык еще занимает нейтраль- ную позицию – но выбор уже сделан, Рубикон перейден, и сейчас все начнется, вот сейчас, именно сейчас.

Мишель нигде не было видно, но я чувство- вал, что она где-то здесь. Вон там, на стуле, ка- жется, это ее джинсовая куртка с бахромой. А под ним ее туфли без каблука и с кисточками впереди. Да, точно, ее.

– Привет! – сказал я неожиданно громко, и это было неожиданно приятно. – Ну и накурено. Значит, у Боба депрессия. Народная примета: если в избе накурено, жди Бобовой депрессии.

– А-а! – отсалютовал мне Боб тлеющей бело- мориной, и ее красный кончик прочертил в по- лутьме двойную закорючку.

Он сидел по-зэкски горбившись, но без их порочного пафоса или нашей актерской нарочи- то-упоенной несчастья, просто сидел, устало ссутулившись и положив ногу на ногу, – на белой табуретке в дальнем углу. Бубен, похабно раз- валившийся на диване слева, тоже вяло припод- нял свою чудовищную лапу и тоже уронил ее об- ратно на колено.

– Не очень похоже на всенародное ликован- ие, – сказал я. – Прохладный прием, да же, ма- люсенький? – Я отодвинул тяжеленную бубнов- скую ножищу и присел на краешек дивана. – Что это вы сегодня такие дряблые?

– Костя-а-ан, – проблеял вдруг Бубен с уже знакомой мне плавающей – словно никак не за- крепленной на лице – улыбкой. Его рука легла было на мое плечо, но не удержалась и съехала

до локтя. – Костян приехал. – И он больно сжал мою руку. – Когда приехал-то? Давно?

Это была одна из немногих его (пяти-шести) фирменно-идиотических шуточек – с остановившимся взглядом, приоткрытым ртом и обескураживающе-тупым упрямством – пока ты не взмолишься или не сорвешься.

– Ну скажи, когда приехал. – И все сильнее сжимает руку.

– Да вот только что, – говорю я, сначала сдерживаясь, но потом зверея, и с садистским наслаждением отдирая от руки его пятерню – один палец на слом, и остальные разжимаются сами собой. – Решил навестить.

– Ау-ау-ау! – скулит Бубен и кокетливо дует на руку. – Убить хотели. Сломали пальчик. Как я теперь буду играть на рояле?

Боб смотрит на него сбоку и курит. Потом сминает папироску о плинтус и засовывает окурок куда-то в щель в полу.

– Кто бы тебя правда убил? – мечтает он мрачно. – Ничего бы для того не пожалел, ей-бо.

– А я зна-а-аю, зна-а-аю! – гогочет Бубен.

– Весело тут у вас, – говорю я. – Ничего не скажешь. – Потом подхожу к Бобу и в порыве какой-то неуместно-запоздалой нежности присаживаюсь возле него на корточки, кладу руку ему на колено и заглядываю в глаза: – Ничего не случилось? Что-то ты сегодня совсем плохой.

– Да нет, – неохотно отзывается Боб. – Взял нажрался с утра, дурак.

– Этот, что ли? – показываю я глазами на Бубна.

– Да сам. И этот тоже. Весь день насмарку.

– Ведь главное, сам понимаешь... – начинаю я дидактически, но он не слушает, поднимается с табуретки, морщась, потягивается и говорит спокойно:

– Все нормально. Все путем. Сейчас будем веселиться.

Мы сидели в углу и переговаривались, когда она вышла из боковой двери – свободно и раскованно – на ходу заправляя красную растянутую майку на лямках в бледно-голубые джинсы. При этом ничем не стесненная грудь ее мягко обрисовывалась под тонкой тканью – убийственно тонко обтягивалась старой тканью, и я, внезапно парализованный, тихо, радостно и почти испуганно млея, убедился в который раз: нет, она действительно красива, нет, она и в самом

деле красавица, кроме шуток, я нисколько не преувеличиваю, чтоб мне сдохнуть...

Конечно, говоря об этом, я мог бы описать ее и более подробно: и открытый чистый лоб, и брови – странно невыщипанные и странно темные по сравнению со светлыми волосами (хотя сейчас они тоже потемнели от влаги и потеряли на время свой чудесный естественный отлив и породистую тяжесть, но зато слегка подзавились, и растрепались, и прилипли к маленькой головке, очень выгодно оттенив профиль), и щемяще-припухшие приоткрытые губы, и чуть вздернутый нос, и ярко-зеленые глаза...

Конечно, я мог бы (да и, пожалуй, должен был) описать поподробнее ее лицо – из тех, что принято называть *простым* или *открытым*, что, однако, было равно неверно; скорее уж оно было естественно-спокойным (по физиономическому типу) и правильным (с точки зрения набора черт), а теперь еще и *строгим*, хотя и не совсем: эти сдвинутые брови, круги под глазами и поджатый подбородок, конечно, придавали ее лицу некоторую непривычную резкость, однако полный достоинства взгляд, спокойный и внимательный – такой взгляд бывает у приятных и усталых жен сорокалетних красавцев с проседью в вороных гривах, – этот в общем-то горький взгляд, неизвестно для чего и откуда взявшийся у нее сейчас, в сочетании с совсем еще детски капризным и беспомощным упрямством в складке губ – все это не только не отпугивало, не отталкивало от нее, а наоборот – привлекало, и еще сильнее, чем обычно. Во всяком случае, меня...

И вообще – можно еще долго описывать ее лицо, однако в любом случае описание это будет натянутым: в тот момент – момент действия, который я сейчас как бы синхронно фиксирую на бумаге, я просто не смог бы разглядеть его с такой скрупулезностью. И вообще, не верьте всем этим болтливым писателям, вещающим о том, что они (именно они, хотя они так любят прикрываться своими героями) полюбили ее с первого взгляда, а потом на двух с половиной страницах восторженно описывающим все то, из-за чего это с ними стряслось: сверху вниз, или снизу вверх, или по степени воздействия, начиная со стройного стана, налитых персей или зардевшихся ланит. Поверьте, все это лишь заискивание перед читателем, послабление ему, уже приоткрывшему рот и приподнимающемуся на локтях от уж-замужневерпежа, или просто следствие стереотипно-

сти мышления, или просто небрежение стилем, психологический недочет. На самом же деле, ребята, одно из двух: либо ты разглядываешь женщину как экспонат в музее, либо ты в нее сразу влюбился, и если, не приведи господь, с тобой случилось последнее, ты уже не видишь ее, а чувствуешь, причем чувствуешь уже минувя все промежуточные стадии восприятия, чувствуешь лишь рафинированное к ней отношение (пусть только на одно, данное мгновение), чувствуешь свою мгновенную оценку ее (причем «оценку» здесь следует понимать скорее прямо, нежели метафорически), и что самое-то поразительное, что чувство это, отношение это, эта оценка еще немного – и могли бы быть точно, физически строго выражены частотой сердцебиения, температурой тела и особенно яркостью ослепившей тебя мысленной вспышки: вот она! смотри! При этом, конечно, твой мозг охотно фиксирует какие-то приметы личности, но вовсе не обязательно самые характерные или самые яркие, может быть, просто какую-то заметную черточку, а может быть, и общо: *тонкость* профиля, *свежесть* кожи, *живость* взгляда, *точность* ножки, обтянутой длинным голенищем... Я, например, вместе со вспышкой и щелчком невидимого тумблера в мозгу (можете и похихикать) – или даже чуть раньше – успел отметить *простоту* и *строгость* лица (именно так, отвлеченно), дорогостоящий запах холеной женщины и почти одновременно – нарочито эротическую легкость наряда, особенно этой коварной растянуто-вылинявшей майки на лямках и с мелко потрескавшейся белой надписью спереди – Harlem – и номером – 66.

И только потом написал об этом.

Итак, мне не было никакой нужды разглядывать ее – ее красота и мое отношение к ней были для меня уже данностью (слово очень удачное, поскольку точно указывает и на источник появления подобного факта: просто дано, и все) – все это было уже доказано тем, как ослабело в груди мое сердце и как где-то под кожей пробежали холодные пузырьки: я просто понял и заранее принял всю томную счастливость для себя этой минуты. Мне просто не нужно было разглядывать ее, да и, честно говоря, не очень-то и хотелось. И не столько из-за моей легендарной убежденной скромности (с этим, когда надо, я все же умел бороться), сколько из-за родственного ей, но более мистического и вместе с тем

имеющего вполне реальную основу чувства – боязни сглазить, смазать, спугнуть свое приподнятое ощущение, проще говоря, отравить свое восприятие ядом пристального внимания, страстного осмотра, который явно ведь окажется результативным: идеала, как известно, нет, тем более для такого непостоянного и неблагодарного наблюдателя, как человек, да еще и такого привередливого, как я...

Кроме того, я не могу отказать себе в удовольствии, чтобы не похвастаться одной, как мне кажется, писательски очень значимой своей способностью (думаю, дополнительно развитой многолетним футболом на месте центрального хава), а именно привычкой схватывать характер обстановки очень быстро и сразу, бросив лишь один короткий взгляд, к тому же почти незаметный со стороны, во всяком случае, я надеюсь, что это у меня действительно получается, и в тот момент должно было получиться в особенности: вот я почувствовал сбоку какой-то новый тон тишины – это открылась дверь, вот послышались шаги, появилось очертание фигуры, запах – я чуть поворачиваю голову – и вот я смотрю на тебя, моя радость, и вижу твое простое и строгое лицо, немного сердитый взгляд, ненакрашенные губы, очень светлые волосы, теперь слегка потемневшие и блестящие от влаги и хорошего шампуня, и одновременно – следы от твоих босых ног на полу и джинсы в обтяжку (неновые, голубые, судя по цвету, это Lee), в которые ты сейчас заправляешь эту простую растянутую майку, домашнюю и коварную, потому что под ней особенно невольно обозначается не очень упругая, но убийственно красивая грудь, – ах, Мишель, Мишель, снова я увидел тебя, и снова я перед загадкой: что же мне делать? И смогу ли я вообще что-нибудь сделать? И если смогу, то зачем?

– Привет, – сказал я, подняв к ней лицо.

– Привет, – отозвалась она и, не останавливаясь, прошла к зеркалу.

Потом включила бра по обеим его сторонам и стала расчесываться.

– Не хочет со мной разговаривать, – пояснил я обернувшись ко мне Бобу. – Еще одна бука.

– О-о, – сказал Боб. – Эта – самая главная бука. Всем форы даст. У-у, бука.

Мишель посмотрела на него, но ничего не сказала. Взгляд из зеркала всегда довольно необычен, а этот был и вовсе странен: спокойная стройность стоящей к нам спиной девушки очень

плохо вязалась с хмурым взглядом Мишель. Потом, правда, обе они очень дружно подняли кверху локти и стянули волосы на затылке девушки простой резинкой, и волосы эти блестели, а Мишель все продолжала хмуриться – но уже как-то осмысленней, и ей это шло.

– Ну и как, Костян, пойдет? – сказал вдруг Бубен со своего места.

– Что – пойдет?

– Классная девчонка?

Я поднял большой палец и кивнул, и она это заметила.

– Немного ты опоздал, – сказал Бубен, лыбясь. – Приди ты пораньше – и был бы в почете. Нет, не-э-эт чутьишка...

– А что было раньше? – спросил я наивно, хотя по роже Бубна и так можно было догадаться, что что-то пикантное.

– О-о! – сказал Бубен и повалился на диван.

– Раньше было – супер!

– Ясно, – сказал я, а он приподнялся на локте и стал глазеть на Мишель, в прямом смысле глазеть – приоткрыв рот и дожидаясь, видимо, когда она глянет на него, чтобы можно было залепить что-нибудь не менее остроумное.

– Что было раньше? – зачем-то спросил я у Боба.

– Спроси у нее, – махнул он головой.

Я посмотрел на нее, но она молчала, упрямо-недоброжелательно глядя в зеркало и по-прежнему занимаясь своим лицом.

– Секреты какие-то, – пробурчал я и полез в пачку за сигаретой.

– Да какие секреты? – сказал Боб. – Я сидел тихо-мирно, как зайчик, а она...

– Заткнись, – сказала Мишель, втирая крем в подбородок и даже не прервавшись.

– Видишь? – сказал Боб. – А что я такого сказал?

– Заткнись, – снова проговорила она.

Боб дурачился, и кажется, специально для того, чтобы вывести ее из себя, и это было заметно.

– Ну что я такого... – начал он громче, но сам не выдержал – сбился.

– Он рисовал ее голую, – влез Бубен, – часа три. А потом говорит. Нет, это она говорит: я ни от чего важного тебя не отвлекаю? И стоит такая голая, прикинь...

– Не слушай их, понял? – сказала Мишель, повернув ко мне лицо, а девушка в зеркале, наоборот, отвернулась.

– Понял? – передразнил ее Бубен, а точнее, поддразнил меня.

– Я тебе сказала!

В ее голосе и взгляде была настоящая угроза. Хотя и довольно жалкая.

– Да что здесь происходит? – сказал я. – Ничего не пойму. Вы что здесь – совсем сдурели?

Мишель собрала с полки свои коробочки и снова скрылась за боковой дверью.

– Видали? – сказал Бубен, ухмыляясь. – Вот это я понимаю девчонка. Боб, ты нарисуйшь ее, как она орала тогда – голая?

– А? – сказал Боб, поднимая голову.

– Хрен на, – сказал Бубен. – Ты нарисуйшь, как она орала? Сам же говорил – шедевр. Будешь рисовать?

– Зачем? – спросил Боб.

– Какая тебе разница? Мне потом подаришь. Ну нарисуйшь или нет?

– Рисуют только жопы на заборе, – вдруг вспылил я. – А картины пишут. Пишут, ты понял?

– Я-то понял, – сказал Бубен и, выпятив нижнюю губу, выдохнул дым.

И посмотрел на меня сквозь шевелящуюся белесую дымку.

Глава III

ВЧЕРА

(Коля Бубен – великий и ужасный)

*Любимая, ты не узнаешь меня?
Я – Гадали.*

Весна в нашем городе совсем не похожа на щекастую девушку в застиранном сарафане народного хора какого-нибудь ДК – естественно скованную и прит(в)орно-задушевную. Для нас весна – довольно взбалмошная дамочка, порывистая и капризная, сваливающаяся как снег на голову прямо с вокзала и с тремя чемоданами, делающая страшно много шума, большая любительница флирта и розыгрыша, обещающая все и сразу, но в самый последний момент становящаяся вдруг задумчивой и простой, снова взрывающаяся, сбегаящая, плачущая, смеющаяся...

Уже в конце февраля нет-нет да засинеет небушко (см. Грабарь, «Февральская лазурь»), да температурный столбик поднимется на несколько пунктов, да какой-нибудь проказник воробь-

ишка засвирикает совсем не по-зимнему – ах ты, хитрюшка-пичужка! – и поди ж ты, зашлось, ворохнулось совсем уж было приунывшее за зиму сердечко, затюкало празднично: «Весна! Весна! Весна-красна!..» Какое там! Впереди и март, и пол-апреля.

И ведь каждый год одно и то же: разыграется один погожий денек, а потом опять р-раз – и как не было никакой такой весны: снова зима-заметайка закружит, завьюжит, заморозит – только ту весну и видели. Дела-а-а...

Однако проходит февраль, проходит и март – глядишь, и побежали ручейки вдоль бордюров к гулким решеткам в асфальтовых выемках, и расторопный скворец занял сделанный юннатом домик, и одежда на людях стала светлее и тоньше, и сами люди – вот ведь чудо! – словно потеплели, отогрелись – улыбаются.

А там и Корчагинский субботник подоспеет: самое время разбрасывать слежавшиеся в слоеные пироги сугробы – на куски их и на тротуар, а то и на проезжую часть, прямо под колеса автотранспорта (самый кайф для средних школьников), и если днем пригрело, то мальчишки-хорошисты без головных уборов, а развившиеся девчонки – в ярких шарфах, и снежные бомбы шмякаются на твердое с протяжным шипением и рассыпаются холодной крупной солью, и следы от нее исчезают прямо на глазах...

Потом асфальт уже повсюду оказывается сухим и неровным, и с куртин у подъездов крупноблочных пятиэтажек сходит грязный снег, и их сосредоточенно вскапывают мужья дворничих или просто пожилые жильцы с нижних этажей. Они же сажают потом, ближе к лету, безнадежные прутики яблони и калины, из которых одна треть так и не примется, а еще одну поломают спяну или сослепу; посадят и добротные ирисы, хотя могут быть и настурции, и мальвы, и пионы, и даже флоксы (если только аллергики не станут жаловаться), и цветы потом все лето маячат во дворах броско и неприбранно, радуя глаз доминошников с татуировками, в синих нейлоновых штанах и домашних тапочках.

Цветы, впрочем, появляются еще раньше, в апреле, самые первые – кандыки и подснежники – тоненькими пучками в кулаках мужиков и теток с терракотовыми лицами, вытаскивающих их непослушными пальцами из огромных выцветших рюкзачков – полтинник за букетик – лафа для сентиментальных школяров, мужей со стажем и

одиноких женщин, создающих уют подножными средствами.

Много будет цветов и на самой лучшей улице нашего города (я слышал легенду о сумасшедшем гениальном цветоводе, который работал здесь много лет и почти задаром) – в старомодной аллее между двумя рядами лип, лиственниц, берез и сирени, на насыпанных клумбах-возвышениях с побеленными бетонными бортиками – квадратах, ромбах и кругах – и разные цветы на них тоже составляют разные геометрические сочетания цветов и фигур.

По вечерам здесь будет очень красиво и уютно от тишины и арбатского света сделанных под старину фонарей – и светлые платья девушек будут отливать фиолетовым, и гуляющие парочки будут расслаблены и степенны, и лишь изредка донесется от пригостиничного ресторана пьяный смех рассасывающихся компаний, сытые взвизги отъезжающих рэкетирских авто да убогий скрежет патрульного воронка.

А иногда, даст бог, по этой улице будут прогуливаться артисты из гастролирующего московского театра: незнакомые и, кажется, известные, мужчины в фирмовых светлых костюмах и сандалетах на босу ногу и женщины в просвечивающих платьях или, наоборот, завернутые до подбородка в кучу ярких тряпок и, вероятно, в *альпаргатах* на ногах – задачке для местных модниц или, точнее, их энергичных модников. Просто незнакомые, как правило, кучкуются, забавляются на ходу и общаются хорошо поставленными голосами. Известные же чаще всего слоняются поодиночке – одухотворенные и обыденные – шаркая ногами и заложив руки за спину, отрешенные, но всамделишные, чуть сгорбившись и куря, несомненно, Marlboro и как-то по-особенному красиво держа сигарету или выпуская дым. Смотри, смотри, вон Х-ский сзади, только не оборачивайся, видишь? Ну где, где? Вон тот, что ли? Фу, какой ста-а-арый! И иногда про них распускаются некрасивые слухи, что они, в общем, гм, да нет, ладно травить-то, делать, что ли, больше нечего? Но официант божится, что сам слышал, ну в натуре, он и ему тоже предлагал (врет, конечно) – но как проверить?

Потом театр уезжает, и большие афиши на людных местах – на той же Весенней – висят ненужные и покинутые, с потекшими числами и словами в странно настоящем времени, но нет,

sic transit, вода смыкается над головой, и недвусмысленная тишина больше лечит, чем ранит.

Сиротеют и клумбы (хотя они и борются до последнего), и скоро на самой главной, круглой, с неестественными древовидными цветами, жухнет создающая фон седая травка, и в контурах когда-то правильной звезды остаются лишь неприятные на вид сухие изломанные палки, которые потом, видимо, срезаются, потому что шапка сугробика лежит гладкая-гладкая, как поднявшееся из кастрюльки тесто, а снег вокруг просто сгребается трактором до черных асфальтных ран и сваливается симметричными грязноватыми гребнями под застывшие фонарные столбы и черные липы.

Но это будет еще не скоро. А начали-то мы о весне, так давайте и вернемся к ней – это и приятней, и логичней, и символичней, наконец, если уж на то пошло. А как без этого?

Редакция областной молодежной газеты: коридор с пестрым линолеумом и рядом дверей по одной стороне. Многие из них открыты, так что видны сидящие за столами и на столах, за пишущими машинками и с телефонными трубками, в основном молодые люди и в основном в светлых сорочках с закатанными рукавами. Словом, все так, как и должно быть в солнечный майский день в редакции областной молодежной газеты: одни увлеченно работают (пишут, печатают, слушают), другие не менее увлеченно остряют в трубку, или смотрят в окно, или просто переговариваются друг с дружкой. Все, все как обычно – с неким постоянным внутренним оглядыванием на зеркало, а точнее, на некий никем не виденный образец, и при желании даже действительно можно поверить, что действие будто бы происходит в средней респектабельности среднеамериканской газете и все сейчас снимается на кино пленку, а фильм потом пройдет в одном кинотеатре на 49-й улице, с приглашением на премьеру режиссера и исполнительницы главной женской роли – отдельные номера в «Хилтоне», прикрепленный «шевроле», приличные суточные и сногшибательная гидша-креолка (Гудзон, музей Метрополитен, чейндж, кис ми, бэйби)...

Впрочем, все это уже из другой – оптимистической – трагедии, а мы вернемся в эпос, в редакцию, к первому от лифта кабинету, из которого сейчас доносится голос завотделом спорта (и, как водится, предельно неспортивного и одышливого) Шурика Червова:

– Алло! Алло! Да говорите вы! Черт, прервали! – И в открытую дверь: – Кто-нибудь помнит код Березовска?

– Три семерки!

– Как-как?

– Три семерки и два беляша!

– Балбес. Так-так-так. Какой же код Березовска?

– Старичок, сунь пальчик в дырочку и набери ноль семь. Тетя тебе все и расскажет.

– Сунь пальчик – будет зайчик!

– Пошлаки!

И примерно через минуту настоящий крик души:

– Ну кто-нибудь в этой дурацкой конторе скажет мне код Березовска?!

Камера отъезжает, проскальзывает по кнопке пожарной сигнализации в простенке, еще трем открытым дверям (где все как обычно и как и должно быть) и притормаживает у щелочки последнего перед поворотом вправо кабинета, откуда пробивается металлический лай явно какого-то строительного начальника: это Витюша Бельский расшифровывает с диктофона запись очередного эпохального «круглого стола» (строк 300, рублей 25), которую потом только он с женой и прочтет, и вырежет, и поместит в папку – на века.

Следующий кадр – двери туалетов. На ближнем, мужском, полуотклеившийся газетный заголовок: «Моей души предел желанный». На женском – фотография Катрин Денев. Если хотите, можно заглянуть и внутрь. Не знаю, что вы увидите в женском, а в мужском – неприличную картинку на стене и писсуар, запасливо забитый толстой пачкой серой бумаги – сомнительное преимущество такого рода учреждений.

Двери напротив туалетов закрыты: люди в командировках («Кому-то же надо и поработать!»). В одном из кабинетов противно долго звонит телефон. Десять звонков, двенадцать. Наверняка какой-нибудь пенсионер возмущен поведением студентки третьего курса путаны Жанны Б., чья эпатажная исповедь (с редакционным комментарием, разумеется) была помещена пару дней назад. Быть, быть жаркой дискуссии – ответсек потирает руки.

Дальше – корректура. Тихая Таисия Сергеевна, поставившая, наверное, уже миллион запятых перед «что» и примерно столько же после «то», но так и не научившаяся хоть мало-маль-

ски вникать в смысл фразы, сверяет на свежем оттиске порядок заново перелитых строчек:

– В общем, ная, нет, тить, рать, – читает она монотонно, – центов, написать, ты, ся, всем...

– Стоп! – перебивает ее серьезная Танечка Полуэктова – самая молодая и симпатичная из всех корректоров, но, увы, уже замужняя. – Наоборот: всем, а потом – ся.

– Так, где у меня ся? – безропотно откликается Таисия Сергеевна. – Ага, вот она. Значит, эту... сюда... Ладно, давай дальше: бьется, ет, и, как, пока...

Сегодня – газетный день (завтра выходит номер), и, значит, в редакции немного преувеличенная суета, немного даже надменная: с каменным лицом и быстрым шагом, держа в отставленной руке полощущийся отпечатанный материал – к редактору или в секретариат, а навстречу и вообще кругом точно такие же занятые и торопящиеся, с необыкновенно приятным ощущением собственной реальной значимости. И голос за кадром: «Итак, это был настоящий праздник, все-таки праздник, несмотря на все издержки – настоящая работа, стоящее дело, которое ты по-прежнему любишь, ведь так? И которому ты – не правда ли? – все еще мечтаешь себя посвятить».

Меня, как злостного лазутчика, чуть было не задержали внизу, на вахте, и в другое время – еще года два назад – я бы, пожалуй, смиренно уселся на стульчик в поле зрения бдительной старушки в милицейской рубашке без погон и долго ждал бы, пока меня не вызволит кто-нибудь из знакомых. Но я ведь вернулся из армии, а там кроме способности не комплексовать испражняться на глазах у нескольких ожидающих в очереди сослуживцев здорово учат еще и столь необходимым в жизни вещам, как умение *теряться, косить и включать дурака*. Так что сейчас я уже ничуть не смутился, пробубнил что-то насчет важной встречи (главное, артикулировать нечетко, но уверенно: редактор... молодая смена... была договоренность), шмыгнул в лифт и, подобрав по пути самоуглубленную курьершу партийной газеты, благополучно добрался до восьмого этажа.

Славик дежурил – вычитывал полосу, близко-руко нависнув над столом и держа ручку с золотым пером наизготовку, словно целясь в бегающую между букв козявку. Кажется, он сразу заметил меня, новидуне подал и мэтрски-шикарным дугообразным росчерком убрал со строчки лиш-

ний знак. И только после этого рассеянно поднял голову:

– Разрази меня гром, если это не Костя.

Интродукция, конечно, не бог весть, но в данной ситуации и она прозвучала достаточно добротнo.

– Как ты догадался? – сказал я и вошел.

Рука у него была влажная, но само пожатие, как всегда, приятное. Потом он беззащитно прикрыл глаза и помассировал глазные яблоки. Ах, как он утомлен и занят, но я особый гость и мне он всегда рад.

– Старичок, давай устраивайся. Я сейчас. Это последняя полоса.

– Ничего-ничего, не беспокойтесь, – сказал я. – Я подожду.

Я сел на краешек стула и поначалу так и хотел продолжать разыгрывать бесприкрытую роль скромняги ходока, но зритель мне попался не слишком благодарный, и я скоро успокоился, расслабился, снял куртку и повесил ее рядом с солидным Славикиним плащом, уселся поваляжнее и закурил. Славик, не отрывая взгляда от полосы, подвинул ко мне пепельницу.

– Хорошо живешь, – сказал я, вертя головой и отмечая его казенные признаки преуспеяния.

– Жируешь. Такой кабинетище.

– Угу.

«Ладно, можно и так».

– Своя библиотека, своя машинка.

– Угу.

– И свой вентилятор, свои подшивки?

– Что? Да, конечно.

Он услышал про подшивки и решил, что я захотел почитать. Несколько раз кивнул: конечно, бери. Гостеприимный парняга. Ладно.

– А черной «Волги» тебе еще не полагается? А комнаты отдыха за потайной дверью – с видиком, баром, диваном-станком?

– А?

– Признавайся: любишь в обеденный перерыв побороться с секретуткой? Уважаешь это дело?

– Подожди, не понял.

Он поставил перо на место, где остановился, и с готовностью обратил ко мне взгляд:

– Что-что ты говоришь?

– Ты хочешь сказать, что у тебя нет личной секретарши? – сказал я. – С белыми руками и аккуратной прической? И что, подавая тебе бумаги на подпись, она не подносит к твоему носу

глубокий вырез креп-жоржетовой блузки? Какой же ты после этого начальник?

Он поморщился, но не недовольно, боже упаси, просто честно пытаюсь вникнуть в весь этот вздор.

– Хреноватый ты начальник, Славик, вот что я тебе скажу. Ненастоящий.

– Это почему же?

– Да вот так получается.

– Старичок, как на духу: зашиваюсь, – сказал он примирительно-просительно. – Подожди немного. Сейчас закончу – и буду весь к твоим услугам, смейся надо мной сколько хочешь. Ладно?

– Конечно, Славик. Дело – превыше всего.

Он снова склонился над загнутой снизу (чтобы не марать краской обшлагов действительно свежей рубашки) полосой. Сухой ветерок вентилятора шевелил несколько стоячих волосинок на его макушке. Но, убей бог, взгляд его как-то слишком медленно сопровождал строчки.

Раньше в таких случаях здорово выручал телефон, подумал я. А ну-ка, старичок, закажь класс!

И он, действительно, озабоченно потянулся к трубке, подбадривающе просемафорил мне бровями, набрал номер и убрал взгляд вбок.

– Таиссергевна, на первой: кто, если не мы? Раз-два-три-четвертая колонка, абзац: однако не стоит предаваться... Нашли? Предпоследняя строчка – вот ее убираем. Да, и последнюю. Две строчки. Сколько еще надо? Еще три? Ладно, найдем. И еще, Таиссергевна: на первой в заголовках аж четыре вопроса. Надо посмотреть – где-то убрать. Ну ладно, сейчас. Иду.

Он поднялся, снова изобразил на лице озабоченность-раскаянье, подхватил полосу за уголок и целеустремленно вышел. Проходя мимо, он скользнул свободной рукой по моему плечу.

– Может, тебе совсем некогда, Слава? – кротко спросил я, когда он, просветленный, вернулся. – Ты скажи, не стесняйся. Я пойму.

– Да как тебе сказать, старичок, – не заметил он подвоха. – Вообще-то да, но если ты не очень торопишься... Можешь подождать еще с полчаса?

– Да вот я и думаю: а стоит ли ждать?

– В смысле?

– В смысле – может, не стоит и ждать? Может, вопрос и так отпадает?

– А-а, так ты по делу... – Он очень неплохо изобразил обиду (всего одна моментальная гримаска плюс сожаление в глазах). – А что за вопрос?

– А вот ты сам как думаешь?

– Я? Так-так-так. – Он сразу сошел с лица, мучительно замолчал, но все же решился: – Что-то связанное с Лерой?

– Ладно, не ломай голову, – усмехнулся я. – Слушай, старикашка, вашей, безусловно, передовой и интересной газете не нужен, часом, скромный спортивный журналист? Скромный такой журналистишка, но оч-чень перспективный. И главное, без предоставления жилья...

– Фу-ты, черт, – выдохнул Славик. – А я не знал, что и думать... Ну что я тебе, старик, могу сказать?..

К нему явно возвращалась уверенность в себе и искренняя доброжелательность вынужденного превосходства – та, что всегда появляется у профессиональных журналистов, когда они понимают, что их посетитель-графоман, принесший в редакцию очередную порцию своих мемуаров (о взятии на сей раз уже 725-го километра Смоленского шоссе), наполовину списанных из энциклопедии Великой Отечественной, вовсе не настаивает на том, чтобы они появились в газете завтра же, и вообще готов их несколько переработать... Теперь-то я понимаю, что именно эта облегченная доброжелательность и задела меня тогда больше всего. Хотя, если подходить по-человечески, как он еще мог себя повести?

– Костя, – начал он откровенно и как-бы-неранить, – что мне тебе грузить на уши? Ты уже маленький (тут он даже виновато улыбнулся) – сам понимаешь: железно пообещать тебе места я не могу. Другому бы я, конечно, наврал что-нибудь насчет перспектив сотрудничества и т. д. Но ты сам посуди: только-только из армии, новый шеф тебя не знает...

– Короче, Славик, – перебил я. – У меня есть шансы попасть сюда в обозримом будущем – скажем, через месяц – три? Учитывая мой опыт, желание и все остальное?

Хуже всего было то, что я спрашивал всерьез. Я засветился, раскрылся перед ним. Старенький мемуарист-маразматик стоял в очереди за докторской, нащупав в кармане ветеранское удостоверение и готовый быстро, но с достоинством продемонстрировать его крикливой жирной продащице...

– Костя, – сказал он, искренне сокрушаясь.
– Ты же знаешь, если бы это зависело от меня...

– Ладно, – сказал я, хлопнув в ладоши между коленок. – Вопросов больше нет.

– Подожди, – как-то испугался он. – Ты пока не расстраивайся. Я еще поговорю с ним. Хотя, если честно... Понимаешь, он и спорт – вещи прямо противоположные. Ты его не видел? Сухой, как глист, лицо землистое, курит одну за одной... Спорт для него пустой звук. А спортсмены в лучшем случае тупые недоумки и рвачи, которые объедают народ. Он так и говорит, представляешь? Я боюсь, как бы у нас скоро совсем не прикрыли спорт, уже начинают...

– Да ты не бойся, Славик, – сказал я. – Не суетись. Все нормально.

– Я хочу, чтобы ты понял, старик...

– А я и так все понял, Славик, – сказал я, зачем-то вкладывая во «все» какой-то особо значимый смысл.

Впрочем, ясно зачем. Я чувствовал, что меня понесло, но уже не мог (и не хотел) остановиться.

– Я ведь давно не занимаюсь спортом, так что уже немного поумнел. Я все понял, старичок. Ты только не волнуйся. Ты сделал все, что мог. Ты настоящий корефан.

Слова лились из меня с веселым шипением, прозрачные и по произношению, и по смыслу, лились из меня с давно не испытанным удовольствием и вспенивались, ударяясь о его растерянное лицо. Я собирался было встать, уйти, но нет, слишком велик был соблазн завершить эту сцену чем-то столь же очищенным и неподдельным – оскорблением, слезами, покаянием...

– Слушай, ты напрасно злишься, – сказал наконец он. – Я рассказал тебе, как обстоят дела, просто чтобы ты знал. Было бы лучше, если бы я тебя обманул?

– Да боже мой, старичок, – очень красиво, по-настоящему *ощерился* я. – Кто тебе сказал, что я злюсь? С какой стати? Наоборот, я даже рад, что у меня такой честный и славный товарищ.

– А-а, – кивнул он и расстроено подстучал край пачки листов для записей. – Ищешь ссоры? Ну что ж. В чем я еще перед тобой провинился кроме того, что занял твое место? Увел твою женщину? Плюнул тебе в лицо?

– Дружок, ты здорово заблуждаешься, если решил, что я хочу за что-то на тебе отыграться, – сказал я почти искренне. – Во-первых – за что? А во-вторых – не слишком ли много ты мне приписываешь? Мне? И тягаться с тобой?

– Мне очень жаль, что ты думаешь обо мне так плохо, – вздохнул он.

– Да с чего ты взял, что я вообще как-то думаю о тебе? Участвую в какой-то твоей игре?

Меня понесло, явно понесло, и, значит, все улыбочки, все оскальчики побоку: один лишь взгляд, один мертвящий взгляд прямо в глаза.

– У тебя своя жизнь, у меня – своя. И позволь мне самому решать, во что мне играть и с кем!

– Даже так.

Он сидел, опустив голову, и от солидности его, несмотря даже на сытый, выбритый вид, на свежую сорочку, на толстый стол с телефонами и кипой бумаг, ничего не осталось.

– Ну хорошо, – произнес он.

Он выпрямился в кресле, провел ладонью по торчащим из подставки карандашам и ручкам, потом посмотрел на меня.

– Ну хорошо, – повторил он. – Три ноль в твою пользу. Лера – один ноль. Работа – два ноль. Моя сегодняшняя трусость – три ноль. Я сам признаю. Это просто разгром. – Он даже попробовал улыбнуться. – Теперь-то твоя душенька довольна? Мир?

И он протянул мне свою чистую и открытую руку. А я (даже сейчас стыдно вспомнить!) сделал вид, что не обратил на нее внимания. Усмехнулся сузившимся, как анальное отверстие, ртом и покачал головой.

– Ты хороший парень, Славик, – начал я медленно и внятно, старательно вытягивая слова в тонкие жгучие плети. – Но я, ей-богу, не пойму, о чем ты толкуешь. Свое место ты занимаешь по праву, и все то, что ты сказал, – все правильно и никакая не трусость. Ну а что касается Леры... Что тебе объяснять... Конечно, я умею порой пустить пыль в глаза и задуриль даже самую чистую и умную головку. Ну да это не большая доблесть. Все мы люди, и все мы хотим хоть иногда почувствовать на своей груди легкое дыхание или крепкую руку – чтобы сильно не рваться, куда не след. Лера тоже человек... Но, поверь, она всегда любила только тебя – можешь мне поверить. Всегда, даже слегка – слегка! – увлекаясь мной. Но при этом она никогда не забывала о тебе...

Я и сам, и сразу же, пожалел о том, что сказал. Я, всегда так носившийся со своей природной чуткостью, сказал такую гадость. Впрочем, чтобы суметь ударить так изощренно, без этого самого чувства такта никак не обойтись. Испугавшись в последний момент, я поспешил улыб-

нуться – не усмехнуться, а именно улыбнуться, чтобы в крайнем случае выдать все за грубовато-дружескую сальность, – но было уже поздно. Было уже поздно, потому что Славик как-то даже замедленно привстал и неуклюже смазал мне по щеке горячей ладонью.

– А вот это ты зря, – выговорил я, запоздало отшатнувшись. – Зря, Славик, ох зря.

– Могу еще раз, – сказал он сипловато. Потом прочистил горло. – Еще раз – хочешь?

– Ну уж нет, братец, больше не выйдет.

Если бы я читал Шопенгауэра, то, возможно, и смог бы извинить его, а то и поблагодарить за добрый урок и своевременное отрезвление. Но теперь я плевать хотел на всех шопенгауэров, потому что действительно был зол – прежде всего из-за своего испуга остаться сейчас не потерпевшей даже, но пострадавшей стороной. И еще больше – из-за своей растерянности, полной неподготовленности к подобной ситуации. Это просто заставляло меня быть решительным – в рамках той же растерянности, но с другим, противоположным знаком.

– Ну и что мне теперь с тобой делать? – проговорил я жалко-зловеще. – Положить прямо здесь, на пол, и попинать ногами? Или обставить все красивей – с вызовом на Черную речку, при понятах? Ты что больше предпочитаешь?

И я потер зубами высохшие губы. Кажется, ко мне действительно приходило спокойствие. Или скорей я сам дошел до такого спокойствия – спокойствия обреченности (палача или жертвы – неважно), спокойствия неотвратимости.

– Я предпочитаю, чтобы ты убирался вон, – сказал Славик. – Вот так.

– Остроумно, – сказал я. – А если я заупрямлюсь?

– Не заупрямишься.

– Ну а если?

– Тогда и черт с тобой!

Он вдруг сел, положил руки прямо перед собой, крепко сплел пальцы и поднял подбородок.

– Можешь делать что хочешь – ты для меня больше не существуешь.

Подойти и накатить ему, пока сидит, мелькнула мысль, но, к счастью, не сдвинула меня с места. Весь вид его теперь был смешон, если не жалок: стоический тон, напрягающаяся шея, слезы в глазах. Но все равно – это была его победа, он победил. А я проиграл. И тем более проиграл, что унился до пустой мальчишеской угрозы:

– Ну хорошо, отложим этот разговор. У нас ведь еще есть о чем поговорить – ты согласен?

Славик молчал. Я подождал, наклонив голову и повернув лицо в его сторону. Но он молчал.

– Ладно, – сказал я и пошел к двери.

Когда я толкнул ее, она отошла до предела и так и застыла, избавив меня от выбора – хлопнуть ею или нет.

За моей спиной громко швыркнули носом.

Какой езды не любит русский?

И еще: какую все-таки езду Николай Василич считал быстрой? Двадцать верст в час, и сани скользят по насту, коренной всхрапывает, и заломивший шапку крестьянин на обочине с открытым ртом провожает взглядом раскрасневшегося барина с двумя щебечущими актрисками под мышками... Слов нет, приятно в морозное солнечное утро с другом милым предаться бегу нетерпеливой бурой кобылки – при условии, разумеется, что поблизости не окажется нетерпеливого пегого жеребчика, друг милый перестанет дуться из-за вчерашней склоки и лакей Гришка не забудет всунуть вам под доху термосок с горячим кофеом, в общем, если вам дадут спокойно посетить пустые поля и милые берега и вам будет до них. Но попробуйте сядьте в малоитальянскую машинку «Жигули», за рулем которой сильно голливудизированный бой Коля Бубен, и пронеситесь по нашим хайвей-рытвинам-ухабам со скоростью 50–60 миль в час – и я очень сомневаюсь, что вы (будь вы хоть трижды русский и сам большой Селиван Филаретыч Недоуздкин) сможете испытать по-настоящему искреннюю радость, разве оттого только, что вы все еще живы и до сих пор не надули в онучи.

И вообще, я подозреваю, что великолукавый малоросс и в этой своей легендарной фразе не упустил случая попользоваться утонченной издевкой, ведь по большому счету быстрая езда совсем не располагает к глубоким размышлениям. Экстраполируйте теперь прямую через две эти точки-посылы, и вы получите такой блестящий русофобский аргумент, что просто загляденье!

...Заглядываться, впрочем, было особенно не на что. Вокруг действительно были (виноват, простирались) одни поля, поля, поля – пустые и неровные – будто проведенные от руки – и без пометок.

– Под парами, – кивнул на них Боб с таким убежденным видом, что Мишель не выдержала

и приснула – действительно приснула кока-колой, которую она уже, наверное, минут пять пыталась отхлебнуть из литровой бутылки, поженски беспомощно и возбуждающе поднося ее к мягким губам.

– На Николу был ледостав – не иначе как к сухостою, – продолжил Боб с оканьем и сокрушенным покачиванием головы.

Я сидел сзади с правой стороны, а Боб – с левой. Между нами была выпавшая и свежая, как пятнадцатилетняя девочка, Мишель, и мне было совсем не в тягость поворачиваться в ту сторону и слушать Бобов стиб.

– А как до Спаса не будет дождичка? – озабоченно оглядел он нас. – Это опять без хлебушка всю зиму?

Мишель снова затряслась от смеха, откинув голову и прижав бутылку к груди:

– Ты, Бобище мерзкий, ты дашь мне сегодня попить?!

– Чаво? – насупился тот. – Опять попить? Ой, мотри, Агафья, не доведет эта твоя выпивка до добра! Старики – они как сказывают: дай бабе воды – не избежать беды. Так и знай.

– А если кока-колы? – не очень удачно, но все же подыграл я.

– Тьфу! – осерчал Боб и махнул рукой. – А ежели коки-колы, тады вообще сливай воду!

Мишель уже постанывала от смеха. Я тоже смеялся, и даже Бубен, вряд ли понимая над чем, гыгыкал и завистливо оборачивался.

– А ты, дубина, на нас зенки-то не пьяль, – осадил его Боб. – Ишь какой прыткой! Ты-от знай на проселок поглядывай: не ровен час перевернешь бричку.

Бубен заржал и на радостях еще прибавил скорость и стал петлять по дороге, разбрызгивая гравий в кюветы. Мишель завизжала и снова прижалась ко мне. Я чувствовал бедром подрагивание ее тела и рукой – тепло податливой груди и не очень сердился на Бубна.

Зато Боб принялся орать во все горло:

– Тпру! Стой, окаянный! Своей башки не жалко, дак людей пожалей: малые они ишшо, неразумные, пожили совсем маненько...

– Что, испужались? – тонко подшутил Бубен, зыркнув на нас в зеркальце, и снова вильнул.

– Тормози, говорю, ирод! – крикнул Боб. – Вишь, как бабонька с мальцом убиваются?

Что касается меня, то сам я еще не убивался, но мне было неприятно, что Мишель перестала смеяться.

– Я сейчас точно выйду, – сказала она и выпрямилась.

– Только пусть он сначала остановится, – сказал я, и она как-то странно посмотрела на меня – словно не расслышав.

– Слышь, а малец-то не дурак, – кивнул Бубен Бобу. – Соображает.

– Грамоте разумеет, – подтвердил Боб.

Я хохотнул, но Мишель все сидела нахмурившись и вцепившись в бутылку.

– Представляете, – сказал Боб, – выходит Мишель из машины, заходит в овсы, поднимает один колосок, другой, потом набирает в горсть зерна, растирает, сдувает мусор, нюхает, пере сыпает, разглядывает. А потом улыбается крепко так, по-хозяйски, и говорит: «Добрый, добрый но не овесушко. Исполать тебе, мать сыра земля!» – И сам первый засмеялся.

– И не смешно, – сказала ему Мишель и скорчила рожу.

– Ага, улыбнулась, улыбнулась! – закричал Боб. – Все, теперь уже не можешь дуться!

– Хи-хи-хи! – передразнила его Мишель. – Я с вами скоро вообще постоянно улыбаться буду – вот так: ы – ы – ы!

Бубну это явно понравилось, и он хотел снова прибавить скорость, но впереди уже показался железнодорожный переезд: клюющие носом старые шлагбаумы, перемигивание фонарей и темный взгляд мужиковатой бабки со смотанным желтым флажком в ручище.

– Не видать, – сказал Боб-Гапон, выглянув по сторонам.

– Как скажешь, – проронил Бубен, двинул рычаг и, не напрягаясь, каскадерски-ловко обвил вильнул полосатые палки.

Колеса попарно громыкнули на выступающей над рельсами отполированной железе. Вдогонку нам понесся правдивый и свободный русский язык. Как-то вдруг похитревший Бубен посмотрел назад, но никак не отреагировал.

– Далекое еще? – воспитанно поинтересовался я.

– Километров двести – двести двадцать, – отозвался Бубен.

– Это по прямой, – добавил Боб. – А так – все триста.

– К утру всяко-разно будем, – успокоил Бубен.

– Вот дураки, – сказала Мишель довольно зло, но не слишком, скорее раздосадованно. – Лишь бы языками потрепаться.

– А ты тоже попробуй, – сказал Боб. – У тебя должно получиться. Знаешь, как интересно!

– Да пошли вы... надоели, – махнула на них Мишель и повернулась ко мне: – Уже почти доехали. Вон тот лесок видишь?

Я посмотрел: а-а, уже вон тот? Мишель тоже задержала взгляд и, видимо, вспомнив о близости удовольствия, ожила и встрепенулась:

– Сразу же пойду купаться. Возьму книжку, полотенце, бидончик с квасом...

– Мешочек с редькой, пол-литру бражки, – продолжил Боб.

– И меня! – влез Бубен. (Красно-загорелая кожа на его шее натягивалась и закручивалась, как резина.) – Чур я тебе купальник выжимать буду!

– Ты лучше дачников будешь отгонять, – обломил его Боб. – Они как увидят ее в купальнике – все позвонки себе повывихивают да еще перетонут, чего доброго.

– Представляю, – хихикнул я.

– Где эти дачники? – зарычал Бубен. – Да я их... Бац – один! Бац – второй! – дважды вlepил он кулаком в ладонь. – Остальные – разбежались. Ну, берешь меня, Миш? Не пожалеешь!

– Смотри-ка, губу раскатал! Много вас таких желающих! – сказал Боб и несильно ткнул его в затылок. – Ты поворот-то свой, случайно, не проехал, шофер?

– Где? – сказал Бубен. – Точно. Тпру, родимая! Наза-а-ад.

Войдя, я сразу почувствовал неладное, и точно: из маминей из спальни доносилось два голоса, один – ее, с повествовательно-старательной интонацией, и еще чей-то – с вопросительно-почтительной. Чей-то очень знакомый. Ну точно – Лерин. Вот так да. Это что еще за Мюнхенский сговор?

Я разулся и инстинктивно-индейски шагнул в ту сторону, невольно прислушиваясь и стараясь не шуметь. Но дверь в спальню оказалась открыта и они сразу заметили меня. Причем мама даже не прервала своего размеренного рассказа, а Лера только молча смерила меня взглядом и, вся в собеседническом порыве, снова вернула внимание маме. На опрятно заправленной постели между ними, интимно распахнутый, лежал наш семейный фотоальбом. Еще несколько снимков было в руках у Леры.

– Не помешаю? – спросил я.

– Проходи, – разрешила мама. И другим тоном, живее – Лере: – Я тебе, Лерочка, наверное, уже надоела своими разговорами...

– Да что вы, – сказала Лерочка и уважительно поправила новые очки. – Мне все так интересно. Из Костика же слова лишнего не вытянешь: ничего мне не рассказывает. Теперь-то, Константин Владимирович, я все о вас знаю! – сообщила она словно приятную новость.

– Надеюсь, что нет, – сказал Константин Владимирович. – Можно я схожу умоюсь? – И повернулся, чтобы уйти.

– Сейчас ужинать будем, – поведала мама почему-то именно ей. – Ты уже, наверное, проголодалась?

– Ой, с удовольствием, – ответила лучшая мамина подружка. – Вам что-нибудь помочь?

– Еще чего, – отмахнулась мама, радостно поднялась и, по-утиному ковыляя на своих варикозных ногах, обогнала меня по пути в кухню.

На лице ее блуждала заботливая улыбка.

Что ни говори, а есть что-то мазохистски притягательное в таких вот насквозь фальшивых дружественных встречах, и даже не потому, что ты можешь в охотку и весело поюродствовать, нет, скорее наоборот: весь смак в том, чтобы, умывшись и одевшись в чистое, усесться во главе стола и искренне увлечься ролью хлебосольного хозяина (Тебе положить еще немного оливье? – Бережешь фигуру? – Что-то тебя на соленькое потянуло! – Ешь, ешь пятый кусок, они у нас не считаны) – со светлой улыбкой прислушиваться к говорящим, изредка вставляя обобщающие замечания и серьезно разливать армянское вино из заначенной мамой полбутылки. А потом, когда она, всплеснув руками, ненавязчиво смоеется (извините) за ах-забытой лопаточкой для пирожных (бертолетовой солью, клюшкой для гольфа, педальной астролябией с ядерной боеголовкой) и появится только минут через пятнадцать с по-другому заправленной юбкой и глуповатой улыбкой на лице, повернуться к Лере мужественным фасом и спросить что-нибудь незначительное, но теплым и тихим голосом – таким очень домашним и естественным тоном, и выслушать, именно выслушать вначале приятно смущенный, а затем все более и более успокаивающийся ответ, и мягко пошутить, опустив глаза на свои неловко поигрывающие пальцы на скатерти, и с одобрением поддержать несколько взволнованный, но в общем-то абсо-

лютно здоровый смех; и вот когда ваши взгляды вдруг синхронно поднимутся на осмелевшую маму – одинаково раскрытые и даже какие-то расстроганные – будет в этом (будет мама совершенно права) уже какая-то особая симметрия, и даже не симметрия, а почти параллельность, потому что что-то уже действительно сдвинулось, что-то уже действительно покатилося с пригорка, как бы ты, спохватившись, и не пытался вернуть все назад – поздно, батюшка, поздно – механизм уже заработал, и напрасно ты топчешь до отказа тормоз, хмурясь на неуклюжие мамыны взгляды и ее заверения от лица всех присутствующих. Поздно. Ты и сам уже понимаешь это, и потихоньку берешься за руль, стараясь приспособиться к новой ситуации, и даже слегка увлекаешься ею, и находишь в ней немало плюсов, хотя и не смиряешься по-настоящему, нет, не смиряешься. А раз так – кто же заставлял тебя *так* смотреть, *так* говорить, *так* подавать плащ и подсаживать в автобус, и тем более ехать вместе, и тем более выходить на полпути, чтобы прогуляться, и тем более обнимать *так* в подъезде, и тем более молчать *так* и долго, и тем более сворачивать в *это* русло, и действительно желать, в общем-то, *этого*, и раскованно намекать все-таки на *это*, и добиваться теперь уже именно *этого*, только *этого* и добиваться, только *этого* – ну не бойся, да-да – только *этого*, да – *этого* – ну не сразу, нет – *этого*, да – *этого*, мм – *этого*, мм – эт... и еще мм – о! – и еще – о-о-о, как быстро все произошло – кто бы мог подумать? Мне всегда так не везет – может быть, попробовать еще раз?

Может быть, еще не все потеряно?

А сможешь ли ты еще раз?

А может быть, еще ничего и не случилось?

Может быть. Все может быть.

А может, в этом-то и есть все дело – в солнечных бликах на лакированных перилах, зелени травы или раскрытой книге с перелетающими взад-вперед страницами? Или все же в облаках, скользящих по голубому, объемных белых облаках с грязно-серым брюхом, как у добродушных шестипалых из детской сказки? Или просто в послеобеденном часе – тягучем времени сиесты, в забавности глупого котенка, смешно подпрыгивающего за желтой бабочкой? Или в доносящемся запахе черемухи, привкусе обжигающего чая, нежном прикосновении ветерка?

Или все же главное – это белое платье из тонкой марлевки, почти прозрачное, с темнеющими на свету выступами тела (Северянин бы сказал – извивами) – узкого и плотного тела, действительно упругого (несмотря на затасканность штампа), спокойного и стройного тела, холеного и гордого, и избалованного, и доступного, и простого? Вот именно, старичок, все дело в простоте, и только в ней одной: назад, к природе! – к простоте удобств и условий, жестов и желаний, поступков и последствий. Мысли прозрачные, как этот воздух. Слова невесомые, как этот ветерок. Прикосновения неспешные, как это время. Скоро вечер. До вечера еще далеко...

– И вообще, дорогой, вам не кажется, что вы должны как-то развлекать свою даму?

«Свою даму».

– Безусловно, мадемуазель. Сейчас что-нибудь придумаем.

– Арриведэрчи.

– Ну, это-то и я знаю. До свиданья.

– Молодец. Это была разминка. А теперь посложнее... вот: че ун буон ресторантэ куи вичино?

– Так-так-так. Что-то связанное с рестораном. Как пройти в ресторан?

– Вот умничка. Слушай, я так в тебя точно вторюсь. Давай еще. Вот. Нет, вот: ио манджо ди тутто.

– Так. Я хочу... Нет, сдаюсь.

– Так нельзя – сдаюсь. Обязательно нужно ответить.

– Тогда подожди. Ну-ка, повтори еще раз.

– Ио манджо ди тутто.

– Ага. Я встретил вас, и все былое...

– Нет, давай-ка по-настоящему.

– А я и так по-настоящему. Там просто неправильно написано. Я-то говорю на чистом литературном языке.

– Ладно, хитруля, сейчас я тебе... Ми дика, пэр фаворе, довэ дэво шендэрэ – ну-ка?

– Си, синьора. Дульче фортиссимо бельканте лаго-маджоре.

– Как-как?

– Санта Мадонна примавэра скуадра адзурра.

– Во клево! А скажи еще что-нибудь.

«А Я В ТЕБЯ УЖЕ ДАВНО ВТЮРИЛСЯ».

– Ну скажи!

– Феличе.

– И это все?

«А РАЗВЕ ЭТОГО МАЛО?»

– Грация.

– И все? Ладно, поехали дальше. Та-акс... Прима ди партирэ волье ринграцьярла ди тутто.

- Лесби аспекси нихиль эст суперми.
- По-моему, это уже из другой оперы.
- Нет, все из той же.

«КАК Я ХОЧУ СЕЙЧАС ПРИКОСНУТЬСЯ К ТЕБЕ».

– Хм. Ладно, давай вот это: а дирэ ла вэрита, ми диспьяче партирэ.

«КАК Я ХОЧУ СТИСНУТЬ ТЕБЯ В РУКАХ И ПРИЖАТЬ К СЕБЕ – ПЛЕЧАМИ, ГРУДЬЮ, ЖИВОТОМ, НОГАМИ».

– Говори-говори. Так просто не отделаешься!
– Синьора, не подскажите, где здесь поблизости джинсовый магазин?

– Что? Какой магазин – джинсовый?

«А БОЛЬШЕ ВСЕГО Я ЛЮБЛЮ, КОГДА ТЫ ВОТ ТАК СМЕЕШЬСЯ».

– Ну при чем здесь... Нет, так нечестно...

– Синьорина, обменяем эту матрешку на пару футболок?

«СМЕЕШЬСЯ ВОТ ТАК, СМОРЩИВ НОС И ВЫГНУВШИСЬ ВСЕМ ТЕЛОМ – ТОНКИМ И ТРЕПЕЩУЩИМ».

– Я есть руссо туристо-замполито и хотеть купить эта палочка колбаски.

«ТОГДА Я ПРОСТО ТЕРЯЮ ГОЛОВУ – СМОТРЮ И СМОТРЮ НА ТЕБЯ, И НЕ МОГУ ОТОРВАТЬСЯ, И, НАВЕРНОЕ, ВЫДАЮ СЕБЯ С ГОЛОВОЙ, ПОТОМУ ЧТО ВИД У МЕНЯ, ДОЛЖНО БЫТЬ, ОЧЕНЬ ГЛУПЫЙ – ПРЕДСТАВЛЯЮ...»

– Ну не надо, Костя, я тебя прошу.

– Скока-ско-ока вы сказали? Миллион лир?

«И ВСЕ РАВНО Я ГОТОВ СМЕШИТЬ ТЕБЯ ХОТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ – ЛИШЬ БЫ СМОТРЕТЬ НА ТЕБЯ ТАКУЮ».

– Костя, слышишь? Я так не играю!

– Сто тысяч? Нет-нет, благодарю, я не очень люблю этот сорт.

«ТАКУЮ КРАСИВУЮ И БЕЗЗАЩИТНУЮ...»

– Слышишь? Я сейчас точно рассержусь.

«ТАКУЮ НЕРЕАЛЬНУЮ, НЕВОЗМОЖНУЮ, НЕДОСЯГАЕМУЮ...»

– Слушаюсь, синьора. Куда прикажете поставить чемоданы?

– Ну все, я обиделась. У меня аж скулы свело из-за тебя.

«И, МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЭТОМУ ТАКУЮ ЖЕЛАННУЮ. ИЛИ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ?»

– Что это ты на меня так уставился?

«НЕТ-НЕТ, НЕ СМЕЙ ТАК ДУМАТЬ. НЕ СМЕЙ».

– Извините, синьора, просто задумался. Так с чем прикажете пиццу – с сыром или анчоусами?

«ЗАЧЕМ Я ТАК СПУГНУЛА ЕГО?»

– Лучше просто дайте выпить. Я оставила дома вставную челюсть.

Бубен, пожалуй, чересчур эффектно подал машину назад, развернулся и, оставив позади облачко газа и короткий визгливый звук, въехал в аллею. Когда они прокатили мимо нас, Боб высунул руку из окна и показал victory. Но пасаран – вскинул я кулак. Перед отъездом Боб завещал мне блюсти Мишель от посягательств оздоровившихся дачников. Хотя я за весь день что-то не встретил здесь ни одного, даже больного.

– Ну, в общем, суп в котле, вода на столе, – вздохнул Боб, – что-то там в ключах, голова на плечах. Живи как знаешь, а меня не дожидаться... – Он поднял было руку, но уронил ее и судорожно сглотнул: – П-прощевай, братка!

– Куда все-таки так скоропалительно? – спросил я с дурацкой серьезностью.

– Ах, не спрашивай! – вскричал он, страдая. – Видно, сама судьба не хочет, чтобы мы были вместе. Прощай, дружище. Может быть, хоть ты будешь счастлив. А я... Эх, да что там!..

– Я буду ждать тебя, Боря! – заголосила Мишель и горлицей метнулась ему на грудь.

– Нет... нет... – говорил Боб, глядя ее по голове. – Не жди меня... Будь счастлива... Береги ее, слышишь? – обратился он ко мне. – Христом Богом прошу: пропадет она тут одна...

Бубен все это время стоял поодаль и ковырял в зубах травинкой.

– Ага, доверь козлу капусту, – хмыкнул он.

Боб посмотрел на него, вздохнул, но ничего не сказал.

– Колек, хоть ты скажи: куда вы намылились-то? – снова спросил я, хотя не этот вопрос волновал меня больше.

– Молчи! – крикнул ему Боб. – Ничего не говори! Пусть пребывают в счастливом неведении...

– Не беспокойся, – ухмыльнулся мне Бубен, – раньше завтра все равно не приедем. Так что учти: с тебя пузырь.

– Тьфу, дурак! – плюнул Боб с досады. – Это ж надо!

– Такую сцену спортил! – тоже оторвалась от него Мишель – с совершенно обыденным видом. – Вот так всегда.

– Да, – сказал Боб, – так всегда и бывает. Привыкайте к этой суровой жизни, ребята.

Зато я, подумал я, ничего не испортил. Во время смолчал и сквасил постную рожу. Профи, ничего не скажешь...

Начинало смеркаться, и весь пейзаж вокруг, и весь этот вечер, да и вся жизнь стали приобретать другой оттенок и смысл.

– Захвати вино, – сказала Мишель и пошла к дому по прохладному плотному дерну рядом с вытоптанной дорожкой.

Я заглянул в уже совсем темную воронку аллеи: в глубине ее двумя сливающимися точками мигнули габаритные огоньки. Нет, не может быть, подумал я. Ничего не будет. Что-то помешает, вторгнется, развеет...

Я нес бутылку, взяв ее двумя пальцами за горлышко. В другой руке, так же зажав ножки и слегка приподняв, я держал два бокала. Остальные так и остались стоять на белом столике у веранды.

Мишель подхватила с шезлонга книгу и солнцезащитные очки и, не оборачиваясь, вошла в дом. Я шел позади, приоткрыв рот, чтобы сдерживать дыхание. А она уже поднималась по лестнице на второй этаж, скользя смуглой рукой по перилам, и доски под ней успокаивающе поскрипывали. А я покорно следовал за ней.

Она вошла в комнату и оставила дверь открытой. Затаенно дыша, я тоже переступил порог. Проходя мимо кровати, она, не останавливаясь, выпустила из рук книгу, очки, стянула с плеч легкую шаль (уголок ее стек вниз и лег на пол), подошла к окну и только тогда обернулась.

Я остановился у стола, поставил на него бутылку и бокалы (они неровно звякнули) и долго не убирал руку, словно они вот-вот должны были ожить, спрыгнуть на пол и разбиться.

– Включи свет и закрой дверь, – сказала Мишель. – Посидим еще немного? Ты еще не сильно хочешь спать?

– Нет, – сказал я и помотал головой. – Со всем не хочу. Выспался днем, наверное.

И вот уже руки мои, суетсяя, легко откупорили бутылку и сдвинули бокалы. Вот уже темная пряная жидкость, качнувшись, выплеснула через край-ай и, взбиваясь, зажурчала, полилась, поднялась, и прикоснулась к губам, языку, зубам, и лизнула пищевод, и тепло расплылась в желудке. Вот уже сигарета, выбитая из пачки, удобно легла привычной округлостью в привычно приоткрывшуюся щелку губ, и вибрирующая

струйка дыма понеслась в проем растворенного окна, стопорясь и разбиваясь о стену свежего воздуха.

– Холодно? – спросил я, повернув голову. – Закрывать окно?

Мне было холодно – и телу, и шее, и губам.

– Да. И подойди поближе.

И вот уже ноги мои, повинувшись, ступают в обход стола – напряженные и ослабевшие ступни, и ослабевшая ладонь оперлась на угол – скрип-вдох – и надо поднять глаза, но трудно, почему-то трудно: они не смотрят, им тоже холодно.

– Ты так дрожишь. Замерз?

– Я не дрожу, – сказали мои губы и сомкнулись, дрожа.

– Да иди же ко мне, ну! – сказала она, и руки мои, отчаявшись, поднялись, осмелев, вскинулись, и нырнули в глубину таких, оказывается, теплых волос, таких шелковистых и ласковых, и, согреваясь и тая, задвигались легко и умело – твои волосы, мои руки – все больше и больше запутываясь и радуясь этому, и уже не выбраться, уже навсегда, нет, сейчас, только сейчас, вот уже мягкая темнота спустилась на глаза – наконец-то, наконец, ничего не страшно, ничего не важно, вот теперь ничего, уже ничего, лишь спокойствие и радость, спокойствие и безумие, и счастье, и плечи, вздрогнув и опав, приняли долгожданные руки – вот сейчас, здесь, сейчас...

– Сейчас, – шелестнул ее голос и вместе с руками скользнул в сторону, исчез, пропал.

Где он? Куда ты?

– Я здесь, дурачок. Успокойся. Отвернись.

И вот уже глаза мои, открывшись, следят за моими руками, стягивающими покрывало, складывающими его раз, другой: выцветший ромб одеяла (лишнее пятно на белом поле), выпуклый кубик аккуратной штопки (глаза подмечают все с пронзительной, но неопасной ясностью) – все это где-то далеко, не здесь, за пеленой запечатленных кожей соприкосновений, за пульсирующей внутри тела решимостью – и вся эта откровенно дачная обстановка с печатью убожества и удобства, и эти ее чужеродные одушевленные детали: дорогой парфюмерный набор с радужной бабочкой на крышке, ветка цветущей сирени в банке, а еще, не так сильно, запах духов, вон тех, рядом с цилиндром дезодоранта и снятыми клипсами, и еще что-то, не то запах, не то звук как будто начавшегося дождя, и – не оборачивайся! – мягкое шипение-потрескивание отстающей от тела ткани, и – точно! – грустный настороженный аккорд

двух капель, ударившихся о подоконник, и этот щелчок с внезапно охватившей мглой, и эти шаги, и влажная темнота за окном среди другой темноты, и этот шелест внизу, под окном, шаги, и этот шепот, и этот вздох, и это затаенное дыхание – мое дыхание, вдруг радостно смешавшееся с другим, жадное, жесткое, задохнувшееся и с привкусом крови.

Когда ты лежишь на спине,
подставив грудь для моих поцелуев,
расслабив живот и закрыв глаза,
когда, закусив губу, ты цепляешься
тонкими пальцами
за мои плечи,
и просишь меня, и умоляешь, и требуешь
продлить, и еще, и еще этот миг,
когда, мечась головой по подушке,
ты вдруг вздрагиваешь всем телом,
счастливо изгибаешься,
и кричишь, и стонешь, и шепчешь мне
на ухо,

довольно покусывая его, –
о мой милый, о мой родной, –
ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ МОЕ ИМЯ?

А я, я сам,
водя губами по твоим ключицам,
ложбинке между грудей и вокруг сосков,
я сам,
глядя твои бедра и лаская волосы,
я, исходящий желанием,
прижимая тебя к себе,
изо всех сил прижимая тебя,
а потом мучительно долго
сплетаясь, сливаясь, срастаясь с тобой, –
разве сам я знаю тебя,
разве знаю я о тебе хоть что-нибудь,
разве могу я согласиться с собой же,
что ты по-настоящему МОЯ?

Мятые простыни обжигают тело,
и мы сбрасываем их, как кожу.
Мы две переплетенные змеи
с нежной, только что народившейся кожей,
мы обнимаем друг друга и этим
причиняем друг другу боль.
Но: мы мудрые змеи,
мы чувствуем, как облегчить боль,
мы давно узнали, как обмануть ее, –
мы просто сбросим старую кожу,
как горячие простыни,

и, обнимаясь, обманем друг друга
новым знанием и старым озареньем.

О, ночные озаренья,
о, попытки обмануть друг друга
и заставить себя поверить в то,
что уже позади,
что все уже позади.
О, предчувствие новизны,
предчувствие обладания знанием –
обман омертвевшей кожи,
уже сброшенной на пол, как ненужные
простыни,
ведь сегодня такая жара, и без тебя
я замерзну...

Я проснулся от этого равномерного веселого звука, доносящегося со двора. Я открыл глаза. Я был в комнате Мишель, но ее рядом не было.

Я быстро встал, надел джинсы и подошел к окну. Недавно прошел дождь, трава ярко зелене-ла, и небо освобождалось от последних обла-ков. Мишель сидела в шезлонге в ночной сороч-ке и с шалью на плечах. Неподалеку голый по пояс Бубен с красивым ожесточением расщелки-вал толстые чурбаки. Мишель улыбаясь что-то говорила ему, и иногда он, поворачивая красную шею, смотрел на нее и тоже улыбался. О чем они говорили, я не слышал. Я долго смотрел на Мишель, и она наконец подняла голову и увиде-ла меня.

– Эй, лежебока! – крикнула она, прищурив-шись одним глазом. – Солнце-то уже скоро ся-дет! Когда пойдем загорать?

Бубен распрямылся и, тоже щурясь, тоже по-смотрел в мою сторону. Я поднял руку и кивнул ему. Он поддернул подбородком и протянул ко мне топор: «Поработать не хочешь?»

«Нет», – помотал я головой.

Он повернулся к Мишель, кивнул на меня и что-то сказал. Та рассмеялась и снова махнула мне рукой.

– Скорей иди! – крикнула она. – А то уйдем без тебя!

Она была очень красива, незнакомо красива, щемяще красива, и я ее не узнавал.

– Ну? – крикнула она. – Идешь или нет?

– Иду-иду, – кивнув, сказал я, и почему-то вслух, словно они могли меня услышать.

Глава IV

И ПОТОМ

(Веселая семейка)

И поцелуешь мой усталый лоб.

Здравствуй, ночь.

Снова темнота затопила землю – все огни, все звуки, все пространство. Руки лежат на прохладном подоконнике, в соседней комнате тикают часы.

Здравствуй, ночь, время одиноких и влюбленных, черное спокойное время, черное спокойное море – без берегов, без ветра и ветрил. Я стою у окна и плыву в ночи, плыву по времени – без направления, просто доверившись волнам, в открытое море, или на глубину, на самое дно, сквозь толщу лет, или на поверхность, к внезапно яркому свету, без всякого усилия, один короткий рывок – и я уже наверху, уже различаю мир вокруг, простой и ясный: я один, меня нет, есть только этот свет и эта тьма – ночь.

Здравствуй, ночь.

Здравствуй, время смятения и мудрости, мечтаний и прагматизма, страха и спокойствия, озарения и умиротворения, примирения, смирения... Часы в соседней комнате все идут, и я слегка покачиваюсь на черной зыби.

Здравствуй, ночь. Снова я с тобой.

Сценарий предполагаемого развлечения был знаком мне до деталей. Сначала, естественно, официально-прохладный запрос: ты правда, что ли, играл в первой лиге? И хорошо, если при этом не сразу поверят, если будут опережающе-надменны и слегка враждебны (конкурент!).

– Да было дело...

– Мы сегодня играем – приходи.

– Мы – это кто?

– Наша сборная. Универа.

– А-а (почтительно). А с кем?

– С политехом.

– Какой-то турнир? (Заинтересованно.)

– Да, «Буревестник». Финал. Мы тебя уже за явили.

– Спасибо, с удовольствием (искренне). А где, во сколько?

– На «Кировце», в пять. Финал. Давай, приходи.

– Конечно, обязательно. Только я, боюсь, уже мертвый: толстый, шнурки не могу завязать – согнуться.

– Да ладно (уже доброжелательней: я не задираю нос). Начнешь, а там посмотрим.

– Ну все, железно.

И, уже отвернувшись, легкая усмешка: вы, что ли, посмотрите? Ладно, посмотрите, поучитесь...

Днем, впрочем, думаешь всерьез, думаешь холодно и трезво: настрой, профессионализм. Потом игровой обед (обязательно мясо, никакой сметаны, булочек и прочей ботвы, стаканчик сока). До игры – всего две сигареты. Дома даже сделал легкую разминочку. Отыскал еще приличные адидасовские трусы, гетры (н-да, теперь только для таких случаев?). Щитки? Ни к чему – этих, что ли, бояться? И не с такими костоломами играли. Хотя и будут пощипывать, конечно.

Потом звонок Бобу и между делом, удачно: да вот пригласили сыграть, знаешь, так свысока – приходи, мол, посмотрим. Ха-ха-ха. Ладно, схожу, даже интересно.

Мишель дома («А что там, что там?»). Вечер у них не занят – скорее всего, придут. И я не упрашивал. Настроение – лучше некуда. И чувство, даже уверенность: сегодня будет пруха.

Потом, метров за сто до стадиона – спокойное, но твердое, но доброжелательное лицо. Кучка студентов – вот эти, кажется, свои. Вежливо. И никакой нервозности. Улыбаешься всем шуткам. Выслушиваешь все приподнятые, все бахвалистые, все трогательно-стратегические прогнозы-предложения. О себе – нехотя, молчалив. Или сдержан.

Потом разминка. Не щадя себя, резко, привычно – со специфическими, неизвестными им упражнениями. Лицо становится жестче и отрешенней. Аккуратно заправляешься, хотя они многие расхристанны – представление о настоящей-футболистской крутизне.

Теперь на поле с мячом. Не набиваешься в компании. Если дают мяч (а чаще просто отлетает), обрабатываешь просто и надежно и тут же возвращаешь простым пасом – спокойно, не раскрывая карт. Попозже, правда, делаешь еще несколько сложных упражнений, но это действительно нужно, плюс добротные, полновесные рывки, растяжки, тормоза – немного в стороне от всех, «чтоб не мешать и не привлекать внимания».

Перед выходом с судьями снова оправляешь форму, даже приглаживаешь волосы ладонью – старомодно, крючкотворски, со стороны – дурачок и дурачок, тихоня какой-то. Ладно, дождитесь игры. Мы себя в игре-с покажем-с. На табло – там все будет написано: кто есть кто.

– Тебе где лучше играть? – спрашивают панибратски-уважительно, как будто даже подчеркнуто.

– Да не знаю (скромно, в меру равнодушно). В центре, чуть впереди – под нападающими.

– Ладно, так и сделаем. Юшков, тогда перейдешь на левый край, полузащитником.

Вихлястый Юшков – рыжий и с модной стрижкой – дуется, теперь обязательно будет гундеть в перерыве, что кое-кто совсем не замечает кое-кого на левом краю, где он, видите ли, все время стоит открытый, а защитник у него такой запаренный – его только и обыгрывать... Ну что ж, попищи, попищи, птенчик. Что тебе еще остается? Я – игрок и дискутировать с тобой не собираюсь. Я буду играть, а ты или пищи, или просто хлопай водянистыми ресницами, все равно с тебя не будет никакого толку. Ты же бесптолковый, как баран... А впрочем, хватит себя распалать. И тем более злиться. Может быть, они еще придут. Мишель такая копуша.

Идем к центру поля – взгляд то под ноги, то в абстрактную даль. Двигаюсь очень легко, силы в ногах – немерено. Чувствую, соперники давят косяка – наверняка что-то пронюхали. Все верно, ребята. Скажу прямо: не повезло вам сегодня. Очень сожалею, но ничего не поделаешь – то есть не поделаете. Такая, видно, у вас планида...

– Команде политехническ нстута, – начинает наш капитан, – наш...

– ...привет! – гаркают все.

– Х-хэ! – просто громко выдыхаю я.

Ничего особенного – так, еще один маленький штришок. И снова профессиональная отрешенность: ни к чему не прислушиваюсь, ни к кому не присматриваюсь. Стою, поигрываю мышцами, и все.

Судья – старый знакомый, здороваемся за руку, перебрасываемся парой фраз. Ты за них, что ли, сейчас играешь? Да, наконец-то нашел свою команду – сказка! Он понимающе усмехается, потом делается озабоченным: пора начинать. Да я, собственно, и не против. Пора так пора, как скажете.

Любимые секунды перед началом. Судья поворачивается на одного вратаря, на другого: готовы команды? Ну еще бы! Тогда поехали – сви-

сток! – и я мгновенно меняюсь. Действительно меняюсь – взрываюсь изнутри, оживаю – даже почти не играя при этом. То есть играя, конечно, но по-настоящему, по крупной – в футбол, а не во что-то там другое. И жесткий, протыкающий взгляд – это тоже игра, один из ее элементов: устрашение, самоподзаводка.

Первые приемы мяча – молниеносно, сразу пас – неожиданно, рывок – открываюсь, мощно, остро. Поначалу не слишком замечают, приходится чуть-чуть сваливаться назад для приема. Хлопаю в ладоши, поднимаю руку – хоп! хоп! – прошу мяч, получаю, двигаюсь – голова поднята, все вижу. Почти в самом начале выдаю два паса, первый – правому нападающему, шведой: догнал, обработал, но закопался на фланге. Второй – центральному (кривоногий, десантской комплекции, Витек), чуть ли не один в один, но он не понял, рванулся поздно, и вратарь успел забрать. Ладно, Витек, все нормально, еще забьешь. Он поднимает нагло-виноватые глаза, кивает. Есть один союзник. Скольжу взглядом по бровке. Этих еще нет. И будут ли вообще?

В середине первого тайма один раз прорезаю сам – из глубины, наввернул двух или трех, у штрафной чуть подцепили. Не то чтобы сильно, но падаю грамотно. Штрафной, и с удобной точки. Бежит опорный защитник, капитан, тот, что меня приглашал, самый здесь, как ему кажется, центральной. Хочет пробить, хотя явно не сможет: попробует подрезать и ковырнет «подземный» или, скорее всего, бухнет выше ворот. Дай-ка я попробую, шепчу я, устанавливаю мяч ниппелем к ноге и обкручиваю стенку в ближний угол. Но недостаточно сильно – вратарь дотягивается. Наши искренне хватаются за головы. Эх, сильней бы, сетует-советует мне один из наших, когда мы откатываемся назад. Ладно, подмигиваю я ему, в следующий раз обязательно.

Соперники кое-что начинают смекать. Один раз снесли сзади. Ага, седьмой номер, запомнили. Еще один – толстенный бык – пытается оттолкнуть корпусом. Подставляю ему локоток – прямо под ребра. В следующий раз подумает, прежде чем лезть так уверенно. Еще два раза бью по воротам – и оба раза мимо. Поднимаю руку: виноват. Моим ребятам это явно нравится. Уже сознательно отдают мяч. Вывожу на удар рыжего Юшкова – бьет мимо денег, естественно. И так всплескивает руками, будто постоянно забивал, а тут вот прям такая невезуха. Хлопаю его по спине: все нормально. Бей низом – вра-

тарь теплеет. Давай чуть отойдем, поможем сзади. Он кивает и трусит назад, смешно мотая головой. В конце первого все-таки забиваем: отдаю направо, парень простреливает, и Витек подставляет колено. Корявенько, но гол. Конечно, я бы хотел забить первым, но и так тоже неплохо. Сейчас будем спокойней, уверенней. Еще бы эти пришли...

В перерыве сижу на траве чуть в сторонке, опираясь сзади руками, ноги согнуты и широко расставлены. Расслабляюсь. С незаметной улыбкой выслушиваю точь-в-точь мальчишеский гомон своих одноклубников, только напыщенной – как надо играть и как не надо. Однажды, когда обращаются ко мне – бери побольше на себя, поболтай их защиту, – спокойно выслушиваю, киваю, вытираю лоб рукавом. Снова бросаю взгляд на пустую трибуну – и счастливо успокаиваюсь, потому что они, оказывается, уже пришли: Мишель в бирюзовом летнем костюме, Боб в белой майке навывпуск. Делаю вид, что не замечаю. Так интересней. И удобней. И для дела лучше.

Выхожу на поле первым. Теперь уже приbedняться не надо. Делаю мощный рывок, подхватываю мяч, эффектно останавливаю, снова ставлю на центр. Соперники смотрят в открытую, чуть-чуть затравленно. Но и не трусливо, молодцы. Ладно, ребята, поиграем. Я готов, а вы?

Сразу начинаю активно: самому приятно. Выдаю Витьку, и он сразу забивает. Бежит радостно, пожимает руку – немного уже зазнался, будто сам сделал эти голы. Ладно, не будем спорить. Для меня важнее внутренняя удовлетворенность своей игрой. А это есть. Сейчас еще добавим всяких интересных штучек – передач и обработок и одновременно весело-суровой бесшабашности во взгляде и движения. Я не большой любитель всего этого, но почему бы и не побаловаться порой, когда хочется?

Но вот тут и начинается это паскудство. Ко мне прикрепляют персонального защитника – белобрысого парнягу с глазами навывкат, длинными руками и патологическим упрямством. Видимо, ему наказали не отпускать меня ни на шаг, что он, тупица, и делает: сопит в спину, жрет землю – сует повсюду свои мосластые ноги, цепляется руками. Пару раз уже чиркнул мне по икрам.

– Расслабься, дружок, – говорю я ему. – Куда ты так рвешь сердце?

Молчит, облизывает губы, какой-то тупо-мстительный блеск в глазах. Не то чтобы страшнова-

то, просто неприятно: сейчас уже будет не до эффектных штучек. Для профилактики разок хорошо вставляю ему во время стыка – он поднимается и так же бежит следом, как привязанный. Стараюсь продолжать катить в свою игру, хотя легкости особой уже нет. И настроения тоже.

Момент в центре. Прикрываю мяч корпусом – опять бьется в спину раз, другой. И тут я не выдерживаю, поворачиваюсь к нему и откатываю ему мяч:

– На, возьми.

Тот не врубается. Судья все-таки дает свисток.

– Ты попроси – я тебе и так отдам. Куда ж ты все время лезешь?!

– Куда надо! – бросает он находчиво.

Явно деревенский, общажный паренек, типичный троечник, всего добивающийся, до всего доползающий сам.

– Ну ладно, – усмехаюсь я, подтягиваю трусы и сплевываю. – Начнем играть. Ты сам захотел.

Сил сразу прибавилось: злость тоже воодушевляет. Сейчас вся игра полетит к чертовой матери, но, ей-богу, вывел. Мишель положила ногу на ногу, подставила лицо солнцу. Боб согнулся и подпер челюсть руками.

56 Так и перемещаемся теперь, следя не столько за мячом, сколько друг за другом. Один раз представился момент убить его чисто, но нога дрогнула, промазал. А он как будто даже хохотнул. Ничего, еще не вечер. Еще долго играть, да же, дружок?

– Ага, – кивает он, и взгляд туповатый, но смелый, даже пренебрежительный.

Выходит, нет для тебя никаких авторитетов, да? Самого Коську Аксенова ни во что не ставишь, за игрока не считаешь?

– Откуда ты такой взялся? – говорю я ему в паузе. – Отдохни. Давай вместе постоим немного?

Дергает башкой, не отвечает. В следующем моменте идет кость в кость, но неудачно – сам же и падает.

– Слушай, ты, конюх, – говорю я ему, наклонившись и крепко взяв его за плечо. – Еще раз пойдешь вот так на слом – я тебя точно закопаю. Ты понял? Я не шучу.

– Ты че, мастер, что ли? – говорит он снизу, дернувшись, но не испугавшись, и как будто даже злорадно.

Потом поднимается с земли и так же упрямо-невозмутимо становится рядом – чуть ли не трется о плечо.

– Да нет, – говорю я, – не мастер. Но на тебя-то хватит.

– Тебя, что ли?

– Да меня.

– Посмотрим, – говорит он и устремляется за отскочившим мячом – и успеваешь раньше меня.

...И вот когда он в очередной раз играет на опережение, слегка подзадержав меня и слегка оттолкнув, и пробрасывает мяч себе на ход, что-то находит на меня – знакомое каждому футболисту чувство временного помутнения, ослепляющей звериной ярости: я бросаюсь вперед и с каким-то садистским наслаждением, с размаха, изо всей силы бью его сзади по ахилле. И – мгновенное отрезвление: почти раскаянье плюс страх за последствия. Паренек, оскалившись, прижался затылком к траве, перекачивается с боку на бок, двигает руками и одной ногой: вторую, больную, он держит на весу. Судья, покраснев и надувшись, долго свистит и бежит в нашу сторону. «Красную ему! Ты, гнида!» – обрушивается на меня отовсюду. Меня окружают чужие и свои, все кричат, кто-то хватается, кто-то загораживает. Сам я, испуганно-апатичный, сокрушенно качаю головой, прикладываю руку к груди, бормочу извинения – искренне и бессвязно. Утихает, впрочем, довольно быстро. Стоят озабоченно теперь уже вокруг паренька. Расступаются, ждут врача в маловатом белом халате и босоножках на платформе, как всегда, не сразу поднышающую со своего нелепого складного стульчика, все чего-то соображавшую и вот теперь только вышедшую на поле и приближающуюся тряскими мелкими шажками. Подходит, наклоняется над пареньком, суетится, присаживается на корточки, не знает, что делать. Наконец задирает ему гетр, мнет ногу (парень еще сильнее морщится и мычит), достает хлорэтил и замораживает связки, которые уже припухли, а теперь покрываются тонким инейком.

– Отнесите его за бровку, – говорит судья.

Двое из нашей команды поднимают паренька, кладут его руки себе на плечи и осторожно ведут за поле. Он прыгает на одной ноге, и довольно легко. Вторая – подогнута, с засученным гетром, голая. Я иду сзади и несу бутсу со свисающим из нее грязным носком.

Парня усаживают на дерн прямо у боковой линии, и врача начинает бестолково обматывать его лодыжку стерильным бинтом. Какое-то время я стою рядом и замороженно слежу за

оборотами бинта. Сзади раздается требовательный свисток.

– Аксенов! – вдруг доносится до меня окрик.

Я поворачиваюсь. Судья с неприятным чужим лицом подзывает меня к себе и преувеличенно-актерски поднимает над головой красный прямоугольник из тонкого карболита.

– Свободен, – говорит он.

– Понял, – говорю я, кивнув, и, выпустив майку, медленно иду с поля.

Кто-то из наших подбадривает меня вдогонку: ладно, не расстраивайся. И еще почему-то: осталось маленько.

– Скорей! – кричит судья мне в спину. – Освобождайте поле!

– Ты сильно-то не командуй, – говорю я вполголоса и не оборачиваясь. – Выгнал и будь доволен.

Останавливаюсь за бровкой, вытираю лицо майкой и еще некоторое время смотрю с этого места на возобновившуюся и теперь странно-чужую игру. Наши демонстративно отбиваются – бездумно и остервенело. Выиграют, это ясно. То-то будет счастья.

Когда я прохожу мимо паренька, он уже сидит на трибуне, надел синюю нейлоновую рубашку и теперь застегивает брюки.

– Что там – ахилла? – говорю я, подсаживаясь и опуская ладонь на его бедро. – Что-то я закипел.

Он жует резинку и кивает охотно, но надменно, с затаенной обидкой.

– Не обижайся, – говорю я. – В следующий раз ты меня сломаешь.

– Да ну, – говорит он, жуя.

Я подаю ему руку, и он пожимает ее, но при этом смотрит не мне в глаза, а на поле. Я с выпущенной майкой, глядя под ноги, бреду к месту, где сидят Боб и Мишель.

– Привет, – говорю я снизу.

– Здорово, – отзывается Боб. – Да-а, не хотел бы я играть против тебя!

– А, – машу я рукой и сажусь со стороны Мишель, широко расставив ноги и пытаюсь расслабиться.

– Ты хорошо играл, – говорит Мишель и гладит меня по спине.

– Я потный, – говорю я, непроизвольно отстраняясь, сбрасываю бутсы, спускаю гетры и тру надкостницы.

– Устал? – спрашивает Мишель.

– Да нет, – говорю я бодро-устало и заглядываю ей в глаза. – Ну и как тебе футбол? Скуотища, правда?

– О-о, ты что, – говорит она, – такая прелесть! Столько мужчин в трусиках и носочках, чего-то там бегают, кричат. Но ты из них самый красивый, – добавляет она, шутливо спохватившись и приложив ладонь к моему локтю.

– Ага, – выдавливаю я иронично, – красивый – дальше некуда. Боб, дай сигаретку, пожалуйста. Покурить, что ли, с горя? И спичку. Ага, спасибо.

Наверное, у каждого в подсознании живет ожидание дурных новостей, даже определенный настрой на них, представление о собственной реакции и наметки плана поведения. Конечно, можно назвать это и страхом – запрятым, включенным на самый медленный огонь, подспудно отравляющим минуты радости, но, с другой стороны, это просто необходимый и начавшийся загодя период адаптации, душевная гомеопатия – смягчение будущего слишком сильного удара. Впрочем, степень потрясения тоже ведь определяем мы сами, и хорошо, если к тому времени ты уже успеешь развить в себе известную черствость, даже равнодушие (хотя скорее бесстрастность), но особенно – иммунитет к столь любимому всеми нами саморазрушению (неважно, получаешь ли ты удовольствие от собственной сердобольности, либо действительно умеешь винить себя за попытку спрятаться, оградиться от беды). Неприятно признаваться себе в этом, и вообще – есть в этом нечто малодушно-непривлекательное, но без этого трудно, очень трудно. Если вообще возможно.

...Мама заболела. Увезли в больницу, сообщила мне Алка по телефону. А что с ней? А ты не знаешь? Сынок родимый. Почки, гипертония – да все на свете. В общем, совсем твоя мать погибает. Ты думаешь, что несешь-то? Я-то думаю, а вот ты, мил друг, совсем свою мать забросил. Слушай, еще только ты мне не выговаривала. Что, не нравится? Да ладно, все равно тебя не прошибешь. Короче: сегодня сходишь, отнесешь ей вещи. Список прямо под телефоном. Халат там, вата, тапочки, ну, посмотришь. Ага, вот он. Ну вот, найди все и принеси. Хорошо. Да чего уж хорошего. Ходить будем через день, ты сегодня, я – завтра. Оттуда забегу к тебе, чего-нибудь состряпаю. Да не надо. Молчи. А то

точно помрешь с голоду. Да, и ей не забудь чего-нибудь вкусенького: фрукты там, конфетки, печенюшки. А ей можно? Ты неси – там разберутся. Деньги-то есть? Есть. Или дать? Нет, спасибо. Смотри правда не помри с голодухи: ты же сам-то не сможешь плитку включить. Как-нибудь попытаюсь. И чтобы вид был цветущий, понял? Она из-за тебя там больше убивается. Ал... Ну все, все. Сходи к ней сегодня, слышишь? Больница в роще. Десятая палата. Она хоть ходит, выйдет? Да ходит, ходит, тоже все хорохорится, виду не подает. Но я даже рада, что ее положили. Все равно бы рано или поздно загремела, так лучше пораньше. Ну ладно. Спасибо, Ал. На что мне твое спасибо? Ты лучше к ней сходи. Серьезно, Кот. Она тебя ждет. С пяти до семи, сходишь?

Она действительно меня ждет – моя мама с каким-то распухшим потемневшим лицом, с не подкрашенными в срок и оттого седыми висками, в ужасном больничном халате – сколько тысяч больных надевали его до нее? – и с каким-то интимным газетным свертком за спиной. Мы отходим в сторонку. Сесть пока негде, но как только поблизости приготовятся вставать, я замечу это и обязательно займу для нее место. Я примерный любящий сын, пришедший проведать свою замечательную приболевшую маму.

Она действительно старается держаться повеселей (кажется, действительно *старается держаться*, подмечаю я подленько). Впрочем, этот цвет лица – неприятный и пугающий – не подделаешь, и это что-то *соглашающееся* в глазах, и эту сугубо больничную замедленность движений – тоже, все это настоящее, реальное. Может быть, поэтому разговор что-то никак не потечет – еле плещется.

Гад ты, гад – вяло подстегиваю я себя – ведь это же твоя родная мать, понимаешь? Единственная мать. Теперь мне искренне хочется быть с ней поласковой, и неожиданно это у меня получается: да-да, я искренне приобнимаю ее и, когда мы садимся бок о бок на низкую кушетку, беру ее руку в свою и слегка сжимаю – и держу так. И говорим мы необычно тепло, необычно открыто – во всяком случае, для меня необычно – но в то же время так просто, так знакомо приятно, и я слегка смущен, но улыбка у меня естественная, и у нее глаза лучатся, и прямо-таки физическая потребность быть добрым и говорить друг другу приятное. Мам, ты, главное, поправляйся, за меня не беспокойся, лежи сколько скажут, домой не

рвись. Да, представляю, что там будет твориться это время, улыбается она. Где, не понимаю я, а потом понимаю и укоризненно смотрю на нее: неужели ты думаешь, что я из-за этого так сказал? Она притягивает к себе мою голову и шутя-заботливо приглаживает волосы. Я прямо чувствую, какую гордость излучают при этом ее глаза: вон какой у нее сын – взрослый, красивый, благополучный и – только подумайте! – любящий! Да, мама, так оно и есть. Все правда. Боюсь только, что всем вокруг – в основном пожилым, здесь лишь одна молодая пара, преданно шушукующаяся в уголке – нет до нас никакого дела. Все поглощены впитыванием информации – извне (от собеседника) и изнутри (из собственного организма), и все отражается на лицах, и во всем тесном санпропускнике царит странная душевно-деловая атмосфера. Ну что ж, и в этом есть свое удобство: заботливость на виду у других никому не противопоказана, и обладает стойким терапевтическим эффектом, и превосходно сглаживает неловкость между здоровыми и больными...

Она сама предлагает мне уйти, но если в первый раз я отказываюсь не только из вежливости, то во второй (мы ведь любим друг друга, и понимаем, и чужды фальши) – вздыхаю и поднимаюсь: да, пойду. Я деловито и любя показываю ей в пакете вещи, которые она просила, – нет только вязальных спиц, их я не нашел. Она любя и с благодарностью принимает все, пеняя себе за то, что доставила мне столько хлопот.

Я бережно обнимаю ее, и еще немного мы стоим, прижавшись друг к другу – с новым, мягким и приятным чувством заново открытой близости. Она, как мне кажется, даже слишком расстроена – как бы это ей не повредило. Да нет, что ты. Ну, беги, беги. Я выхожу и оборачиваюсь и делаю ей знак рукой, и она отвечает мне из большого окна, над оттопыренным ухом какого-то старика больного в сине-коричневой пижаме, разговаривающего, видимо, с дочерью. Выздоровивай – показываю я ей губами, отхожу, поворачиваюсь еще раз, последний, и ускоряю шаг, но закуриваю не сразу, только скрывшись из виду, потому что ей не нравится, что я так подрываю свое здоровье, бедная моя мама...

Всю обратную дорогу я прокручиваю в памяти эту нашу встречу, воспроизвожу испытанные ощущения, тихую радость от этого возвращения друг к другу – мама, милая мамочка, с нестыдной печальной нежностью говорю я про себя – всю

дорогу до остановки, с внутренней умиленной улыбкой, и несколько раз в автобусе, и потом, вечером, дома, куря на балконе, спохватившись и с раскаяньем.

Прощальная яркость воскресного дня. Центр города: одиннадцатый час, ухоженные здания и зелень, стихает шум, вечерний моцион.

Я сижу на остывающем гранитном парапете у театра драмы. Спектакль давно закончился. За спиной шипит потемневший старомодный фонтан. Справа халтурщик миниатюрист укладывает в брезентовый баул не востребованное на сегодня искусство. Товара немного, хотя варьируется всего два бродяче-диссидентских сюжета: черный силуэт стервятника, оседлавшего карликовую елку на фоне сиреневого заката, да околки изумрудно-полосатых березок у ультрамаринового озера. Пессимизм и оптимизм – на выбор, кому что больше подходит. Но подходили, кажется, не слишком охотно, люди косны, и капризны, и ни черта не хотят понимать в живописи, и завтрашний завтрак, вероятнее всего, пройдет без портвейна. Может быть, стоит поэкспериментировать с формой, поискать золотую середину: посадить, например, стервятника на березку или белую голубку на облезлую елку? Подумать тут есть над чем, и артист, по обыкновению, заторможен-задумчив.

На остановку наезжает поливальная машина с бочкой на прицепе, громко сигналист, и нарядная толпа почти правильной волной откатывается ко мне, к парапету. Налетевшие клубы мельчайших брызг освежают лицо и руки. Я закуриваю сигарету – уже третью на этом месте, больше – просто неприлично. И во рту уже сухо и противно. Ладно, последняя – и поеду.

Я по привычке и без любопытства присматриваюсь к окружающим людям, улавливаю клочки разговоров. Много пар, молодых и пожилых. Чуть поодаль, на краю проезжей части, несколько подвыпивших компаний. Но тут интересного мало, и даже как-то неловко: затверженные позы, стандартные повадки и манера говорить с гнусавой и растянутой развязностью. Есть, правда, и несколько действительно симпатичных девчонок, но одна из них слишком безвкусно одета, другая совершенно не следит за своим телом – пухловатая и разболтанная, а еще две из кучки на стоянке такси, видимо, чересчур много пили и смеялись сегодня: смазливый мордашки так и горят простоватой доступностью. А

жаль. Неплохие, перспективные девчонки. Неплохой бы мог получиться финал у вечера.

Я поворачиваюсь влево, чтобы бросить окурок в мусорницу, и тут замечаю тебя. Ты подходишь к остановке с двумя типами фарцовски-респектабельного вида. Один из них – заметно ниже тебя, чернявый и коренастый – выходит на середину дороги ловить машину. Другой – стройный блондин (я его знаю, работает в видеосалоне на автовокзале) – стоит лицом к тебе, засунув руки в карманы брюк и покачиваясь с носка на пятку. На нем серебристый двубортный пиджак с двумя шлицами сзади – высший шик! – и главное – так независимо, так раскованно! Но ты почему-то не смотришь на него, ты, в облегающем черном платье, смотришь в сторону, на фонтан, обеими руками прижимая к бедрам плоскую лакированную сумочку. Волосы подняты и собраны сзади. Высокие скулы. Глубокий круглый вырез. Нитка жемчуга.

Ну вот, а я-то считал этот вечер потерянным. А тут такая удача. Лучше и мечтать нельзя. Вот если бы ты еще заметила меня и вспыхнула, не подавая вида. И с трудом сдержала бы волнение. И произнесла бы дрогнувшим голосом псевдо-обыденное приветствие... Но нет: чернявый уже остановил «Жигули»-девятку, договорился с шофером и бросил взгляд в вашу сторону. Ты, как королева, слегка замедленно плывешь сквозь толпу. Серебристый галантно распахивает перед тобой дверцу. Уверенно садится сам. Хлоп, поехали. Счастливо, ребята. Я по-хорошему вам завижусь.

Интересно, возьмет ли он тебя за руку, по ходу как бы случайно скользнув ладонью по твоему бедру? А ты – положишь ли ты руку на его колено и будешь ли поигрывать на нем кончиками пальцев? Вряд ли. Уж больно у вас фешенебельный и сосредоточенный вид. И вообще – может, это только я придаю значение подобным мелочам? Может, это и не важно? Может, твоя рука на моем колене и то, как я ласкаю твои пальцы, – еще ни о чем не говорит, и вы просто выходите из машины и спокойно поднимаетесь по лестнице, и никто не приотстает, чтобы полюбоваться твоей фигурой и твоими движениями, и никто не слабеет в темноте и не подрагивает от счастья?

И потом, когда вы садитесь за стол, совершенно неважно – как открывать бутылку, наливать тебе, чокаться с тобой, глядя при этом тебе в глаза. Неважно, какая при этом будет музыка

– Summertime или «Где вы теперь?» Вертинского – и будут ли открыты твои плечи. Безусловно, все это – чистый вздор. Никого не интересует, как ты будешь смотреть на собеседника, как улыбаться и что будешь думать. И даже когда ты залпом допьешь шампанское и попросишь лучше водки, никто не будет сидеть, внутренне сжавшись, злясь на тебя и еще больше на себя, никто не будет угрюмо молчать, пытаться отвлечь тебя, а потом тосковать, снова злиться и убеждать себя, что нужно уйти. Никому не будет дела, как ты будешь подсаживаться на колени к курящим мужчинам, и смеяться, выхватывать у них сигареты, и тереться о них грудью, и, шутя, расстегивать на них рубашки, или не шутя, и водить их за нос – завлекать и посмеиваться, и снова пить, и снова курить, а потом сидеть на краю засорившейся ванны, сплевывать тягучую слюну в разноцветную смесь на дне и бросать мутно-косящие взгляды на входящих и издающих междометия.

60
Глупо, просто глупо обращать внимание на такие пустяки – да никто и не обращает (кроме отдельных желторотых и сентиментальных прожигателей жизни), что тебя, например, так долго не видно, и не тычется потом по всем комнатам, вызывая неудовольствие вяло моргающих парочек, пока не находит тебя спящей в ванной с истлевшей сигаретой между пальцев и помидорной кожей на подбородке, никто не раздевает тебя и не ставит под душ, сначала придерживая незапирающуюся дверь, а потом плюнув на это, потому что у тебя все время подгибаются ноги. И уж, конечно, никакой дурак не будет горд и счастлив, обнимая тебя левой рукой (гуд бай, гонконгские часы), а правой – поливая твое лицо, твои плечи, животик и между грудой, иногда целуя сморщенные мокрые соски и прижимая тебя к себе, и подшучивая над тобой, и успокаивая тебя. Никакому дураку не придет в голову вытаскивать тебя потом из ванны и вытирать махровым халатом, и заворачивать в него, и бережно нести в спальню, и укладывать в постель, да еще и как ни в чем не бывало возвращаться в зал, ко всем, не пряча, впрочем, темного пятна на рубашке, и казаться веселым, и действительно быть повеселевшим, и ждать, что ты и вправду уснешь, и гордиться собой, а потом с тоской замечать, что ты все-таки выползла из спальни и с маниакальным упорством кокетничаешь с мужчинами, выбираешь себе самого живоотнообразного и зачем-то заставляешь его танцевать с тобой знойное

танго (хотя он предпочел бы просто трахнуть тебя где-нибудь на кухне), совсем не придерживая при этом полы великоватого халата и задирая нелепо голые ноги не в такт музыке.

Бесконечно глупо так много думать об этом и так долго, ну милый, ну не дуйся, у тебя ужасно глупый вид, когда ты дуешься, ну, разумеется, глупый, но еще глупее давно не признать этого, не признать за тобой права поступать так, как тебе хочется, с самого начала не признать в тебе то, что так всем заметно, не признать себя проигравшим... Бесконечно глупо так долго хорохориться, так цепляться за надежду и пытаться что-то изменить – это не просто глупо, это еще и моветон – хватать тебя за руку и уводить в спальню, почти силком одевать и отвозить к тебе домой; и настаиваться на суровый лад, и безвольно бороться, и быстро сдаваться, и оставаться, и снова тянуть от счастья, занимаясь с тобой любовью, и свято верить, что сейчас это слово не просто калька с английского эвфемизма, – действительно любить тебя, снова любить, по-настоящему любить – всю серую ночь на скрипучем диване в твоей комнате – как всегда пылко, только еще лучше, еще раскованней, еще разнузданней, еще прекрасней, потому что я воспрянул духом, а ты слегка пьяна и слегка раскаиваешься (раз я так хочу: сама-то ты не понимаешь и не помнишь – в чем), зато ты помнишь все мои неосторожные слова, глупые или трусливые, все мои поступки, когда-либо задевшие тебя, ты вообще удивительно трезва в рассуждениях, да и утренний свет после такой нездоровой ночи очень располагает к размеренной беседе: тебе хочется наконец раскрыть карты, да и я уже слишком устал – во всех смыслах, в том числе и казаться счастливей, чем есть на самом деле, мне даже льстит эта твоя размягченная откровенность, эта твоя подлинная близость, и пугающий смысл твоих слов гасится усталостью, перестает быть пугающим и, напротив, становится щемяще-притягательным.

– Ты будешь вспоминать обо мне? – спрашиваешь ты, нежно водя кончиками пальцев по моему лицу, и я искренне подтверждаю это, несколько раз кивнув и уткнувшись носом тебе под мягкую грудь: конечно буду, китайчонок, конечно, я уверен в этом, я даже знаю, как все это будет – однажды теплым воскресным вечером на оставке у фонтана.

Просторный, как танкосборочный цех Нижнетагильского завода, и примерно столь же уют-

ный, зал ресторана «Фантазия» очень трудно было бы заполнить до отказа – между натертыми лысинами субботних донжуанов (самый удобный ориентир) и беленым потолком с жидкими люстрками все равно оставалось слишком много места. Но внизу, на дне этого странного аквариума (левая стена зала была сплошь стеклянная, с редкими фанерными заплатками – следами метких ударов и неметких бросков), это действительно удавалось – настолько, что вы, не напрягаясь, могли находиться в курсе всех дел за тремя соседними столиками и поминутно чувствовать плечом брюшки пахучих дам, грациозно протискивающихся – пардон! – туда и – еще раз пардон! – обратно, и жесткие бедра менее церемонных официанток. В общем, желающих провести здесь половину уик-энда (а по возможности и половину жизни) было, как всегда, достаточно, и, как всегда, было совершенно непонятно, что же так привлекало всех этих людей.

Сам я, притащившийся сюда вслед за клубниками, притащившимися сюда по прихоти Боба, срочно захотевшего догнаться, разумеется, уже переполнен коньяком и желчью. Наш столик расположен в самом центре зала – небольшой курортный островок в море Гомона и Гама, в теплом течении Лоснящихся Лиц, бутылок, приборов и жирных закусок. Кроме нас попутный сухой Метрдотель прибил к нему еще двух армян-неофициантов, дядю и племянника (Бубен выяснил это с завидной прямоотой), но они или до сих пор страдают от морской болезни, или тоскуют по своему Арарату, или просто не поверили еще в вероятность столь счастливого поворота судьбы – словом, держатся очень замкнуто и пассивно, и сидящая сбоку желтоволосая флибустьерша, видимо, напрасно расстегнула уже вторую пуговку на своей вахтенной блузке. Впрочем, хоронить ее слишком рано: записавшийся в юнги пожилой бухгалтер за столиком правее явно не прочь взять ее на abordаж или, наоборот, сдать в плен – короче, любым способом добраться до ее бюста и там хоть умереть (благо места ему хватит с избытком), а для этого готов даже потратить с сотню последних пиастров или даже ангажировать ее на тур «Лаванды, горной лаванды» (а еще лучше шейка или, как его – карамба! – твиста), если, конечно, музыканты еще раз поднимутся на палубу из своего кубрика...

Я машинально киваю Бобу, потому что говорит, конечно же, он. Он говорит, и его слова, скользкая поверх посуды и объедков, отскакивают

от жизнерадостного лба Бубна и рикошетом оседают на губах Мишель тут же застывающей ломкой улыбкой. Она, как и я, сегодня недовольна жизнью, но это единственное, что нас объединяет. За весь вечер она не сказала мне и трех фраз. Всего две.

– Миша, свадьба у тебя еще через неделю, так что сильно-то не прикидывайся невестой, – говорит ей Боб. – А то смотри-ка, сидит – глаза долу, краснеет, жметя. Ты, наоборот, должна сейчас отрываться за всю мазуту!.. Ну можешь ты расслабиться – положить ногу на ногу, похихикать, пострелять глазками? Доставь же нам с Костиком удовольствие...

– Зачем? – говорит Мишель и смотрит на него, подняв бровь.

– Ха, не знает зачем! Ты притворя-а-аешься, что не знаешь! Колек, хоть ты на нее повлияй, тебя-то она слушается. Пока. Или просто боится...

– Еще бы она не боялась, – говорит Бубен, все-таки польщенный. – Жена так и должна.

Вряд ли он догадывается, что его устами говорит тысячелетняя мудрость, но в правоте своей, несмотря на шуточный тон, почти уверен.

– Так то жена-а, – тянет Боб с опасным огоньком в глазах.

Я уже понял, куда он клонит, и уже чувствую, к чему это приведет – с яркой картинкой, с разными деталями. Но отступать уже поздно. Упоение отчаянием. Лихость обреченного. Злорадство камикадзе.

– Тоже мне сказанул – жена. Мишка-то пока тебе не жена, правда же, Миш? Она-то будет биться до последнего – скажи? Она-то еще всем даст дрозда, еще неделю...

– Непременно, – неожиданно говорит Мишель. – Еще неделю – точно.

И смотрит на Бубна, хоть и не твердо, но достаточно насмешливо. Все. Это уже судьба.

– Не понял, – улыбается посмешище Бубен, дурак Бубен, несчастный Бубен. – О чем это вы чирикаете?

– Скажи наивный? – поворачивается Боб ко мне. (Любимый инстинкт приговоренного – затащить с собой парочку ближних.) – Думает, что ему здесь Англия: помолвка, все дела. А у нас-то все по-другому. Вот сводишь под венец – тогда сиди, комиссарь. У нас с Костей, между прочим, тоже есть кое-какие права. Напоследок...

Я, окаменев, смотрю на синюю вазу перед собой на столе. Черная веточка. Три колоска и

пластмассовая ромашка. Это называется икебана. И неожиданно хмыкаю.

– Ладно, хорош бакланить, – бросает Бубен, и довольно покладисто.

Ему, видно, не очень-то хочется исполнять свою историческую миссию. Но придется.

Явно придется, потому что Боб снова обращается ко мне:

– Так что давай с тобой сразу обо всем договоримся. Мы-то с тобой люди цивилизованные, понимаем, что к чему. Уйду с дороги – таков закон: третий должен уйти... Сегодня могу уйти я: тебя она все-таки последним любила, насколько я знаю... Ну а потом моя очередь. Согласен?

Все почему-то смотрят на меня. Хотя при чем тут я? Хотя, конечно... Черт его знает... А вдруг?..

– Ну так согласен или нет? – нетерпеливо переспрашивает Боб. – Что мне передать счастливому жениху?

– Боб, – начинаю я и замолкаю.

Что же ему передать? Что же, действительно, ему передать?

А тот сидит молча и как будто даже с интересом впитывает происходящее. С большим-большим интересом, большой-большой Бубен.

Молча выслушивает все и Мишель, но отстраненней, уйдя в себя. Скорее всего, ей тоже не нравится затея Боба, но у нее, видимо, нет желания ни пресекать ее, ни поощрять. Лишь один раз она морщится, когда Боб предлагает ей самой, как Кармен, – а при чем здесь Кармен? – разрешить этот спор: ну девочка, ну скажи сама – из-за кого, собственно, весь этот сыр-бор, не из-за меня же.

– Перестань, – говорит Мишель, болезненно морщась.

– Ну почему? – говорит Боб. – Почему перестань? Ты, кажется, сама этого добивалась? Ну так разреши же наш спор, ткни пальчиком в того счастливца, покажи на него глазами...

– Да отвяжись ты, – говорит Мишель, морщась и глядя в стол.

НУ ПОЧЕМУ, говорит Боб. БОБ, говорю я, НЕТДОДНА-НЕТДОДНА, кричат справа, ВОТ ТАК, МОЛОДЕЦ, а армяне за нашим столом, наоборот, как-то притихли. НУ ПОЧЕМУ, ЛЮБОВЬ МОЯ?

И только тогда Бубен коротко бьет в стол черенком вилки:

– Ты надоел – защелкнись.

– Это почему? – оскорбляется Боб, но уже не так убедительно, с уже заметной обидкой-слабинкой в сонном взгляде.

– Заткнись, сказал.

– И все, да? Вот так вот просто? Заткнись – и все?

– Ты сейчас, точно, договоришься.

– Костик, ты слышал? – снова, но теперь, похоже, действительно за поддержкой обращается ко мне этот пьяный сумасшедший. – Он сказал мне заткнуться, представляешь? Вот этот счастливый новобрачный сказал мне – заткнись. Спроси его: а кто он такой? Кто он, чтобы командовать целым Бобом Эм Моткиным? Как его фамилия? И откуда он взялся? Спроси его. Спроси, спроси.

– Ты, плесень, – говорит Бубен.

Именно говорит, а не визжит и не топает ногами, и это интересней и страшней всего.

– Допивай свое пойло и пошел отсюда.

– Слышал? – говорит мне Боб с неестественно широко открывшимися глазами. – Слышал, какой тон? Это же подлинный аристократизм. Кто бы мог подумать? Хотя, знаешь, я заметил, что самые крупные аристократы всегда из самого быдла. Видимо, как-то тоньше все чувствуют...

– Как ты сказал? – переспрашивает Бубен, прищурившись и слегка наклонившись.

А я смотрю на его руки. Огромные, мощные руки. Красивые кулаки с неровными буграми-канками. Только такие руки и должны быть у настоящих мужчин.

– Я сказал – быдло. Быд-ло. – Голосок стал звонче, губы сузились и обескровели. – Это я тебе говорю, тебе, хозяин жизни. Из грязи – да в князи. Думаешь, купил девчонку, так все теперь – король? И та тоже сучка, дура, еще неизвестно, кто кого поймал за...

Мишель резко вскинула глаза и, наверное, успела заметить, как Бубен, приподнявшись, нанес молниеносный удар правой – в самый рот Боба, а тот, екнув, мотнулся назад и с грохотом обрушился под соседний столик. Оттуда заверещали и заохали, а потом и из других мест.

– Э, что ты делаешь? – произнес старший армянин и протянул руку, но на него никто не обратил внимания.

Все смотрели на Боба, который, как намокшее тонконогое насекомое, пытающееся выбраться со дна кухонной раковины, ворочался внизу, и на Бубна, резко и выжидающе следяще-

го за ним. Я случайно заметил, что он до сих пор сжимает в другой руке вилку.

Следующая очередь – моя, пронеслось во мне с каким-то веселым ужасом, и я вдруг понял, что не в силах оторваться от стула. Если бы Бубен действительно решил сейчас заняться и мной, я не то что не смог бы ему помешать, а словно даже готов был помочь: во всяком случае, уже приготовился свалиться на пол, который будет бетонный и твердый, и скуле будет очень больно.

– Губа! Слышь, Губа, завязывай!

Это худой, как палка, и смуглый официант в розовой рубашке с кис-кисом подходил к нам со стороны кухни. Он был деловит и спокоен. Успокаивался и Бубен, хотя и продолжал по-прежнему тяжеловесно следить за Бобом. Тот уже сумел сесть – кое-как, сгорбившись, но говорить еще не мог: сжимал подбородок рукой и втягивал щеки, словно сосал мятную конфетку. Его пальцы были в крови.

– Завязывай, Губа, завязывай, – снова сказал официант, подойдя и на всякий случай вцепившись Бубну в бицепс. – Хочешь залететь? Давно не залетал?

Бубен будто не замечал его, но явно остывал. Однако наш столик по-прежнему оставался в центре внимания. Какой-то бульдогообразный коротышка из угла у окна, стоя смотревший на нас дольше всех, теперь тоже направлялся в нашу сторону, одной рукой придерживая на животе растянутый пиджак.

– Давай-ка сваливай отсюда, – сказал официант Бубну, заметив толстяка, – пока не начались разборки. Это наш директор.

– Да хоть эректор, – сказал Бубен и бросил вилку на стол.

За соседним столиком ойкнули, а я вздрогнул.

– Что здесь происходит? – сказал коротышка, остановившись рядом с Бубном.

Официант за это время озабоченно слинял.

– Вот этот ударил, – сказала какая-то женщина за спиной.

Бубен встал из-за стола, и оказалось, что он выше коротышки больше чем на голову. Но того это, казалось, нисколько не смутило.

– Ваши документы, – на полном серьезе сказал он и пожевал губами и даже пошевелил пальцами протянутой руки.

Но Бубен и не думал смотреть на него. Он смотрел на Мишель.

– Пошли.

Сначала она сидела неподвижно, но потом встала.

– Иди на улицу.

И она пошла, причем довольно быстро, и те, кто сидел подальше, провожали ее взглядом.

– Ваши документы! – повторил коротышка еще серьезней.

– Какие документы? – наконец увидел его Бубен. – Инвалидную книжку тебе выписать? – И двинулся следом за Мишель.

– Одну минутку, парень, – сказал коротышка и загородил ему дорогу рукой.

Сейчас он убьет его, подумал я, но Бубен лишь отвел его руку в сторону и пошел к выходу. Была какая-то нелепая пауза. Я ждал, что коротышка сейчас выхватит из-под мышки «ТТ» и, оскалившись, дважды пальнет Бубну между лопаток или, на худой конец, достанет из жилетки свисток и, надув щеки, пронзительно засвистит.

Тот, действительно, присвистнул, но очень тихо и пессимистично глянул Бубну вслед, а потом повернулся к нам:

– Я его запомнил. – Затем положил руку Бобу на плечо: – С вами все в порядке?

Боб покивал.

– Вы его не знаете?

Боб помотал головой, и коротышка, застегнув пиджак, вернулся за свой столик, к почтительно поджидающей его компании. Через минуту об этом маленьком представлении почти все забыли, вокруг опять ожило говорливое море, и, когда Боб, окончательно придя в себя, увидел свою руку в крови, брезгливо обтер ее о салфетку и невнятно выговорил ругательство, только красивый старый армянин еще смотрел на него – не то с почти неуловимым сочувствием, не то с особенно тонким восточным пренебрежением.

Ну вот и все.

Я машинально перебираю исписанные листы, пробегаю глазами случайно выхваченные строчки, приостанавливаясь на отдельных фразах.

Но я знаю, что уже ничего не поправлю.

Ничего не поправишь, ничего не изменишь – самый мудрый, самый жизнестойкий взгляд на вещи. Я уже понял это.

Но одно дело – понять это, и совсем другое – смириться. Оставить все как есть – к этому еще нужно прийти: через муторные попытки чему-то помешать и чему-то помочь, через показное метание и искреннюю неудовлетворенность. Не

проще ли сразу изменить маршрут и срезать такой большой крюк? Хороший вопрос, над ним стоит подумать. Может, закуришь – это всегда тебе помогало, во всяком случае затянуть время и отложить решение. Ну так как? Нет, не могу. Пока еще не могу...

Что же полагается делать в таких случаях? Сверься с классикой, спроси у других. Хотя и без того ясно, что тебе предложат: бороться и искать, найти и не сдаваться. Иногда это звучит довольно к месту и совсем не глупо. Значит, опять – на старт, внимание, марш? Нет-нет, шелковой ленточкой на финише и лавровым венцом меня уже не заманишь. Мне нужны более надежные гарантии. Господи Боже, тот, который во мне, лиши меня потребности мечтать и оставь только способность надеяться! На что только? Что я себе отвечу?

Я собираю листы, подстукиваю, выравниваю пачку. Что ни говори, а дело сделано. Суметь дойти до конца – это тоже неплохо и вполне достаточный повод для удовлетворенности. Дойти до конца – значит тоже оставить все как есть, только честнее и мужественнее. У тебя, сынок, есть все основания гордиться мной.

Я встану из-за стола и подойду к тебе. Ты спишь спокойно, дышишь свободно и ровно. Будущее не волнует тебя, ты еще не отравлен им, оно еще не имеет над тобой такой власти, и, значит, ты можешь быть счастливым.

Можешь. Я боюсь говорить: «У тебя еще все впереди». Лучше я скажу: «У тебя еще все при себе» – твой собственный маленький мирок и собственная маленькая надежда. У тебя еще не отбили чувства простоты и ясности существования, ты еще не умеешь самостоятельно подавлять его в себе, душить и затапливать. Я хочу, чтобы ты подольше не узнал, как этому научиться.

Перед тем как выйти, я еще раз посмотрю на тебя. Скоро рассвет. Небо начнет светлеть, и на нем появятся разные краски – сначала бледные, а потом все ярче и ярче. Когда ты вырастешь, ты сам узнаешь обо всем на свете – о самом свете и о разных его красках. Ты увидишь день, и увидишь ночь, и однажды, если ты будешь внимателен, настоящую радугу в чистом небе – после стольких дней скитания в ковчеге, после стольких ночей ожидания и безвестности – яркую-яркую радугу в ярком-ярком небе, и если тебе тоже захочется догнать ее, я уж не смогу тебе помешать.

Дорогой Андрей Владимирович! Сердечно поздравляем тебя, нашего известного автора, с 60-летним юбилеем, желаем крепкой сибирской строки и такого же здоровья!

**Андрей
ПРАВДА**

НА ПРОГУЛКЕ



* * *

*Пахнет тиной и травой морскою
От цветочной разоренной клумбы.
От афиши с театральной тумбы
Ветт драматической тоскою.*

*Только солнце, как осколок, ярко,
И как раз ему благодаря,
Бросив ржавый и тяжелый якорь,
День стоит в заливе ноября.*

*И как раз сегодня на прогулке
Я тебя случайно повстречал
Возле чайной в тесном переулке,
Под изображеньем калача.*

*Мы с тобой сцепились в старом споре,
Словно звенья якорной цепи,
А вокруг, как из ракушки море,
Жизнь шумела, а теперь кипит.*

*Все равно, в чем сущность жарких споров –
Нас теченья разные влекут,
И воронка наших разговоров
Тянет вглубь и зарывает в грунт.*

*Так различны наши представленья,
Как различны встречные пути,
Но пока хватает сил сцепленья,
День стоит и не спешит уйти!*

* * *

*Когда еще отлягут холода!
Но, зеленью полынную пронята,
В край полыньи колотится вода,
Предчувствием волнительным объята...*

*Умягчилась несносная погода.
Отъявленнее стала синева.
А вот и Сретенье... Гляжу в лицо природы,
Забыв на радостях приветные слова, –*

*Запыхавшись, в смущенье сердце бьется,
А я, как рыба, разеваю рот...
И надо мной в ответ она смеется
И сверху солнце, словно масло, льет!*

*Но вот на стол поставлены блины,
Да, выпив чарку крепкой водки нашей,
Зачерпнутой из зимней глубины,
Уж подбоченься, Масленица пляшет!*

65

ПРАВДА Андрей Владимирович родился 29 марта 1962 года в г. Фрунзе Киргизской ССР. Окончил медицинский институт. Работал врачом скорой помощи, возглавлял редакционно-издательский отдел издательско-полиграфического предприятия «Кузбасс». Сейчас работает в редакционно-издательском отделе Кузбасского центра искусств. Автор книг «Только горсть можжевельных ягод» (1995), «Забытая латунь» (1995), «Синяя глина небес» (1999), «Вдвоем» (в соавторстве с В. Лавриной) (2011). Публиковался в журналах «Огни Кузбасса», «Сибирские огни», «После 12». Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

ЖАСМИН

Из приморского города Поти,
А может, от крымских глин
Оторван, бескровной плотью
Зацвел и у нас жасмин.

Но, глядящий влажной ладонью
Стучащие дико виски,
Он здесь окружен заболонью
Зеленой и горькой тоски.

Он бледен, он весь отчужденье
Опущенных гордо ресниц,
Презревший свое пробужденье
Под сводами затхлых теплиц,

Он все еще там, где крепчает
Шторм, тиская волнолом,
Где галсы и голоса чаек
Морским завязались узлом,

Где мрамор блаженно сжимает
Масличные мощи Афин
И с плеском в лазурь ускользает
Обласканный солнцем дельфин!

Там нежности гипсовый слепок,
То ль страстью, то ль светом влеком,
Он вынул из пыльного склепа
И вынес из тьмы катакомб

Туда, куда запах саванны
Доносит усталый циклон –
Муссонным дыханием Ганы
В коробке согретый Цейлон...

А тут, не давая покою,
Ввалившись из недр зимы,
Пред ним суетливой толпою,
Ему непонятные, мы.

**ПРИМЕРЯЯ СВИТЕР
СТАРШЕГО БРАТА**

В такую сырую погоду
Мне хочется снова залезть
В библейское чрево комода,
В синайскую рыжую шерсть...

В смятенье слепого Исака,
В сплетение мускусных трав...

Пусть голосом я не Иаков
И запахом я не Исав...

Вослед вереницы верблюжьей,
В колючую ярость и страсть –
Успеть до ноябрьской стужи
Себе первородство украсть.

Пусть это расплатой чреватой:
Изгнанием, рабством, войной,
И камнем за пазухой брата,
И мстью его за спиной.

История эта вязалась
Из пряжи, до боли родной,
А что было в самом начале,
Известно Ревекке одной.

Так женщина с тихим упорством
Простым повтореньем «люблю»
Втравляет нас в богоборство,
С петлею сплетая петлю.

* * *

С пустынной башни
Отрешенно,
Как смертник,
Падал желтый зной.
Песка не чуя
Под собой,
Верблюды шли
Грядю сонной.

Горбы качались
В такт ходьбе.
На раскаленных углях
Море
Кипело, пенясь,
В разговоре
О водопое и судьбе.

И, ощущая
Небом даль,
Во рту
Ворочая барханом,
Пел караванщик каравана
Про зацветающий
Миндаль.

СЕНТЯБРЬСКИЙ БАЗАР В ДЖАМБУЛЕ

*В мясном ряду, в листве, как в рыжих латах,
Сидит сентябрь, тяжелее плах.
А воздух прелым яблоком пропах,
И в ноздри бьет размякший желтый запах.*

*Размеренный повсюду ритуал
Степенной, уважительной торговли.
Что хочешь здесь – от спички до оглобли,
От чая до фарфоровых пиал.*

*Упитанность и сытость... И лоснятся
Арбузов тонкошкурные бока!
Вот слив зрочки в мои глаза косятся.
Дрожит весов железная рука!*

*Давно уж не был в вашем я краю,
Но все без разговора понимаю,
И верно, что о вас и заскучаю,
Когда, даст бог, очнусь и я в раю.*

*Эй ты, базар! Эй, астры в лейке!
Вот я приехал! Вот стою!
И вам кричу: «Салям алейкум!»
Я рад безмерно сентябрю!*

НАЧАЛО ИЮНЯ В ПРИГОРОДЕ

*Вылез лук, нарциссы отцветают,
тает беспризорно шоколад...
Все про все соседи точно знают –
как садить укроп, редис, шпинат.*

*И в округе ширится привольно
это пересудов и молвы,
и крапива жалится небожно,
и лишь небо выше головы...*

*Но уже они сюда добрались –
из-за горизонта облака
кучевые – встали, и вздымались
влажные тяжелые бока...*

*Полыхнула молния, разбился
целый мир на ор и дребедень,
зонт лиловый в луже отразился,
и лилово вспыхнула сирень...*

*Это дождь, такой же, словно зелень
тополевой пахнущей листвы,
падает, как будто тоже хмелен
от весны, как я, они, как вы.*



**Кристина
КАРМАЛИТА**

БОГ С СОСЕДНЕГО БАЛКОНА

Рассказ



Мишутку повесили у самой стены. В прошлый раз Боря заигрался, разошелся, забылся и отбил ему ухо. Мишутка стал некрасивым, и вешать его на виду у всех было не к месту – это мама велела. Боря же испытывал вину и готов был укрепить Мишутку хоть на самой макушке.

– Чучело деревянное, чего ты его выставил?

Боря начал вздывать нижнюю губу.

– Нечего мне здесь, нечего! Поломал? Поломал! Выбросить его к матери...

Маму обидел папа, и теперь должен был пострадать кто-то еще. Новый год не сулил никакого праздника.

– Нет, нет!

Боря скорчился как мог. Нижняя губа пошла в пляс. Еще немного, и алый ротик, который так любила целовать противная тетя Таня, издаст непохожие на нежность гудки парохода.

– Тогда к стене его. Или – к лешему. Будешь реветь – кину в окно!

Тактика мамы была беспроязвительной – Мишутку повесили у самой стены.

Мишутка никогда не плакал. До того как отбить ему ухо, Боря кидал его в углы, стучал об пол, подбрасывал и не успевал ловить, слюнявил, грыз, хватал жирными руками и обзывал «табюхим этиком». Отломленное ухо потерялось где-то под шкафом и не болело, а деревян-

ное сердце Мишутки не знало обид. Еловая лапа и у стены была еловая лапа: от нее пахло лесом, в котором Мишутка родился и никогда не был, каким-то несказанным чудом и просто приятно. Гирлянда светила где-то впереди – за стволом и ветками – и не слепила Мишутку, как раньше. Звери и шары висели с другой стороны, на виду – красовались и радовали всех, а Мишутка не хотел бы никого опечалить своим видом.

68

Но вместе со всеми, где-то высоко и невидно висел прекрасный фарфоровый Ангел: его всегда вешали повыше на более короткие, не сгибающиеся под его тяжестью ветки.

Мишутка любил Борю, но еще больше Мишутка любил Ангела. Когда игрушки укладывали в коробку, Мишутка исхитрялся оказаться рядом с ним и весь год слушал его рассказы о волшебной стране, в которой его Боря умел летать, никогда не трубил паромом и не ломал ни одной игрушки.

– Всех людей создал Бо-ог, и зверей создал Бо-ог, и птиц создал Бо-ог... – нараспев перечислял Ангел. – И нас создал Бо-ог... И Бога никто никогда не ви-иде-ел...

– Я видел Бога... – с опаской озираясь по сторонам, шептал в красивое ангельское ухо толстый Мишутка.

КАРМАЛИТА Кристина Евгеньевна родилась в 1984 году в Новосибирске. Окончила факультет психологии НГПУ, сценарный факультет ВГИКа (магистратура). Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Наш современник», «Юность», «Огни Кузбасса», «Алтай», «Бельские просторы», «День и ночь», «Подъем», «Родная Кубань» и др. Автор книги поэзии и драматургии «Сны» (2020). Лауреат молодежной премии журнала «Наш современник» (поэзия, 2015). Член Союза писателей России. Руководитель новосибирского отделения Совета молодых литераторов при СПР. Живет в Новосибирске.

– Как ты мог его видеть, когда его не видел никто никогда нигде-е-е? – пропевал собеседник. И добавлял для весомости: – Толстый деревянный идиво-о-от.

– Ну, когда он меня создавал, я подглядел... – стыдливо признавался Мишутка. – А нельзя было?

– Да как же ты мог подглядеть, когда он тебя создавал, когда у тебя еще ни глаз, ни рта, ни ушей, ничего такого совсем даже и не было-о-о? – не сомневаясь, пел Ангел.

– Так он, когда вырезал, опрежь всего глаза мне вырезал.

– Как так вырезал глаза-а-а?

– Ножичком. Он этим делом лихо ворочает.

– Да о ком же ты говоришь, не понимаю я-а?

– Ну о Боге твоём, дяде Володе.

– Бога никто никогда не ви-иде-ел и имени его никто никогда не слы-ыша-ал, что ты мне тут мете-ошь?

– Да как же его никто никогда не видел, а про него знает? – не выдерживал Мишутка. – Значит, видел кто-то, рассказал кому-то, а тот не видал и от обиды выдумал, что нельзя его увидеть, – ясно же! Я этого того не виню. Конечно, обидно: тот видал, а этот не видал и увидеть никак не может. Я бы тоже чего-нибудь выдумал.

– Вот ты и выду-умываешь какого-то дядю Воло-одю, созна-айся, созна-айся, ле-егче будет!

– Да как же я сознаюсь, если видал, как тебя видал. Даже руки его чувствовал! Они у него такие... шершавые.

– Кощу-унство! Кощу-унство! Не потерплю у-у! – обижался Ангел и отворачивался.

Мишутка всячески извинялся, но от своего не отступал.

Два года длились эти беседы, на третий Мишутку с отломленным ухом кинули куда-то в сторону, забросали дождем и ватой и через год еле нашли в суматохе последних декабрьских дней.

Ангел висел где-то высоко и невидно. Надежды наговориться на елке после долгого молчания разбились о мамину злую обиду. Мишутка никогда не плакал, но его деревянное сердце больно заныло в осознании своего деревянного одиночества.

Наступило тридцать первое декабря. Сквозь зелень иголок Мишутка урывками видел, как обростал блюдами новогодний стол, как счастливо носился Боря, как озабоченно мелькало мамино зеленое платье, потом папина серая майка, по-

том опять мамино платье – но уже резко, недовольно. А потом серая майка что-то рыкнула, рванулась со всей дури в сторону елки, ударилась о стену и замолчала. Но пока это молчание не успело взорваться новым предновогодним нервом, раздался звонок в дверь. Пришла противная тетя Таня, толстый дядя Петя, и мамино платье приняло праздничный вид, папина майка куда-то пропала, а вместо нее на диван уселась и уже никуда не вставала наглаженная синяя рубашка.

Застолье было старательным. Никто не шумел больше положенного и не молчал дольше обычного. Из-за плотной стены иголок Мишутка ничего не мог слышать, но точно знал, что должны были звучать старые песни и прошлогодние новости... Пару раз к Мишутке заглядывал Боря, ласково дергал за лапы, но потом Боре подарили большого белого медведя, и новая любовь затмила предыдущую. «Борю ругают за меня и не дают лазить за елку», – оправдывал мальчика ничего не знавший Мишутка.

Пока уходил Старый и приходил Новый год, их суетливое перетоптывание еще развлекало Мишутку. Но вот уже Старый год за дверью, а Новый уселся в кресле, съел половину торта и сразу как-то весь расплылся и задремал. Гости разошлись, мама и папа давно уложили Борю и сами скрылись в спальне. За ветками в лунном свете виднелись сладкие остатки новогоднего стола. Игрушки, висевшие на виду, если и перешептывались, то неслышно, густые иголки запирали звуки, так что Мишутка в наступившем новом году остался совсем один.

– Фиговенькое дело! – пробормотал он.

Ему было скучно и, как всем в эту ночь, хотелось сказки.

– Ну и что, что я деревянный, деревья тоже в сказках попадают, – оправдывал он неизвестно кому свое желание. – «За лукоморьем дуб зеленый...» Может, я и есть этот дуб? Дубочек.

– Скорее дубина, хам-хам, – проговорил во тьме чей-то жующий рот.

Мишутка пригляделся. Внизу под большой еловой лапой блестело и чавкало что-то зеленое. «Что за чертовщина?» – испугался он и на всякий случай прижался к ветке. Но тут за окном загремел салют, бросил в комнату толпу ярких лучей и осветил сидевшего под елкой рыжего кота. Перед котом лежало новогоднее блюдо – клубок разноцветного дождя, который он с большим аппетитом уплетал.

– Кот! – обрадовался Мишутка. – У них появился кот! Кс-кс! Рыжик! Поговори со мной, я тут опух с одиночества!

– Опух ты, судя по всему, с рождения. И какой я тебе Рыжик? Я Леонард.

– Лева, значит. Лева, как там все прошло? Я тут ни черта не видел, а слышал только бульканье.

– Обслуживали хорошо, форели можно было и больше приготовить, но я прощаю.

– А Боря? Как он, не сильно без меня плакал?

Тут кот засмеялся, подавился, закашлялся и, еле выплюнув попавший не в то горло комок дождя, обозлился:

– Сдался ему какой-то кусок дерева! У Бори теперь огромный медведь – мягкий, белый, опушенный! Ты ему до лампочки, толстяк!

Леонард не был злым. Но этот дурак чуть не оборвал его последнюю, еще молодую девятую жизнь. Надо было как-то уместно ответить.

Наступила мертвая тишина. Коту, в отличие от Мишутки, были слышны шепотки и смешки остальных игрушек, ход настенных часов, пение ветра за окнами, даже храп соседа через два этажа – но тут все оборвалось. Из глубин этой тишины вдруг послышался скрипучий голос давно забытой кошачьей совести. Еще немного, и она начнет грызть его так же, как он эту чертову цветную фольгу.

– Эй, толстяк! Чего ты там хотел? Давай, по-discутируем... Что тебе рассказать? Нормально отметили, все салаты съели. А Боря быстро свалился, шпендик совсем. Может, он и не забыл тебя – Кутузов их разберет. Слышишь, толстяк?

– Меня зовут Мишутка.

– Михаэл, значит. Не реви, Михаэл, все равно – все суета сует.

– Я никогда не реву. А как там Ангел? – подумав, спросил Мишутка.

– Какой еще Ангел?

– Там, на елке, наверху.

– А-а. Дрыхнет твой Ангел. Один свист стоит.

Все это, конечно, было неправдой. Мишутка знал, что Ангел спит ангельски и никакого шума от него отродясь не бывало. Мишутка задумался. Даже если Боря его не забыл и будет заглядывать за елку или возьмет поиграть с собой, через две недели игрушки снимут, уложат в коробку – и очень мало шансов, что некрасивый толстый медведь сможет оказаться рядом с Ангелом. Представив еще один год одиночества, Мишутка зажмурился.

– Лева!

– Леонард.

– Леванард!

– Тьфу! – сплюнул кот, но примирился с медвежьей темнотой: – Чего тебе?

– Ты хороший кот?

Даже деревянные мозги Мишутки соображали, что просто так обделать это дело нельзя, нужна была хитрость.

– Давай, деревяшка, выкладывай, чего надо, насквозь тебя вижу.

Мишутка смутился. Разоблаченный расчет застыдил деревянное сердце.

– Да мне бы только слезть с этой чертовой ветки, а там я уж как-нибудь сам. Доберусь до Ангела, целый год его не видел. И в этот год – что будет? Вдруг меня вообще выкинут в окно? – Неожиданно для самого себя Мишутка захныкал – без слез, но очень горько.

Леонард терпеть не мог хнычущих деревянных медведей.

– Пушкин с тобой! Сниму я тебя с этой дурацкой ветки, помолчи только! – рыкнул кот и полез в гущу иголок. – Ай! Ох! Проклятое милосердие! Проклятые дубовые толстяки!

Мишутка не обижался, он был очень благодарен и нетерпеливо раскачивался на ветке, ожидая освобождения. Чертыхаясь, кот долез до него и попытался снять. Но нитка, на которой висел Мишутка, была продета слишком глубоко, иголки больно кололись, а кошачьи лапы вообще не были предназначены для подобных манипуляций. Леонард в очередной раз ударил по ветке, зацепился за нее когтем и, пытаясь высвободиться, так укололся, что совершенно потерял контроль над своим молодым сильным телом и сам не понял, как очутился сначала на стене, потом на елке, торте, ковре, диване и вдруг – раз! – под елкой, уже поваленной на праздничный стол.

– Маяковский мне в ребро! – ошарашенно прошипел кот. – Теперь точно выселят. Это почище съеденных шнурков.

На радость Леонарду сон домашних был крепок и безмятежен. Надо было оценить масштабы бедствия. Беглый осмотр показал, что в последней жизни коту начало наконец везти. Стол остановил бестолковое неустойчивое дерево вовремя – игрушкам хватило сил удержаться на ветках, а там, где стеклянные шары должны были разбиться о столешницу, стеклянных шаров не оказалось.

– Спасен! Спасен! Спа... – Леонард застыл на месте.

Наглаженная, холеная шерстка его, как наяву, ощутила объятия Дедушки Мороза, к которому он попадет, когда его выкинут на улицу. На столе перед Леонардом лежал фарфоровый Ангел. Точнее, сам Ангел лежал слева от старой серебряной сахарницы, а большие крылья его – справа. Нимб висел на торчащей из сахарницы ложке.

– А все этот глупый толстяк! Вот кого надо сгрызть напоследок!

Леонард метнулся к задней части дерева. Ветка, так больно кольнувшая его перед танцами на елке, торчала красиво и равнодушно. Мишутки на ней не было.

– Я здесь! Лева! Кс-кс!

Ненавистный голос доносился из-за буфета. Взяв себя в руки, Леонард размеренной походкой подошел к застрявшему между шкафом и стеной деревянному медведю.

– Нелегко тебе, дружок...

Он мог бы откусить барахтающуюся заднюю лапу прямо сейчас, но был по-старинному благороден. Сначала надо вытащить жертву из смешного положения, а потом спокойно разорвать на части.

– Леванард, дорогой! Бей меня в лоб, не бойся, он все равно болеть не будет. Я и выскочу, как пробка. Какая дурацкая история!

– Не то слово! – согласился Леонард и треснул Мишутку что было сил.

– Мог и поласковой! Поцарапал когтями. И так не красавец, а тут совсем Квазимодо получается, даже у стены теперь не повесят, выкинут к лешему! – Мишутка ворчал, но все-таки был благодарен избавителю.

– Должен предупредить, что сейчас я буду тебя грызть, дружок, – облизывая лапу, промурлыкал Леонард.

– Как это грызть?

– Клыками.

– Зачем?

– Уместнее спросить «почему». Думаю, тебе будет интересно узнать!

И, ничего не объясняя, Леонард легко прихватил Мишутку челюстями и сиганул на стол.

– Я ж несъедобный, Лева! У тебя будет заворот кишок!..

Кот выплюнул Мишутку, и тот, кувыркнувшись через голову, от неожиданности и некоторой глуповатости, присущей всем деревянным медведям, не сразу понял, что произошло с его дру-

гом, которого он мечтал увидеть целый долгий год.

– Ангелочек! Как я по тебе скучал! Анг... Что с ним? Что это такое?

«Ну нет, второй раз номер не выйдет. Никакого милосердия, сгрызу, я сказал!» – Леонард мужественно боролся с подступающим сочувствием.

– Что это, Лева? – Мишутка стоял растерянный и потрясенный.

– Это мой билет на улицу, а твой – на тот свет. Все из-за тебя, толстяк. Да, из-за тебя, а я ни при чем! У меня – рефлексы! А рефлексы не выбирают! Как Бог дал, так и прыгаешь!

– Бог! – Совершенно не к месту медведь весь засиял. – Бог, Лева! Надо отправиться к Богу: он все исправит! Он целого меня вырезал и не то еще может! Конечно! Возьмем Ангела и принесем к Богу. Только быстрее, вдруг он уже спит.

Решительность Леонарда насчет расправы окончательно угасла. Грызть спятившую деревяшку было совсем уже низко.

– Совсем тебя переклинило, смотрю. Живи, Бальзак с тобою.

– А я сразу знал, что ты хороший кот! Помоги, надо во что-то его завернуть.

– С Богом я еще успею встретиться, Михаэл, – грустно мявкнул кот и собрался уже было уйти: картина безумия елочной игрушки угнетала.

– Надо только как-то выбраться на балкон! – Мишутка ничего не слышал. – Он живет на соседнем балконе, который смежный с нашим.

– Кто? – Леонард остановился у самого края стола.

– Да Бог же, дядя Володя! Ну!

– Да при чем тут дядя Володя?

– Ангел говорил, что всех создал Бог. А меня создал дядя Володя. Значит, дядя Володя – Бог! Простая же логика, вы, коты, что ли, совсем не соображаете?

Кое-что Леонард начал соображать. Дядя Володя часто курил на балконе, задумчиво смотрел вдаль и всегда был добр к Леонарду. Или подкормит его, или погладит, или поговорит, как со старым другом. Если Леонард столько общался с дядей Володей и до сих пор жив, значит, либо дядя Володя не Бог, либо его представления о том, при каких обстоятельствах происходит встреча с Богом, ошибочны. Бог не Бог дядя Володя, но если он может склеить эту фарфоровую безделушку, Леонард еще поживет в тепле и сытости!

– Ну-ка, дай!

Не церемонясь, он оттолкнул Мишутку, ловко запаковал Ангела с его отломанными частями в пакет, закинул туда же растерянного медведя, схватил кулек зубами и метнулся к окну. Если бы не бедность семьи, грызть сейчас Леонарду ручки пластиковых окон, а так он легко вспорхнул в форточку, чуть стукнув пакетом о деревянную раму, мягко приземлился в небольшой сугробчик, просочился сквозь прутья, символически отделяющие два балкона друг от друга, и встал возле пластиковой двери в квартиру дяди Володи.

– Понаделали пластмассы! Ни подышать, ни когти поточить! – зашипел уставший от новогодних сюрпризов кот.

За стеклом балкона висела плотная штора. Свет не проглядывался.

«Скверно», – подумал Леонард. Делать нечего, придется стать посмешищем.

– Засмеешься – придушу! – рявкнул он ничего не понимающему Мишутке и подпрыгнул что было мочи.

В темноте окна мелькнула лишь одна щелочка между гардинами, сквозь которую пробивался мягкий голубоватый свет. «Телевизор смотрит, подлец! – сообразил умный кот. – Поверни голову, ну!»

Леонард подпрыгивал снова и снова, стараясь оказаться напротив щели. Силы были на исходе. Наблюдавший из пакета за скачущим другом Мишутка еле сдерживал хохот.

– Может, помякутать? – Тихий смешок все же вырвался из медведя и не ускользнул от чуткого кошачьего слуха.

– А вот сам и мяукай! Нашел клоуна! И этот тоже – вперся в экран, как дурак. Везде идиоты! Плевать на все! Уйду жить в подвал, пропадите пропадом!

Леонард уже собирался стрекануть через прутья, как вдруг дверь открылась и на балкон шагнул дядя Володя.

– Сработало, Лева! Слава Богу! Слава дяде Володе!

– Что за черт? – Дядя Володя шарахнулся обратно в квартиру и схватился за дверь.

– Уходит, Лева, скорей!

Леонард мгновенно оценил ситуацию, подхватил пакет с игрушками и в последний момент залетел в квартиру. Балконная дверь громко хлопнула за его хвостом.

«Ну и ночка! – успел подумать кот. – Нет, мне должны выписать еще одну жизнь с такими вы-

крутасами». Леонард кинул пакет прямо на пол, а сам устало растянулся на диване.

Пыхтя, Мишутка вытащил из пакета так и не пришедшего в сознание Ангела, бережно сложил рядом с ним чудесные крылья, нимб и обратился к дяде Володе:

– Не знаю, как тебя называть. Мне привычнее «дядя Володя», но если надо «Бог», могу «Бог».

Стоящий в углу мужчина не отзывался.

– Ты, наверное, не помнишь уже... Ты меня создал и подарил Боре – соседскому мальчику. Прямо на балконе. Боря тогда еле ходил, а теперь уже скачет, как лошадь. А вот это Ангел, он много о тебе рассказывал. С ним случилось несчастье, вот мы и пришли...

– Тоска какая, кто тебя говорить учил? – Леонард не выдержал и соскочил с дивана. – В общем, так, дядя Володя, склей этого птеродактиля, будь другом, а то меня вышвырнут в окно, а этого вообще сожгут на костре.

– А это Леванард, он вечно преувеличивает.

– Какой кошмар... – Мужчина сполз по стене и, обхватив голову руками, уселся на корточки. – Вот и все.

– Конечно, как я мог забыть! Это все твоя дубовая голова: она заразна! Он же нас не понимает!

– Нет-нет, не отвечай, им нельзя отвечать! – Дядя Володя резко встал и вышел из комнаты.

Зашумела вода из-под крана.

– Он же Бог, всех должен понимать!

– Значит, не должен! Или он не Бог.

– Может, нарисовать?

– Ты, что ли, рисовать будешь, Мулевич? Деревяшками своими.

– Малевич! – не выдержал вернувшийся в комнату дядя Володя.

Мишутка и Леонард открыли рты.

– Я же говорил, Лева: дядя Володя – Бог.

– Всего две рюмки. Как это случилось?

– Только почему он нам не помогает? – не понимал Мишутка.

– Не хочет, наверное.

– Главное, не вступать в контакт. Не отзываться.

– Точно, не хочет.

– Так что же, все зря? – Мишутка всхлипнул.

– Вот еще твоих деревянных слез не хватало!

– Деревянных слез! Боже!

– Зачем он обращается к самому себе? – недоумевал Мишутка.

– Бывает. Я тоже так иногда: Леонард, Леонард, сколько можно влюбляться, ты же знаешь, все кошки...

– Хватит! – Дядя Володя даже ударил рукой по столу, да так неудачно, что тут же вскрикнул от боли, сел на диван и снова схватился за голову.

«Как все заурядно-театрально», – с тоской подумал Леонард, но тактично промолчал.

Первым не выдержал Мишутка:

– Кажется, я понял. Он думает, что мы ненастоящие.

Дядя Володя застонал.

– Ладно, ты говорящее дерево. Но я-то кот! Коты были, когда еще людей не было! Я бы скорее усомнился в существовании людей, вполне возможно, что все они только богатое кошачье воображение.

– Он же Бог, Лева, просто в образе человека. Уж Бог-то не кошачье воображение!

– А Пушкин его знает!

Дядя Володя устал. Наконец он понял: бороться бессмысленно. Обреченно достал сигарету из-за уха и закурил прямо в комнате.

– Ладно, допустим, – сказал он сам себе. – Может, так даже лучше. Как будто правда с кем-то говоришь...

Дядя Володя стряхнул пепел в стакан с водой, потянулся и осторожно взял в руку Ангела.

– Как будто настоящий.

– Да мы и есть настоящие! – отчаянно прокричал Мишутка. – Дядя Володя, почините Ангела, нам еще обратно надо успеть, пока все не проснулись.

Дядя Володя усмехнулся:

– Что, склею этого малого – и уйдете?

– Конечно!

Мишутка аж притопнул, он никак не думал, что Бог окажется таким тугодумом. Да еще курящим.

Зажав сигарету в зубах, дядя Володя взял ангельские крылья и приставил их к месту слома на спине Ангела.

– Ну ладно.

В нем проснулся азарт. Он умел и любил работать руками: бумага, дерево, гипс, глина, фарфор – сколько игрушек им сделано, помимо Мишутки! Но это было давно, целую жизнь назад. Вернее, тогда, когда еще была собственно жизнь – Мишутка был последним ее творением. Может быть, это вдруг начавшееся безумие – логичный предел трехлетней бессмысленности, а может, это абсурдный, но выход из нее, возвращение к мысли через безумие?

Коробка с материалами была задвинута глубоко к стене на верхней антресоли. Хорошо, что он не выбросил их совсем. Где-то там должен быть специальный клей для фарфора, нераспакованный тюбик. Только бы вспомнить! Дядя Володя опасался, что годы бездействия стерли все навыки и сейчас если он и склеит этого несчастного, то грязно, криво и непрочно.

«Это как на велосипеде кататься», – обрадовался он, когда руки вспомнили движения сами: скорость, последовательность, точность.

– Помню, когда тебя дарил, ухо было на месте, – бросил дядя Володя Мишутке, протирая Ангела чем-то страшно вонючим.

Мишутка смутился:

– Оно... потерялось.

– Уши иногда теряются, ничего не поделаешь.

– Боря – хороший мальчик, – сказал Мишутка и тут только сообразил, какую сделал глупость. – Он тут совершенно ни при чем!

– Ничего. Если бы ты был у Петьки, могли не только уши потеряться. – Дядя Володя сказал это почему-то особенно тепло.

– У какого Петьки?

– У Петьки, – повторил дядя Володя, как будто этим все объяснялось, и все-таки уточнил: – У моего Петьки. Я делал тебя для него.

Мишутка был потрясен. Оказывается, он предназначался Петьке, а попал к Боре. Значит, его предназначение не исполнилось? Или предназначение может измениться? Деревянная голова Мишутки точно не была предназначена для таких размышлений.

– А почему я не остался с ним?

– Он ушел.

– Ну и что, я мог бы его подождать.

– Нет, он насовсем ушел.

– На небо?

– На небо.

Дядя Володя посмотрел на Мишутку как-то долго и очень внимательно.

«Грустный какой Бог», – подумал Мишутка, а вслух сказал:

– Это хорошо, что он ушел на небо.

– Да?

– На небе всем хорошо, так Ангел говорит. А Ангел никогда не обманывает.

– Может, и так. – Дядя Володя вздохнул и поставил на пол совершенно целого, будто нового, Ангела – с широко расправленными крыльями и парящим над головой нимбом.

Полежав немного, Ангел сладко потянулся, зевнул – и свернулся калачиком, чуть озябнув на прохладном полу.

– Пожрать кое-что дадут, но форели уже навряд ли, – взгрустнул Леонард, вспомнив поваленную елку.

– Дядя Володя, ты взаправду Бог! Я говорил Ангелу, а он: «Никто никогда не видел!» Ангел, ну проснись, посмотри на Бога!

– Тсс. – Дядя Володя мягко остановил Мишутку. – Пусть поспит. У него была тяжелая ночь.

– Вот новости! – буркнул кот. – Как будто это он тут по балкону скакал! Лежал себе в мешке, горя не знал.

– Держи. – Дядя Володя протянул возмущенному Леонарду кусок колбасы. – Все, что есть.

– Сгодится.

Колбаса исчезла в момент.

– Чего только не съешь с голодухи. Спасибо, – хоть и с опозданием, но все же поблагодарил кот. – Ну что, деревянное чучело, давай в мешок, надо еще успеть до закрытия форточки.

– Спасибо, дорогой Бог! – Мишутка даже поклонился от благоговения.

– Перестань меня так называть! Боже, неужели я настолько безумен?

– Прости, дядя Володя.

– Увидимся на балконе, – подмигнул Леонард и подтолкнул медлящего медведя к мешку.

– Так вы что, действительно уходите?

Друзья опешили. То говорить не хочет, то отпускать не торопится. Не поймешь этого Бога.

– Нам бы только балкон открыть, – заискивающе промурлыкал Леонард. – Здесь, в общем, тоже неплохо, но, сам понимаешь, форель...

– Мы же говорили, нам же на елку надо, – оправдывался Мишутка.

Ему почему-то стало очень жаль оставлять Бога. По всему было видно, что тому одиноко, а Мишутка хорошо знал, что такое одиночество.

– Да, да, конечно.

Дядя Володя подошел к балкону и обреченно открыл дверь, выпуская морозный воздух и отпуская на волю свое безумие. Или все-таки чудо? Мысли дяди Володи заметались.

– Подожди! – вдруг дернулся в мешке Мишутка, когда кот уволок его уже на родной балкон. – Отпусти! Мне надо!

– Неугомонная деревяшка, что тебе еще?

Кот выплюнул пакет, и выкатившийся из него медведь рванул к застывшему в дверях балкона Богу:

– Если хочешь, я могу остаться с тобой. Вдруг Петька все-таки вернется?

Всю свою жизнь Мишутка чувствовал, что однажды должен наступить какой-то решающий момент. Какой такой решающий момент мог наступить в жизни елочной игрушки, Мишутка не знал. Но чувствовал, смутно, непонятно. И сейчас это неясное чувство вдруг проявило себя со всей силой, занялось в груди пожаром – опасным для деревянного тела – и требовало выхода.

– Хочу! – с внезапной радостью ответил дядя Володя.

– Вот и отлично! Надоел мне уже этот толстяк! – фыркнул Леонард, которому вдруг стало очень грустно расставаться с Мишуткой. – Кутузов вас разберет! – И кот поскорее скрылся в темноте комнаты, пока никто не увидел, как на зеленых глазах заблестели проклятые слезы.

Наступило утро нового года. Проснувшийся раньше всех Боря схватил своего нового белого друга за лапу и скорее поволок к елке – искать подарки и, может быть, застать самого Деда Мороза, еще не успевшего скрыться в такой ранний час.

Деда Мороза Боря не застал. Да и подарки трудно было найти под лежащей на столе елкой. В центре стола сладко спал измазанный шоколадом Леонард, а рядом с ним остатки торта, на котором сидел прекрасный фарфоровый Ангел и пел: «Всех людей создал Бо-ог, и зверей создал Бо-ог, и птиц создал Бо-ог, и Бога никто никогда не виде-ел!»



**Елена
РУСАНОВА**

**РУССКОЕ СЛОВУШКО,
ГДЕ ТЫ, СОЛОВУШКА?**



Я останусь собой.
Разрешаю завидовать мне.
Ничего нет свободы для русского слова
дороже.
Буду глину месить, среди комьев шагать
и камней,
Бездорожье-распутица счастья убавить
не сможет.
Так солдаты тащили орудия,
беженцы шли,
Так старухи в тылу с ребятнею в поля
выходили...
Есть такая пора. Время влагу возьмет
у земли,
Станет путникам легче идти среди
зноя и пыли.
Ничего-ничего, говорят, камень точит
вода, –
Так и мы потихоньку пойдем, без оглядки
на славу,
Для которой дорожке фигуры
из мертвого льда,
Чем живые сердца... И своих часовых
на заставу
У границы родимого слова
мы выставим, брат,
С нас довольно засилья, довольно скорбей
и утрат.

75

Русское словушко, где ты, соловушка?
Где ты, заветное чудо-слово –
Речи народной родное лицо?
Чтобы у нас просветлела головушка,
Создал Творец это русское словушко.

Русское слово изгнали сурово,
Предали-продали русское слово...
Но среди развалин цветет оно снова,
Яркое, меткое, цепкое слово.

Там, где забыто родное словечко,
Сохнет да илится чистая речка,
Светлая речка народной души.
Продали речку и речь за гроши.

Отдали в руки врагу на закланье,
«Русское слово» теперь лишь название.
Русское слово зарыли по плечи
В землю чужой унижающей речи.

Каждый подбросил землицы на гроб...
Русское слово – как выстрелы в лоб –
Правды о вере, надежде, любви.
Вот и не любы слова-соловьи
Тем, кто отнять у народа спешит
Русского слова бесценный гранит.

РУСАНОВА Елена Германовна родилась в 1964 году в Самаре. Окончила Куйбышевский плановый институт и Педагогический институт Тюменского государственного университета. С 1986 года жила и работала в Тюмени. С 2020-го – в Подмоскowie. Автор десяти книг стихов и рассказов, в том числе для детей. В 2019 году к 100-летию Астраханского государственного заповедника вышли в свет книги стихов «Где птичий восторг стоголос и высок» и «Пусть каждый для природы станет другом», в 2020 году издан поэтический сборник «Рейс 148». Член Союза писателей России.

*Русское слово, подай голосок,
Пой и борись – и спасет тебя Бог!*

РУССКОЕ СЛОВО

На уход Валентина Распутина

*Ты ушел собирать голубицу,
Мимо кедров тропинка ведет.
Все мне кажется, что небылица,
Злая небыль – твой тихий уход.*

*Где-то тут, за крутым перевалом,
Разговор ты ведешь с лесником.
И бредет, напевая, по шпалам
Понаехавший люд с рюкзаком.*

*Сколько ягоды! В этой глубинке
Не предаст тебя батюшка-лес.
Помоги нам собрать голубики,
Той, в которой сиянье небес.*

* * *

*И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.*

А. Ахматова

*А день рождения Ахматовой –
То хлещет дождь, то всюду солнце –
Меня расстраивал-обманывал,
Что ветром холод принесется.
Но вышли – и парник на улице,
Теплынь и влажный дух сирени.
А в Петербурге тень сутулится.
Как ей сегодня наши трели? –
Озноб и боль. Ведь мы предатели
Той, что о мужестве писала.
Мы речь великую утратили,
Мы окна душ законопатили,
Чтоб жить легко, удобней стало.*

* * *

*Таёт льдинкою на языке,
Затаилось в почтовом конверте.
У немого – как будто в руке.
Слово к жизни, порой – слово к смерти.*

*На асфальте: «Люблю, ангел мой,
И за все в этой жизни спасибо».
В небо облаку вслед: «Постой!
Подожди, мы с тобой могли бы».*

*Сколько тонких оттенков чувств,
Важных мыслей, и просьб, и жалоб.
О, когда же я научусь
Говорить? Никогда, пожалуй.*

*Слово свыше на то дано,
Чтобы, зная свою ущербность,
Мы его берегли. Оно
Проверяет еще на верность.*

*Слово прежде всего это Бог
И должно быть святым и чистым.
Если б каждый об этом мог
Помнить, радоваться, учиться...*

* * *

*Люблю тебя, мой верный карандаш,
Во всем послушен ты, со всем согласен.
Ты в трудный час и в день счастливый наш
Не возведешь укоров и напраслин.*

*Такого друга сердцу и уму
Иметь лишь с благодарностью пристало.
Но я тебя еще и потому
Так чествую, что нас роднит начало.*

*С глухой тайгой невидимая связь –
Далеких хвой тяжелое шуршанье,
Взлет поползня, осинки, что, дымясь
Зеленою пыльцой, хранят молчанье.*

*Лишь легкий шум разбудит их красу –
Лёт ветерка – и вновь все замирает.
В тебе, граненом, леса песнь несущу
Дремучую – то жизнь твоя вторая.*

*Не уставай творить и разрушать,
Случайные вычеркивая строки...
Ты так похож на стрелы камыша,
Как этот лист – на лезвие осоки.*

* * *

*За окном поля мыльнянки
И лабазника снега.
Кто дозволил самозванке
Заступить на берега*

*Не молочной, не хрустальной –
Животворной и святой
Речки, где искрится тальник?
Горе самозванке той.*

Угощали гостью щедро.
Приносили жертвы ей
Поле, воздух, лес и недра,
Речка, озеро, ручей.

И, освоившись как дома,
Стала требовать она –
И понощно и поденно
Чтоб светила ей луна,

Чтобы речка вспять бежала,
Живность в руки шла сама...
И даров ей стало мало,
И сошла она с ума.

Там, где пела и плясала,
Жгла и строила завод,
Все погибло, все попало
В мертвый хаос нечистот.

Человеческой породе
С безрассудною алчбой
Красота важна лишь в моде.
И творит она разбой.

Наслажденье – лишь в мадере,
А о прочем умолчим.
Плачут ласточки в карьере,
Плачет над планетой дым:

В нем сгоревший лес рыдает
На мильоны голосов.

Скоро, скоро, знать, беда ей –
Самозванке: был таков

Чистый воздух, дождь целебный
Был – и нет, ручей зачах.
Неужели дар полезный
Был ничто в ее очах!

Две моторки, белый бакен
И песчаный влажный плес.
Тихий лес стоит заплакан.
Добрый ветер дождь принес...

* * *

Как, не воспетая никем,
Стоишь дичком у перекрестка,
Легенда, яблонька? Зачем
Ты здесь одна среди громоздких
И мрачных офисов, витрин,
Неандертальцев-манекенов,
Бездушно мчащихся машин,
Среди сирен и полисменов?

Весна... Вот-вот ты зацветешь,
Никто не удивится чуду.
Тебя заметит только дождь,
Но я безмолвствовать не буду.
В слепом изяществе ветвей
Ты будто бы сошла с гравюры.
О, пыльной прелестью своей
Как ты похожа на Культуру!



Надежда УСОЛЬЦЕВА

Рассказы



НЕЛЮБИМЫЕ

– Ой, Марусенька, что же ваш папка сделал! – Евдокия подбежала к девушке. – Что наделал-то, ирод проклятый, что наделал-то!

Маруся остолбенела:

– Теть Дуся, что случилось? Горе, что ли, какое?

– Ой, горе, да еще какое! Нет уже вашего папки!

– Как нет, что вы такое говорите?

– А он пьяный лежал там, на повороте у Сивкова переулка, в траве-то его тракторист и не заметил. И наехал прямо на него. Горе-то матери какое! – Евдокия все причитала и причитала вслед бегущей домой Марусе.

Во дворе мать передавала ведро Катьке, младшей сестре:

– Сходи принеси из колодца воды, а то дома и попить нечего.

Катька столкнулась у калитки с Марусей, рыдающей на всю улицу.

– Доча, что случилось? – Беременная мать подхватила руками живот.

– Нашего папку задавило насмерть!

Мать тяжело плюхнулась на скамейку:

– Как это задавило?

– Трактором.

– Божечки, что же я делать буду с вами, кто ж вас поднимать будет? А тут еще один! – Она глянула на свой живот: подходил срок рожать. – Что же мне делать? Пьяница проклятый!

О том, почему Иван запил и стал пьяницей, знала вся деревня. В парнях-то он был непьющим. Уж где-где, а в деревне всего в три улицы никакой тайны не утаишь.

С Галиной он сошелся через год после войны. Она была видной, умной девушкой. Хотя к тому времени, когда он пришел свататься, у нее уже росла Машенька, дочка двух лет. И все знали, от кого она.

Любила Галка Григория – их же деревенского парня. Да так любила, что даже мать предостерегала ее:

– Дочка, смотри не вешайся ему на шею. Мужики этого не любят.

– Мам, я его так люблю, так люблю, что скажи он: «Иди утопись» – пойду и утоплюсь.

– Бог с тобой, дочка, что это ты такое городишь, с ума сошла, что ли?

УСОЛЬЦЕВА Надежда Александровна родилась в 1950 году в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области в семье фронтовика, дошедшего до Берлина. Поэтому военная тема для автора святая. Окончила Иркутский государственный университет по специальности «журналистика». Работала в районной газете «Дзержинец» Красноярского края. Позже приехала в родной город и всю жизнь проработала в городской газете (ранее называлась «Борьба за уголь», сейчас – «Наш город») корреспондентом, заведующей отделом, в настоящее время – ответственный секретарь. Член Союза журналистов с 1972 года, член Союза писателей России с 2012 года. Издала шесть сборников прозы и стихов: «Подари нам, судьба, прощение», «Дрозд – птица неяркая», «Дневник киборгов», «По стерне босыми ногами», «Путь пилигрима», «Они дышали воздухом войны». Лауреат премии Кузбасса.

– Нет, мам, я еще совсем маленькой была – прямо дар речи теряла, когда он рядом стоял. Он с девчонками заигрывал, а у меня сердце перехватывало.

Григорий был на восемь лет старше Галины. Он подтрунивал над ней маленькой:

– Ну что, невеста, жениха ждешь уже?

Она краснела и убегала.

А он шутил, шутил да и не заметил, как эта соплюшка выросла в красавицу. Однажды поглядел на нее и обмер: вот тебе и невеста, какая бабенка выросла ладная!

Они стали встречаться. А тут война грянула. Горе накрыло и их деревню. Похоронки стали приходиться в семьи. Ушел на фронт и Григорий.

– Галка, – сказал он девушке однажды, когда в кармане уже лежала повестка, – приходи вечером, как стемнеет, к нам на сеновал, попрощаемся. Мало ли что, война как-никак, не погремушки, а пушки...

Не задумываясь она прибежала вечером ко двору Гриши. Домашние его уже спали. А влюбленные забрались по шаткой лестнице на сеновал. Пахло дурманящим настоем разнотравья: шло как раз время покосов.

В этом густом аромате порыв неуправляемого чувства словно отключил Галке разум, осталось одно желание слиться с любимым человеком. Она впервые узнала, что это такое, особенно с тем, кого любишь до самозабвения, до ненормальности.

Григорию это испытывать было не впервой. Деревенских девчат он многих соблазнил. И вот эта девчушка доросла до любви.

Они встречались и на второй, и на третий день. Галка была даже не на седьмом, а на сто седьмом небе от счастья.

– Что с тобой, доча, прямо летаешь, светишься, как ангел на иконе! Григория-то скоро провожать надо на войну, печалиться бы надо...

Проводили любимого Гришеньку на четвертый день их горячей любви. Она, ухватившись за его руку, шла до самой околицы.

– Ну ладно, будет, иди уж домой...

– Я еще маленечко провожу...

– Не надо, иди...

Григорий и еще трое новобранцев из деревни с вещмешками за спиной шли по пыльной дороге в районный центр.

«Пусть оглянется, пусть оглянется, – молила Галина. – Тогда все будет хорошо».

Григорий не оглянулся. Сердце ее заныло. И лишь когда они свернули на повороте дороги и скрылись за деревьями, она, опустив голову, побрела домой. Упала на кровать и зарыдала.

– Доченька, все будет хорошо, не плачь! – Мать села рядом, стала гладить Галю, успокаивать.

Наконец та отошла, села на кровать, глаза смотрели из-под опухших век тоскливо, будто она уже похоронила своего любимого.

Григорий писал редко. Получив треугольник, Галя обцеловывала его со всех сторон и лишь потом вскрывала.

«Воюем, – писал он коротко, – бьем фашистов. Страшные дела они тут творят в городах и деревнях. Сволочи настоящие, по-другому не назовешь. Часто о своей Покровке вспоминаю, о тебе. Мало мы с тобой налюбились. Завтра предстоит бой сильный. Молюсь, чтобы живым остаться. Целую».

И она молилась до иступления. Когда матери не было дома, она падала перед иконой на колени: «Боженька, спаси Гришу, не дай ему погибнуть! Не дай злой пуле достать его. Господи, Ты всемогущ, Ты знаешь все обо всех. Ты можешь все. Не оставляй моего милого Гришеньку в беде. Охраняй его, милосердный!»

Галина была уже на пятом месяце. Еще не родившегося ребенка она любила больше всего на свете: больше себя, больше матери и даже, может быть, больше Григория. Хотя между ними, скорее всего, был знак равенства. Ее ребенок – это его ребенок, плоть от плоти. О своей беременности она ему не писала, не хотела, чтобы Григорий там, в этой кровавой жути, отвлекался своими мыслями. «Приедет, увидит своего ребенка. Это будет ему подарок», – думала Галина.

Родила девочку. Назвала Машенькой. «Если Гриша не согласится, переименуем, еще маленькая, не привыкнет к первому имени. А может, и это имя ему понравится».

С какого-то момента перестали приходиться письма. Потом пришло короткое, из госпиталя. Григория ранило, лечился долго. А тут и Победа подоспела. Галина, когда услышала, что война окончилась, выбежала на улицу с Машей на руках. Все в деревне стали обниматься, стол посреди улицы сообразили. Принесли кто что мог и гуляли до ночи. Гармонист Васятка, сменивший ушедшего на фронт, любимого всей дерев-

ней Ивана, играл так, что казалось, меха порвутся.

– Вот и папка твой скоро приедет, – тиская дочь, приговаривала Галина. – Папку увидишь, а он – тебя. Вот обрадуется!

А папка задерживался. Письма совсем перестали приходиться. А ее послания оставались без ответа.

– Что случилось, Катя? – спросила она как-то у сестры Григория. – Пишу, пишу, а ответов не получаю.

– Да не пиши, Галка, больше не ответит он тебе...

– Почему? – Сердце у Галины остановилось. – Как не ответит?

– Мы ему писали, что у него дочь растет. А он, мол, не его это дочь, что набегала ты Машку. Написал, что переспали-то три раза – и откуда бы ребенок взялся? Не мой, говорит, и все. И пишет, что нашел он в тех краях свое счастье.

Пожалела Катя Галину, не до конца передала содержание письма, где ее брат приписал еще так обидно, что, наверное, постарела Галка, страшной стала.

– Ну, такой вот он у нас бабник, что сделаешь...

Галина не помнила, как дошла до дома. И не зарыдала громко, как тогда, после проводов любимого на фронт, а обхватила дочку и словно окаменела.

Мать испугалась.

– С Гришей что-то случилось? Ну, отвечай же! – тормошила она дочь.

– С каким Гришей? – холодно ответила та. – Со мной случилось... Бросил он нас! – И она сжала в объятиях дочь так сильно, что Маша заплакала.

После этого Галина замкнулась, стала раздражительной, злой. Испарилась куда-то она прежняя – нежная, добрая и ласковая девушка.

...А вот сейчас это горе с Иваном, которого она не любила. Но сошлась с ним не задумываясь. «Хорошо еще, что сосватал, – считала она. – Мужиков-то война покосила». А у нее еще и довесок остался от прежнего мужика...

Оттого-то и спился Иван – поняв, что никогда не будет жена с ним ласкова. Даже после того, как родилась общая дочь – Катя. Но и ее Галина не любила так, как Машеньку. А сейчас вот еще один ребенок будет.

Галина сидит на скамейке и подвывает:

– Лучше бы я одна осталась, чем с этим пьяницей! Кто теперь этого выродка воспитывать будет? – смотрит она на свой живот с ненавистью.

– Мам, – резко обрывает ее Мария, – ты так грешно говоришь. Остынь. Это же и твой ребенок. Он еще не родился, а ты уже его грязью поливаешь. Он в чем виноват?!

Мать успокаивается, встает и как может быстро, поддерживая живот, идет к месту трагедии.

У Ивана раздавлен живот, правые нога и рука. Собралась вся деревня. Ждут милицию. Галина смотрит на мужа без слез, холодно, равнодушно, будто лежит здесь чужой ей человек.

И вдруг хватается за живот и кричит дико на всю улицу. Начались схватки. Женщины уводят ее в сторону. Бегут за лошадью, кладут на телегу, и Василий, деревенский конюх, рысью везет роженицу в районную больницу, благо районный центр всего в семи километрах от их деревни.

Хоронили Ивана без жены. Он так и не узнал, что у него родилась еще одна дочь. Такая же огненно-рыжая, голубоглазая, как и отец.

Удивительное дело: старшая была похожа на Григория, Катеринка – вылитая мать, а младшая – вся в отца, Ивана.

Галина ее невзлюбила с первого крика. Да нет, даже раньше – с того момента, как забеременела. Не хотела она этого ребенка, но аборт побоялась делать.

– А теперь вот как растить? – тоскливо стенала она. – Как одной троих тянуть? Правда, Мария уже большенькая. Еще год-два – и пойдет работать в колхоз. А это отродье отцовское (иначе она и не называла родившуюся дочь) еще долго на ноги ставить...

Она даже имя ей долго не давала. Мария назвала сестру Дашенькой.

– Хоть бы кто забрал ее, что ли, – как-то в порыве злости бросила Галина соседке. – Не люблю я эту рыжуху. Подарил мне папаша подарок, а сам теперь там, – показала она пальцем на небо, – отдыхает.

– Да что ты, Галина, говоришь? Как не любить родное дитя? У тебя и так в семье нелюбимых воз и маленькая тележка. Тебя Григорий бросил, потому что не любил. Ты терпеть не могла Ивана. А сейчас не любишь Дашутку. Она же у тебя такая ласковая, ты только посмотри на нее!

Дашенька и впрямь росла спокойным и добрым ребенком – в отца. Будто не передалась ей материнская нелюбовь еще тогда, когда она находилась в ее чреве. Рыжую, с беленькими ресничками вокруг голубых, как летнее небо, глаз любила вся деревня.

– Солнышко к нам пришло! – встречали ее люди.

А она в гости ходила чуть ли не в каждый дом. В своем она не видела ласки и тепла. Вот и тянуло к другим.

– И что же, ты действительно отдала бы чужим людям Дашеньку? – как-то при встрече напомнила соседка Галине ее же слова.

– Отдала бы!

– Я в городе знаю одних. Хорошая семья, добрые, без детей. Поговорила я с ними. С большим желанием удочерили бы девочку. Дашеньке всего пять лет. Привыкнет.

– Так пусть приезжают.

...Женщина с мужчиной вошли во двор в сопровождении соседки.

– Ну вот, Галина, приехали на Дашеньку посмотреть.

– Дарья! – крикнула Галина. – Выйди во двор.

– Что, мам? – Девочка выбежала на крыльцо.

Гости обомлели. Их сердца сразу пронзила любовь к этому солнечному существу.

– Вот, хоть сейчас забирайте. Даша, иди к тете с дядей. Они тебя заберут к себе.

Девчушка, с улыбкой направившаяся к новым людям, услышав слово «заберут», резко остановилась, развернулась и бросилась к матери. Обхватила ее ноги и закричала:

– Мамочка, миленькая, не отдавай меня, не отдавай! Я люблю тебя! Не отдавай меня!

Она так не по-детски молила, громко, с плачем, что пришедшие растерялись и вскоре ушли со двора.

Деревня мигом узнала про эту историю. Девчонки прибежали домой и набросились на мать:

– Если тебя не любили, ты-то почему дошла до того, что родную дочь готова за порог выбросить? Не отдадим! – категорично, по-взрослому заявили они.

– Сами ее и воспитывайте.

– Не бойся, воспитаем.

...Жизнь течет. Течет, как быстрый ручей. Выросли, обзавелись семьями Мария и Катерина. Да и младшенькая Дарья вскоре уехала в

город, поступила в институт. Она стала привлекательной девушкой с редким ярко-каштановым цветом волос. Закончила учебу и осталась в городе. Вышла замуж за хорошего, надежного парня, родила сына. Все у нее в жизни сложилось хорошо.

В деревню она приезжала очень-очень редко. Помнила прощальные слова матери, когда уезжала учиться:

– Ну вот, езжай свой хлеб зарабатывать. Можешь не приезжать. Вырастила тебя, выкормила – и с глаз долой.

Даша словно проглотила какой-то нерастворимый комок. Взрослея, она все больше понимала, насколько мать не любила ее. Но так и не смогла найти причину ненависти к себе. Ведь она любила мать. Всегда старалась угодить ей, стремилась помочь в любом деле. А в ответ одни упреки и тычки.

Вчера позвонила Катерина, сказала, что мать слегла, не встает. Да и время, наверное, пришло, все-таки за девятый десяток ей перевалило.

– Я через день приеду, – сразу отозвалась Дарья. – Вы-то ходите к ней?

– Да часто не получается. Сама понимаешь: хозяйство, внуки... Да и наш возраст уже далеко не юный. Прямо не знаем, куда мать девать...

Дарья тихо вошла в уже обветшавший родной дом. Мать лежала мумией на постели. Только глаза были живыми.

– Мамочка, я за тобой приехала. Поедешь в город? С нами жить будешь. Не расстраивайся, родная. Я ведь тебя люблю.

Галина прошептала:

– Сядь рядом, доченька.

Дарья поставила у кровати табурет, села, погладила лицо матери. И вдруг увидела, что по ее щекам побежали тонюсенькие ручейки слез.

– Доченька, родная моя, – дрожащим голосом произнесла мать слова, которые Дарья всю жизнь хотела услышать от нее. – Прости меня, прости за все. За то, что всю жизнь гнобила тебя, прости, бога ради!

Дарья обняла мать, прижалась к ее морщинистому лицу. Тоже первый раз в жизни. И долго сидела так, боясь пошевелиться.

Душа матери освобождалась от оков зла. Душа дочери широко открылась для прощения.

РУКАВИЧКИ ДЛЯ ВАНЕЧКИ

В Доме милосердия готовятся к празднику. В холле жильцы репетируют песню. А она сидит на своей кровати в комнате на двух человек. На спевки не ходит и вообще редко покидает комнату: всегда занята вязаньем. Анна Филипповна Шелехова будто торопится успеть сделать то, что задумала. А вяжет она носки, маленькие совсем, сантиметров десять – пятнадцать в длину. Вяжет и отдает в Дом ребенка. И эти, что она с любовью вяжет сейчас, тоже передадут туда.

«А глядишь, и сама попроведу детишек, – думает между делом. – Соскучилась. С ними-то душе легче. Ванечку своего увижу».

Вот такая необычная связь поколений – почти столетней женщины и двух-трехлетних сирот. Что объединяет их? Стремление Анны Филипповны в последние свои годы погреть душу детской безгрешностью, чистотой? Может быть. Но еще тянет ее к ребятишкам память. Всю жизнь терзает женщину давнишнее воспоминание о четырехлетнем мальчике. И сама она не может объяснить, почему именно это событие так потрясло ее...

В годы Великой Отечественной войны она, молодая, красивая, работала в почтовом отделении поселка. Сюда люди приходили за письмами с фронта. Шли с замиранием сердца: а вдруг?... Вдруг вручат им не письмо с хорошими известиями, а официальный конверт – похоронку?

Почтовый работник в таких случаях опускал глаза, будто это он виноват в трагедии. Передавал письмо робко, еле слышно произнося:

– Это вам...

И начиналось страшное. Адресат сразу понимал, что это за письмо, рвал кромку конверта и дрожащими руками вытаскивал бланк. И, казалось, крик раздавался не только на весь поселок, а разлетался по всей земле... Человек захлебывался рыданиями. Некоторые теряли сознание. И тогда почтовый работник Анна выбегала им помочь.

Таких страшных конвертов приходило немало даже после Победы. Ведь письма добирались из дальних мест не как сегодня – в считанные дни, а шли порой месяцами, заблудившись в военной неразберихе. Семьи дома уже с нетерпением ждали своих победителей, и вдруг – извещение о гибели близкого человека...

В маленькое здание поселковой почты часто приходила бабушка с внуком. Женщина ждала писем от своего сына, отца этого мальчонки. И когда случалась такая радость, оба прямо на почте читали весточку от него. Но однажды получили тот самый страшный конверт. Женщина осела на землю. А мальчонка закричал, почуввав своим детским сердечком, что беда пришла.

Он дергал бабушку за кофту:

– Почему папка погиб, а письмо мне не написал?!

В голосе ребенка звучала настоящая боль. Он все требовал и требовал:

– Дайте письмо от папки!

Анна побежала к мужу, который заведовал почтой:

– Что делать? Пацаненок так ведь и с ума сойдет.

Муж обнял ребенка и стал успокаивать:

– Не плачь, никуда твой папка не делся. Он без вести пропал. А потом появится и письмо напишет.

– Правда, появится?

– Да появится, появится, иди домой.

Но мальчик не уходил. Бабушку, обессилевшую от горя, отвели домой. А внук не захотел уходить, сидел и ждал письма от папки. Анна с мужем напоили его молоком, уложили спать. Только вечером, когда мальчонка проснулся, отвели его домой. А утром он уже опять был на почте. И на второй день, и на третий, четвертый... И еще много дней он ходил и все спрашивал:

– Письма от папки из безвести нет? Почему папка из безвести не появляется?

Вскоре после этого случая семья Анны Филипповны уехала из поселка. И того мальчонку она больше не видела. Но сердце женщины всю жизнь терзалось: почему не сходила к нему домой, не узнала, что с мальчиком? Уже столько лет прошло, а она все вспоминает те дни в мельчайших деталях. Большие голубые глаза ребенка, глядящие с надеждой и верой, что папка его вернется оттуда, из непонятого «безвести». И его недетский тяжелый вздох после отрицательного ответа. И малюсенькую сгорбившуюся фигурку с опущенной головой, идущую по улице.

Невозможно забыть такое. И еще многое помнит Анна Филипповна, с чем сталкивалась на жизненном пути длиною в девяносто шесть лет. К сожалению, больше воспоминаний тяжелых. Они, как маленькие летучие мышки, обве-

силы ее сердце, вцепившись в него острыми коготками.

Но не может жить человек и без согревающих душу воспоминаний о добрых, светлых днях. Вот и Анна Филипповна никогда не забудет, как совсем молодой познакомилась в клубе с парнем. Всего два дня они встречались, а потом его отправили в армию на переподготовку. В это время и грянула война, Николай ушел на фронт. Ждала ли Анна от него писем? Обещаний друг другу они не давали, но где-то в глубине души все же была надежда: вдруг после войны судьба опять их сведет?

Вместе с другими женщинами она работала на лесоповале. Мужчин-то всех забрали на фронт. Вот и пришлось за них выполнять тяжелейшую работу. Возвращалась домой без рук, без ног и сразу падала на кровать, чтобы хотя бы немного отдохнуть. Зимой жутко мерзли, погреться удавалось только у костров, где сжигали обрубленные ветки. Летом заедал гнус, стояла сильная жара... Они должны были заготавливать болванки, из которых потом делали лыжи для фронта. Старались норму выполнить, помочь своим трудом мужчинам-солдатам.

Ее подруга Мария Силантьева ушла на фронт. Захотелось и Анне уничтожить фашистов там, на передовой. Написала заявление в военкомат. Но ей четко ответили: «У вас 38-я статья, с таким документом путь на фронт заказан... Работайте, здесь будет не легче, чем на фронте!» А потом пригласили ее в политотдел и передали письмо от Николая. Он писал, что был ранен под Сталинградом, что отняли ногу, поэтому переживает очень. Мол, если я тебе такой нужен, напиши. И вскоре он вернулся, встретился с Анной. Правда, ее родители были против их брака.

Мать сказала:

– Теперь что ни дальше – иди, что ни тяжелее – неси и не жалуйся.

Эти слова запали Анне в душу навсегда. А с Николаем они стали жить в любви, дочь и сына родили. Мужа сразу определили начальником почтового отделения, куда он и забрал Аню с лесоповала. И жили они здесь же, при почте.

Сразу было нелегко, денег не хватало. Продуктов в магазинах не было. Позже построили свой дом, завели хозяйство. Легче стало.

...Из коридора доносится пение. Распелись жильцы Дома милосердия. Когда-то и Анна любила петь. В послевоенные годы люди бедненько жили, но на праздники собирались у кого-ни-

будь из родных или друзей, приносили кто что мог на стол и гуляли. Пели песни под гармошку, плясали. Мужики-фронтовики, куря самокрутки, где-нибудь на скамейке о боях, боевых товарищах рассказывали... Непросто жилось, но как-то хорошо было, дружно. Вспоминает все это Анна Филипповна, и сердце понемногу успокаивается. И все же от грустных дум тоже никуда не деться. Вспоминаются те, кто не дожил, недолюбил, не видел, как растут дети, не обнял внуков да много чего «не»...

Еще до войны прокатились клубком колючей проволоки по людям репрессии. Впились они и в жизнь десятилетней девочки Ани. Их многодетную семью – мать, отца и шестерых детей – изпод Уфы долго везли в далекую Сибирь.

Выгрузили в поле, дали лопаты:

– Копайте землянки, устраивайтесь.

Хорошо, хоть летом привезли, легче было копать. Эти земляные ямы и спасали в первое время. Правда, не всех: в их семье двое детей выжить не смогли. А двух дочерей, в том числе и Аню, родители решили отдать в деревенские семьи, в работницы. Там они хотя бы не умерли с голоду (это отец перед их отъездом уже начал пухнуть от вечного недоедания). Но об учебе тогда, конечно, и думать не приходилось.

Хозяин, у которого жила Аня, оказался человеком хорошим. Он знал, что девушка хочет уехать на родину, в Уфу, и через четыре года помог исполнить ее мечту. Благо ехать ей было к кому – к старшим братьям (от первого мужа матери, его засекли плетками белогвардейцы еще в лихие революционные времена). Однако совсем недолго пожила Анна на родине. Задержали ее и посадили в тюрьму, как беглянку. А потом вновь по этапу в Сибирь. И опять каторжный труд на лесоповале.

...Иногда бывает: вяжет, вяжет, а потом руки с вязаньем упадут как плети... Снова замрет Анна Филипповна, задумавшись, смотрит в окно и возвращается мыслями в прошлое. Разве выкинешь из памяти, как похоронила тридцатипятилетнего сына-шахтера, заболевшего раком? Как везла его из больницы домой, зная, что везет умирать. Как дошли до крыльца, а он подняться не может и говорит матери:

– Мам, а у тебя завтра день рождения.

А она ему с горечью:

– Не будет у меня, сынок, больше дней рождения...

Через двадцать дней сына не стало. А мужа она еще раньше, в сорок пять лет, похоронила. Вроде и жилось уже лучше, на ноги крепче встали. Но случилось несчастье: начал муж пить. Потом она узнала, что у него на работе растрата – огромная по тем временам сумма в одиннадцать тысяч рублей. Это когда автомобиль вдвое меньше стоил... Как узнала Анна Филипповна о такой беде, сердце оборвалось. Но взяла себя в руки.

– Выберемся как-нибудь, – сказала мужу спокойно. – Что-нибудь придумаем.

Но думай не думай, а денег-то нет. Пришлось дом продать, новый сруб, корову. Выкрутились. Муж позже взялся новый дом строить. В нем-то она потом и доживала.

А перед тем как в Дом милосердия переселиться, продала этот дом и внучке помогла комнату в коммуналке выкупить, стать хозяйкой всей квартиры. Поставила хорошие надгробия на могилах отца, мужа и сына. Вроде бы все обязательства в этой жизни выполнила. Но и сейчас иногда ночью, когда бессонница мучит, все переживает, не на один раз перевспоминает детали судьбы своей. Хорошо ее жизнь покрутила. И ничего не вернешь, не переделаешь...

Женщины в холле поют песню. А она сидит на своей кровати в комнате на двух человек. И вспоминает...

И почему-то больше всего думает о детях. Наверное, потому, что детские боли – самые большие. Другому знакомому мальчику из военного времени было тогда всего десять лет. Мать его часто уходила к своему кавалеру, а мальчонка оставался в доме за хозяина. И еще корову ходил кормить. Но вдруг дверь в сарай перестала открываться. Он бегал, бегал вокруг, потом залез на крышу, сделал в ней дыру и стал туда сено бросать.

Как-то пришел на почту к Анне Филипповне:

– Теть Аня, а корова почему-то не мычит давно. Они пошли, соседей позвали, кое-как дверь открыли, а корова-то уже издохла.

Да мало ли подобного было. Одни женщины детей изо всех сил тянули, пока мужья на фронте воевали, а другие... Не понимает таких матерей Анна Филипповна. Она никогда бы и ни за что не оставила своего ребенка.

Она добрейшей души человек. Вот зачем ей надо эти рукавички да носочки вязать, зрение садить? Государство обеспечивает детей-сирот. Но она все-таки вяжет: жалко детишек, они без матерей растут, тепла самого родного человека не знают. И когда она посещает Дом ребенка, не может без боли смотреть в их полные ожидания глазенки.

– В младшей группе как снопики стоят в кроватках. И мой Ванюша там.

Этого мальчика она сразу выделила для себя. Эх, если бы не возраст, взяла бы его...

Дети в Доме ребенка ждут не игрушек, не лакомств. Они ждут тепла родных. Как и те, кто живет в Доме милосердия. Эти старые люди тоже хотят чувствовать не только тепло и заботу близких, но и свою хоть маленькую нужность родным, хотят жить рядом с ними, наглядеться на них в оставшееся время. Ведь жить-то осталось немного. В Доме милосердия комфортно, чистота, вкусно кормят, досуг организуют, но...

Анна Филипповна жила просто, как говорится, звезд с неба не хватало. Но всегда старалась жить честно и по-доброму. Дарить свою сердечность людям. Может, за это и Господь подарил ей долголетие.

Рядом с ее кроватью тумбочка. На ней старая Библия, икона... А под кроватью сумка с пряжей, купленной на свои деньги, и несколько пар маленьких носочков. Анна Филипповна еще нужна на этой земле.



**Евгений
КАЗАКОВ**

**БАБОЧКА В НЕБЕ
ЗАБЛУДИЛАСЬ**



*Запотевший кружочек окна
Бесследно растаял
Будто и не дышал человек*

*Со всех сторон Земли небо
Со всех сторон души
Господь*

*Как много верно знают камни
Коль так неустово
Молчат*

*Кажется реке
Что от берега до берега
Плывут облака*

*Без крестика
Я
Гольй*

*Если долго смотреть на небо
На нем появятся
Птицы*

*Во мне
Любви больше
Чем у меня*

*Миг
Когда после грозы
Видны на небе ангелы*

*Грустный ежик
Не накальваются дождинки
На иголки*

*Даже твоя спина
На меня
Косо смотрит*

*Ест гречневую кашу
Старуха
С гречневым лицом*

*Никуда не спешит дерево
Оно себя
Нашло*

*Повздорили
Спиной ко мне повернут
Свет в твоём окошке*

*Чем чаще на тебя смотрю
Тем реже
Ты смотришься в зеркало*

85

КАЗАКОВ Евгений Федорович родился 26 апреля 1956 года в р. п. Кулунда Алтайского края. Участник творческой мастерской «Аз» (руководитель – поэт А. Ибрагимов). Дипломант международных конкурсов хоккею, автор сборников трехстиший «С земли не упадешь», «ЛюБог», «Церковь-мельничка», «Дышинки» и книг «Сердцеанин», «Душа европейского человека», «Душа: метафизика самоопределения». Публиковался в журналах «После 12», «Огни Кузбасса». Профессор кафедры философии КемГУ. Живет в Кемерове.

Во время цветения яблони
Ева
Не грешила

И волчья ягодка
Солнышку
Рада

Пока идем к Богу
Мы
Вместе

Ходил-ходил вокруг березы
Пока все думы
На нее не намотал

Мой сынок докрикивает
То
Что я не докричал

Преобразование чая с бубликом
В стихотворение
Началось

Весна
От стариков запахло
Оттаявшей землей

Переползал-переползал сыночек
На сухое
И влез на Арарат

Если смотреть на землю
Мы едем
Если на небо – стоим

Замерзший цветок
Поставил отогреться
К иконе

Расставаясь с мамой
Целую ее
В самую седую прядь

Обнял одной рукой сына
Другой дочь
Затекившие крыла расправил

Все свечи в церкви
Замахали мне ладошками
Вернись

Переплавили колокол
В медный грошик
А он все звонит

Муж пастух
Жена
Разбежавшееся стадо

Сидит ждет смерть старуха
А раньше
Ждала любовь

Пап смотри
Бабочка в небе
Заблудилась

У кого в тарелке дольше
Не кончается еда
Тот и начальник

В раю
С собою
Встретимся

По своему подоконнику
Горизонт
Меряешь

Вечность
На часы посмотрела
Пора

То ль задом наперед
Твои глаза
То ль шиворот-навыворот



VIII Кузбасская литературная премия им. святителя Павла, митрополита Тобольского



Молебен в домовй церкви



Приветственное слово митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха



Вручение премии писателю Владимиру Крупину



Вручение премии писателю Людмиле Яковлевой



Вручение премии протоиерею Сергию Адодину



Вручение премии Сергею Скобликову
и Григорию Шалакину



Награждение поэта Дмитрия Мурзина



Международная общественная награда
«Звезда Достоевского»



Вручение награды «Звезда Достоевского»
Олегу Бритвину



Вручение награды «Звезда Достоевского»
поэту Сергею Донбаю



Вручение награды «Звезда Достоевского»
профессору Анатолию Кулемзину



Участники церемонии награждения



Эдуард Вистерман представляет репринтное издание Евангелия Достоевского

Поздравляем с 65-летием нашего друга и постоянного автора журнала!

**Александр
КЕРДАН**

ПО ГЛАВНОЙ ЛИНИИ

Рассказ



Полковник Волков заметно выделялся среди сослуживцев: высок, статен, красив той зрелой, мужественной красотой, которая сражает наповал и юных дев, и дам бальзаковского возраста. Седина густых, слегка волнистых волос и морщины на открытом челе ничуть не портили его облика, а только подчеркивали благородство и жизненный опыт этого человека. В политическом управлении округа, куда в те годы отбирали лучших из лучших офицеров-политработников, блистал Игорь Николаевич своим умом и славился необычайно широким кругозором, умением говорить размашисто и афористично, поражая слушателей энциклопедическими знаниями в области отечественной истории и международных отношений, цитатами из трудов классиков марксизма-ленинизма и современной литературы. К тому же Волков пользовался особым расположением начальника политуправления округа генерал-лейтенанта Зинченко и мог без предварительной договоренности входить к нему в кабинет, подолгу беседовать наедине. Прежде это мало кому удавалось.

Личные выдающиеся качества Волкова, прослужившего в политуправлении чуть больше года, и благосклонность старших начальников делали его среди сослуживцев человеком легендарным и даже в чем-то таинственным.

КЕРДАН Александр Борисович родился 11 января 1957 года в городе Коркино Челябинской области. Окончил Высшее военное училище, Военную академию и адъюнктуру Военного университета. Двадцать семь лет прослужил в Вооруженных силах. Полковник в отставке. Доктор культурологии. Автор 76 книг стихов и прозы, вышедших в России, США и Азербайджане. Стихи и проза переведены на английский, болгарский, испанский, итальянский и другие языки. Лауреат Большой литературной премии России, всероссийских и международных литературных премий. Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Живет в Екатеринбурге.

– Нашему Игорю Николаевичу, прирожденному златоусту, прямое место в ГлавПУРе! Таких, как он, пропагандистов во всем Союзе по пальцам перечесть можно! – восторженно-завистливо судачили о нем товарищи после очередной лекции, талантливо прочитанной Волковым в окружном Доме офицеров.

И не переставали удивляться, как такой ценный кадр попал служить к ним, в «тыловой», третьеразрядный округ.

В самом деле, оказался Волков на Урале неожиданно. И сразу был назначен на вакансию лектора политуправления, желанную для многих местных идеологов. Поговаривали, что с переводом полковника в Свердловск была связана какая-то темная история. Но какая именно? Этого никто не знал, кроме, конечно, генерала Зинченко и начальника отдела кадров полковника Фоменкова. А те умели держать язык за зубами.

Капитан Федя Востряков, служивший в политуправлении старшим инструктором отдела комсомольской работы, смотрел на полковника Волкова с нескрываемым восхищением – как на явленный ему вдруг идеал настоящего мужчины и офицера. И потому слушал его выступления с придыханием, даже подражал его манере держаться, высоко вскидывая голову, расправляя плечи и распрямляя сутуловатую от природы спину.

Надо ли говорить, что при этом Востряков не только заговорить со своим кумиром, но даже подойти к нему стеснялся. Так продолжалось до тех пор, пока однажды он вместе с Волковым не попал в одну из групп штаба округа, посланных для проверки итогов боевой и политической подготовки в отдаленном гарнизоне, где дислоцировалась учебная танковая дивизия. По приезде на место полковник четко распределил обязанности в их группе: он будет писать отчет о работе, а товарищ капитан должен снабдить его всей необходимой фактурой. То есть узнать, где, сколько и когда совершено нарушений воинской дисциплины (самоволок, фактов неуставных взаимоотношений, употребления спиртных напитков и наркосодержащих веществ), кто из командиров эти нарушения покрывает и служит спустя рукава, а также выполняется ли план политзанятий, как организована работа партийной и комсомольской организаций, спланирован ли досуг солдат, офицеров и членов их семей, ведется ли военно-шефская работа...

От перечня задач у Вострякова даже голова закружилась, но, не желая ударить в грязь лицом перед обожаемым полковником, он заметался по гарнизону как ужаленный, выискивая любую информацию о недоработках коллег. Рыл, как аппарат глубокого бурения, и нарыл! И приписки в книгах учета дисциплинарных взысканий, и случаи очковтирательства со стороны старших начальников, и грубость с подчиненными, и бытовое пьянство... Фактуры оказалось столько, что Волков только довольно потирал руки. Сам он куда дальше политотдела и гостиничного номера люкс, в котором его разместили, не хаживал, но благодаря стараниям Вострякова акт проверки написал с легкостью. Да такой, что начальник политотдела Салыгин только за голову схватился:

– Не губите, Игорь Николаевич, меня же в академию Генштаба не отпустят... Я в этом году вызова жду...

Волков не был кровожадным человеком и акт переписал, а благодарный начпо, как водится в таких случаях, накрыл для проверяющих «поляну» на берегу узенькой речки Камышловки – с шашлыком, коньяком и комсомольскими песнями под гитару, которые по случаю счастливо завершившейся проверки сам и исполнил.

Вечером в гостинице Волков пригласил Вострякова к себе в номер попить чаю, а точнее, «отлакировать» выпитое на пикнике (у него в холодильнике еще одна бутылка коньяка оказалась). Они снова выпили. И капитан, будучи подшофе,

дерзнул задать полковнику вопрос, который давно волновал многих офицеров политуправления:

– Товарищ полковник, Игорь Николаевич, а где вы служили до нас?

Размякший Волков откликнулся сразу:

– Во Львове, Федя. Начальником кафедры марксистско-ленинской философии в тамошнем политическом училище. Знаешь ведь, где журналистов и культмассовиков готовят...

– Вот это да! Кафедра марксизма-ленинизма! Так это же ведущая кафедра в каждом политучилище, с нее прямая дорога на преподавателя, а то и старшего преподавателя в академию имени Ленина, в Москву...

Волков усмехнулся:

– Бери выше, капитан! Мне прямая дорога в ГлавПУР светила!

– И что?.. – наострился Востряков.

Тут Волков с ответом торопиться не стал. Плеснул себе коньяку, выпил, закусил конфетой «Белочка». И, внимательно оглядев Вострякова, задумчиво произнес:

– А то, мой юный друг, что перевод не состоялся. Погорел я по главной линии.

– Как это – по главной? – напрягся Востряков.

Волков заметил это и, криво усмехнувшись, пояснил:

– По женской части...

Востряков воззрился на своего кумира с недоверием:

– Ни за что не поверю, товарищ полковник! Неужели аморалка?

– Хуже!

– Да что же может быть хуже? – Лицо у Вострякова вытянулось, а уши покраснели.

– Идеологическая диверсия, капитан. Настоящая идеологическая диверсия...

Два года назад полковника Волкова вызвали на собеседование в Москву в Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота.

Предмет собеседования, хоть и не был обозначен в телефонограмме, от него не скрывался: Волков являлся кандидатом для назначения на высокую должность в управление пропаганды и агитации самого могущественного военно-политического ведомства, работающего, по сути, как один из отделов ЦК партии. Знакомый офицер ГлавПУРа в частном разговоре проинформировал Волкова, что вопрос о его переводе в Москву практически решен и предстоящее собеседование не более чем формальность или, можно сказать, смотрины. Поэтому в СВ-вагон поезда

Львов – Москва полковник, надевший по случаю предстоящей встречи с высоким начальством новый, специально пошитый и тщательно отутюженный китель, сел в самом радужном настроении.

Попутчиков в купе не оказалось, и до самого Киева он ехал один, предаваясь приятным размышлениям о будущей столичной службе и дальнейших перспективах. А вот в столице советской Украины в купе впорхнула молодая особа – стройная и фигуристая, как сразу заметил Волков, девушка или молодая женщина чуть больше двадцати, но никак еще не тридцати лет. Хотя даже опытный человек с трудом определит, когда современные представительницы прекрасного пола из весеннего возраста перебираются в летний: настолько нынешняя мода со всякими ее юбочками и брючками, обтягивающими ножки, косметика и краска для волос микширует этот переход.

Небрежно бросив сумочку на свою полку, попутчица окинула полковника быстрым взором больших, зеленых с лучистыми искорками глаз. Волков же еще успел отметить, как милы на ее юном личике упругие щечки с маленькими ямочками и пухлый приоткрытый ротик.

Девушка задорно поздоровалась и тут же представилась:

– Меня зовут Софья. Можно просто Софочка! – И улыбнулась, забавно сморщив аккуратный носик, с чуть заметной хитринкой глядя на слегка оторопевшего от такого напора Волкова. – Ой, простите, кажется, я нарушила нормы этикета. Первым при знакомстве, кажется, должен представляться мужчина...

– Волков, Игорь Николаевич. Для вас просто Игорь... Рад знакомству, Софочка, – невольно повелся на ее чары полковник и не удержался от комплимента: – Удивительно, что современная молодая леди знает об этикете...

– Я знаю не только об этикете, – рассмеялась Софочка и тут же со знанием дела принялась рассуждать о новом, снимающемся в Италии фильме Тарковского «Ностальгия». А потом – о стихах Мандельштама и Пастернака, об эмбарго США на импорт ливийской нефти и о высадке аргентинских войск на Фолклендские острова...

Полковник Волков находился в том пограничном возрасте, когда встреча с обаянием юности действует на мужчину особенно чувствительно. Подивившись такой эрудиции молодой спутницы, глядя на нее заблестевшими глазами, он с удовольствием включился в диалог, демонстрируя все присущие ему лучшие качества: образную речь, всесторонние познания и железную логику.

Софочка ласково улыбалась ему, время от времени задавая интересные вопросы и вставляя в его монолог меткие и ироничные замечания. Она была исключительно приятной собеседницей и явно испытывала к Волкову чувство симпатии. А может быть, и чего-то большего...

Вечером они сходили в вагон-ресторан, выпили там шампанского и вернулись в купе. Еще немного поболтали и улеглись каждый на свою полку, пожелав друг другу доброй ночи. Утром их разбудил проводник, объявив, что поезд вот-вот прибудет на Киевский вокзал. На перроне они расстались, да так стремительно, что Волков не успел даже попросить у Софочки номер ее телефона. Она весело помахала ему рукой и, мерно покачивая аппетитными бедрами, грациозно, как цирковая лошадка, переставляя точеные ножки на шпильках, скрылась в толпе прибывших и встречающих.

Полковник вздохнул, как вздыхают о недостижимом или навеки утраченном, и отправился прямоком в ГлавПУР.

Как и убеждал его знакомый офицер, смотрины оказались простой формальностью. С Волковым доброжелательно побеседовал начальник управления кадров, затем состоялся визит к заместителю начальника ГлавПУРа – начальнику управления агитации и пропаганды, и эта встреча тоже прошла на ура. Волкова провели по кабинетам и представили будущим сослуживцам. А ближе к вечеру он вернулся на вокзал, откуда благополучно убыл во Львов.

Начальник управления кадров обещал ему, что приказ не заставит себя ждать. Но прошла неделя, затем вторая, а приказа все не было. Вместо этого Волкова неожиданно вызвали в особый отдел округа к генерал-майору Скряге.

Начальника военной контрразведки Волков знал лично, так как несколько раз выступал у него в отделе с лекциями о международном положении; однажды генерал даже удостоил его аудиенции у себя в кабинете и, расчувствовавшись, напоил кофе с коньяком из небольшой старинной чашечки с изображенной на ней эмблемой НКВД.

На этот раз, стоя под портретом Феликса Дзержинского, Скряга встретил Волкова без улыбки, которая у него из-за вставных золотых коронок была ослепительней, чем у цыганского барона. Он хмуро поздоровался с полковником, пригласил его присесть.

– Что же вы себя так подводите, товарищ полковник? – с какой-то даже жалостью в голосе вдруг спросил он.

– Извините, товарищ генерал-майор, не понимаю, о чем вы говорите.

– Да что тут непонятного? Мы, значит, согласовали ваше выдвижение в ГлавПУР, а вы... – Генерал сделал паузу, которой и воспользовался Волков:

– ...а я с успехом прошел собеседование в Москве и жду приказа о назначении...

Генерал вдруг стал совсем строгим:

– Собеседование-то вы прошли. Это нам известно. А вот это что?

С этими словами он извлек из стола импортный портативный магнитофон, размером с сигаретный блок, нажал на кнопку, и до Волкова донесся милый, с чуть заметной картавинкой голосок его обаятельной попутчицы Софочки:

– ...Полагаю, радиослушателям будет интересно узнать, что думает о партийном руководстве в СССР начальник кафедры марксизма-ленинизма одного из военно-политических училищ полковник Игорь Волков...

А затем раздался легкий щелчок, после которого зазвучал его, Волкова, голос:

– Конечно, руководство страны нуждается в обновлении... Мир стремительно молодеет, а наши кремлевские старцы не поспевают за ним и только вешают друг другу на грудь новые геройские звезды, словно медалки за выслугу лет...

В груди у Волкова все сжалось и похолодело... Да что там похолодело – вмиг покрылось инеем в палец толщиной! Он вспомнил, что еще рассказывал Софочке анекдоты про Генерального секретаря, с таким трудом выговаривающего слово «систематически», что звучит оно у «верного ленинца» совсем непотребно, и что «напрасно враги распускают слухи, будто вместо руководителя страны в его правительственной машине возят чучело. Это все неправда, ибо вместо чучела ездит он сам!» Ах как задорно смеялась девушка в ответ...

Но запись с анекдотами генерал Скрыга прокручивать не стал; словно сразу желая добить несчастного контрольным выстрелом в голову, он ткнул в сторону полковника указательным пальцем:

– Вы знаете хоть, кто брал у вас интервью?

– Да никакого интервью и не было...

Волков начал торопливо объяснять, что просто говорил с попутчицей, и не было никакого у нее диктофона, и вообще она студентка Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы – выдающегося борца за освобождение чернокожих...

Генерал сурово оборвал его:

– Это вы думаете, что просто мило щебетали якобы со студенткой якобы университета. На самом деле с вами в купе ехала Софья Гринбер, штатный сотрудник «Моссада», подвизающаяся на ниве журналистики. Она вполне профессионально раскрутила вас на неблагоприятные высказывания и политически близорукие заявления, способные нанести урон репутации нашей великой советской Родины. Так что, гражданин Волков, вы вольно или невольно оказались втянуты в идеологическую диверсию и приняли в ней самое непосредственное участие...

Услышав из уст особиста вместо привычного «товарищ» обращение «гражданин», Волков побледнел, сердце у него сдавило. Он попросил стакан воды, сделал несколько судорожных глотков и сторбился, ожидая решения своей участи.

Скрыга тем временем встал из-за стола, обошел его и уселся напротив. Оглядел Волкова проницательным взором и, перейдя вдруг на товарищескую манеру разговора, утешил:

– Не знаю, в какой счастливой рубашке вы родились, Игорь Николаевич, но ваши идеологически невыдержанные откровения не дошли до адресата и не прозвучали в передаче «Голоса Америки». Скажите спасибо, что органы госбезопасности начеку – успели перехватить сделанную Гринбер закладку, и она не ушла за рубеж. Иначе говорил бы с вами не я, а другие люди и в другом месте...

– Что же будет со мной? Я же не предполагал, что она... агент... – только и выдавил из себя Волков.

Скрыга изложил диспозицию так, как она виделась с высоты его положения:

– Ну, о Главном политическом управлении вам, Игорь Николаевич, придется забыть. Надолго, если не навсегда. Я уже отозвал свое согласование и по своей команде ситуацию доложил. Простите великодушно, но долг службы. Да вы, полагаю, и сами все должны понимать. И с кафедрой вам тоже придется распрощаться. Нас не поймут, если ведущую кафедру в высшем военно-политическом училище будет занимать офицер, как бы это помягче сказать, слишком разговорчивый...

Самообладание постепенно вернулось к Волкову.

– Мне что же – рапорт на увольнение писать? – спросил он.

– Это лишнее, товарищ полковник. И добрый конь на скаку оступается... Такими профессионалами, как вы, разбрасываться – непозволительная роскошь... – Генерал откинулся на спинку сту-

ла и побарабанил пальцами по своей лысеющей макушке. – А знаете, я в давних добрых отношениях с генералом Зинченко, членом военного совета на Урале. Переговорю-ка я с ним. Может, отыщет вам местечко в Свердловске у себя под крылом. Человек он умный и опытный, служить с таким – одно удовольствие. Да и опорный край державы – это вам не «западэнский Львив», пребывание там, полагаю, окажет на вас благотворное воздействие... И еще, считайте это моим дружеским напутствием: будьте осторожнее в высказываниях. Вторую такую ошибку вам не простят...

– Вот так я и попал на Урал... – Волков умолк, передернул плечами, а потом, словно вспомнив наказ особиста, добавил, глядя прямо в глаза Вострякову: – Надеюсь на вашу порядочность, Федор, прошу о нашем разговоре никому ни слова... И поскольку у вас вся жизнь еще впереди, не сочитите за менторство, сами не окажитесь в подобной ситуации, не залетите по главной линии...

– Буду стараться, – искренне пробормотал Востряков. Но потом не удержался еще от одного вопроса: – Товарищ полковник, Игорь Николаевич, а почему же линия-то главная?

– Мне еще тогда генерал Скряга сказал, а потом и кадровики подтвердили: главная линия потому, что больше всего нашего брата именно на ней и сгорает синим пламенем. Вроде бы еще в древних книгах писано, что женщина – первая и главная греховодница. Все это знают. Но как удержаться, если ловушка такая сладкая?

«Ну, я-то в этот капкан не попадусь», – подумал Востряков, выходя от Волкова.

Он вернулся в свой скромный номер и долго не мог уснуть, вспоминая рассказ полковника, лучезарный образ которого в его глазах после услышанного несколько потускнел. «Вот вроде бы умный, красивый, сильный человек – и так попал впросак... Тоже мне, главная линия!.. Нет, со мной ничего подобного никогда не случится! Я жене верен. А если и встретится где-то мне шпионка из «Моссада», ЦРУ или даже МИ-6, я ей ни за что на крючок не попадусь! Даром, что ли, до политуправления секретарем дивизионного разведбата служил...»

С этими мыслями он и уснул. Наутро после разбора итогов работы комиссии они с Волковым уехали в Свердловск. И так откровенно больше не общались.

А «главная линия» все же коснулась Вострякова – неожиданно и совсем с другого бока. Жена его Лиза вдруг задуррила – ушла от него к капитану из тылового управления округа. Спустя пару месяцев она подала на развод. Вскоре и суд состоялся, после которого Вострякову пришло письмо, извещавшее, что он снова холостяк.

И в отделе кадров об этом как-то стало известно. Вострякова вызвал к себе полковник Фоменков и огорошил:

– Придется вам, товарищ капитан, из политуправления уйти. У нас разведенцам не место.

Востряков вмиг съежился, посерел, и тогда Фоменков постарался его успокоить:

– Переведем вас на равнозначную майорскую должность. Служить будете здесь же, в Свердловске, в политотделе спецчастей гарнизона. Вы же бывали там, на углу Восточной и Декабристов?

И не обманул. Вострякова, действительно, назначили пропагандистом в спецчасти. И вроде на самом деле он мало что потерял: должность равнозначная, и с нее в академию поступать можно, и город тот же, и квартиру ему с Лизой помогли разменять на две однушки, так что по общежитиям мыкаться не пришлось. Ан нет, дальнейшая карьера в армии у Вострякова не сложилась. В ВПА он так и не поступил: разведенцев в академию тоже не брали... Так, получив майора, и дослужил на своем пропагандистском месте до сокращения Вооруженных сил. Совпало это с перестройкой, когда никто уже вопросом сохранения «ценных кадров» не озадачивался. Написал рапорт – и гуляй! Радуйся, что получил выходное пособие и уволился в столице Среднего Урала, не где-то в захолустье...

А с полковником Волковым судьба свела Вострякова еще раз, когда он поступил в заочную аспирантуру Уральского госуниверситета и на кафедре философии готовил к защите кандидатскую диссертацию на тему: «Генезис феномена женской неверности от матриархата до наших дней».

Волков, к тому времени тоже уже уволившийся из армии и состоявший в ученом совете университета, вызвался быть у него официальным оппонентом. И на защите, которая у Вострякова прошла блестяще, бросил в его корзину свой белый шар. Что, в общем-то, и неудивительно: линия аспирантом была выбрана верная, главная...



**Сергей
МОСКВИТИН**

ПОСЛЕ ЛЕТНЕЙ ГРОЗЫ



* * *

*Гроза отбушевала, перекатами
Умчала туч грохочущих стада;
Прозрачную гребенку ливня спрятала
И вместе с мраком скрылась в никуда.*

*Березоньки с расчесанными гривами
Красуются у солнца на виду.
Их только что сам Бог фотографировал:
Я видел фотовспышек череду.*

*Ах, кто-то небо разорвал на клочья
И разбросал по лужицам вокруг.
И вот теперь, как облаком всклокоченным,
Парным туманом застилает луг.*

*Таежный мир, умытый, обновленный,
По-праздничному ярок и лучист.
Танцуют птицы. Елочки влюбленно
Вбирают их художественный свист...*

СТИХИ ВЛАДИМИРА КОСТРОВА

*Что может быть лиричнее
и лучше,*

*чем этот скромный сборничек стихов
с таким названием светлым –
«Свет насущный»,
освобождающий от мрака и грехов.
Войдите в строки –
и замрет округа,
и в радость распахнется настежь дверь,
и станет вдруг родной его Ветлуга,
и милой сердцу старенькая Тверь.
С таким вниманьем,
бережно,
любовно
рисует Русь, поет ее поэт,
что принимаешь сразу,
безусловно
и чувствуешь
насущный этот свет.
До каждой капли,
чистой и лучистой,
до родинок
на теле у берез
он преподносит
этот свет искристый,
струящийся от Родины росистой,
и глаз ее,
и неизбывных слез...*

92

МОСКВИТИН Сергей Владимирович родился 4 февраля 1967 года в городе Дальнереченске Приморского края, но родиной своей считает город Ленск в Якутии, куда переехал вскоре после рождения. Окончил Казанский авиационный институт. Работал журналистом в газете «Ленский вестник». Руководил литературным объединением Ленского района «Фламинго». Публиковался в журналах и альманахах «Родная Ладога», «Енисейка», «Причал», «Городской журнал», «Союз писателей», «Неман», в «Литературной газете». Автор 27 книг поэзии, публицистики, литературоведения. Главный редактор альманаха «Вилуйские зори» (Якутия). Член Союза журналистов, член Союза писателей России. Живет в Ленске.

КОРОВА

*Корова!.. Разве можно
представить Россию без коровы?
С. Есенин*

*Ее с утра пастись не отпустили,
Не дали сена свежего копну.
Понять происходящее не в силе,
Она мычала в муторном плену.*

*Из года в год с покорностью воловьей
Она дарила детям молоко.
Свое предназначение коровье
Несла по жизни честно и легко.*

*Худая жизнь всему тому причиной,
Долги, нехватка денег ли, падеж?
Хозяин добросовестной скотины
Кормилицу решил пустить под нож.*

*Голодная, в предчувствии недобром,
Она сопротивлялась злым рукам,
Но руки били палкою по ребрам,
По холке, по негнущимся ногам.*

*Веревки впилась в скрученное тело,
Повязка скрыла дикие глаза.
Она мычала страшно, очумело.
Из-под повязки брызнула слеза.*

*Удар! Корова рухнула в бессилье,
И мир перевернулся, сам не свой...*

*Не так ли и тебя, моя Россия,
Ведут лихие силы на убой?*

ЖУРАВЛИНАЯ ИСТОРИЯ

*Все начиналось с девочки. Однажды
Она болезнь мечтала одолеть,
Но сотни журавлей ее бумажных
Не победили атомную смерть.*

*Теперь она стоит на постаменте,
И бронзовый журавль в ее руках,
Как журавлиный клин из киноленты,
Как крик душевный, рвется в облака.*

*Трагедия войны звенит набатом
И бьет во все колокола Земли.
В Японию летит Расул Гамзатов –
И в жизнь его влетают журавли.*

*Пути Господни неисповедимы
И творчества божественный полет,
Но песня начиналась с Хиросимы,
С ее печальных и протяжных нот.*

*Стихи, переродившись в русской речи,
В мелодии бессмертье обрели.
И вот, расправив крылья, словно плечи,
Летят, летят солдаты-журавли.*

*Смешались в песне Гребнев и Гамзатов,
Ян Френкель, незабвенный Марк Бернес.
Скорбь по погибшим на войне когда-то
В мелодии взлетела до небес.*

*От острой грусти никуда не деться.
Летя путями творческих аллей,
Прошли слова и музыка сквозь сердце
И превратились в белых журавлей.*



**Владимир
МАКСИМОВ**

**ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА...**

Повесть



*Не ищите факты,
люди видят их по-разному,
лучше ищите дух. Дух важнее,
чем факты.*

Гилберт Честертон

*Умные люди очень редко
бывают счастливы...*

Эрнест Хемингуэй

С изречением Гилберта Кита Честертона, приведенным мною в первом эпиграфе, предшествующем сему не рожденному пока повествованию, я вполне согласен. Поскольку и сам, причем неоднократно, когда писал какую-нибудь вещь, убеждался в том, что дух некоего события, порою очень далекого и почти уже забытого, бывает значительно точнее и важнее фактов, хронологии – его формальных деталей. И если ты почувствовал, поймал этот дух во всех его хранящихся где-то глубоко в памяти ощущениях и переживаниях, рассказ у тебя непременно получится. Даже в том случае, если ты не помнишь точно – ни в каком году произошли те или иные события, ни точных имен и

фамилий так называемых «действующих лиц и исполнителей». А самое существенное в данном процессе, что и читатель тоже сумеет почувствовать то, что чувствуешь ты. Этот аромат времени, пусть и не привязанный, в общем-то, ни к какой конкретике.

97
Что же касается второго изречения, найденного мною совсем недавно у любимого и, казалось, не единожды прочитанного полностью Эрнеста Хемингуэя, то оно меня не то чтобы расстроило, но как-то обескуражило, насторожило, озадачило, что ли. Заставило призадуматься, словом: «А не дурак ли я?» Поскольку считаю себя, несмотря ни на какие жизненные перипетии, даже трагические, человеком все-таки счастливым. Хотя бы оттого, что могу заниматься своим любимым делом, приносящим мне невыразимую радость. Писать рассказы, останавливая тем самым – по собственному желанию и усмотрению – само время. Запечатлевая его, будто консервируя, в некой неизменности. Как бы фотографируя моменты жизни

МАКСИМОВ Владимир Павлович родился 29 июня 1948 года в селе Кутулик Иркутской области. Окончил охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института и Литературный институт им. Горького. Учился в аспирантуре Зоологического института в Ленинграде. Работал на биологической станции на Белом море. Участвовал в морских экспедициях в Тихом океане, Японском, Беринговом и Охотском морях. Работал в Лимнологическом институте на Байкале. Печатался в журналах «Байкал» (Улан-Удэ), «Сибирь» (Иркутск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Юность», «Роман-журнал. XXI век», «Москва», «Наш современник» (Москва), «Всерусский собор» (Санкт-Петербург), «Дальний Восток», «Родное Приамурье» (Хабаровск), «Врата Сибири» (Тюмень), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Florus» (США). Автор 16 книг стихов и прозы. Член Союза журналистов и Союза писателей России. Живет в Иркутске.

(своей или чужой) то на цветную, то на черно-белую пленку...

Но ведь и Хемингуэй имел ту же счастливую возможность – писать рассказы, то есть творить. Создавая иные, новые миры, ранее никогда и нигде не существовавшие...

Более того, он даже написал об этом чудесную книгу – «Праздник, который всегда с тобой», над которой начал работать в 1956 году и которая вышла в 1964-м, после его смерти. Книга эта о Париже, о молодости самого автора и его жизни в этом прекрасном городе в начале двадцатых годов двадцатого века. Но в центре повествования здесь все-таки не Париж, о котором Хемингуэй написал с такой любовью. И не художники-модернисты, начинающие заявлять о себе в полный голос, со многими из которых Хемингуэй был знаком. Это и не сам автор книги, и не его первая жена Хэдли, с которой они жили в небольшой квартирке на улице Кардинала Лемуана, 74, около площади Контрэскарп. Об этом их жилище Хемингуэй потом напишет: «Здесь не было горячей воды и канализации. Зато из окна открывался хороший вид. На полу лежал хороший пружинный матрац, служивший нам удобной постелью. На стене висели картины, которые нам нравились. Квартира казалась светлой и уютной». И, несмотря на то что жили они весьма бедно (особенно после того как Хемингуэй бросил журналистику и занялся только писательством), оба были счастливы. И к почти ежедневному своему основному блюду – луковому супу – непременно покупали бутылку дешевого красного вина, не особо переживая из-за скудости такого питания. Ибо их грела мысль о том, что скоро Эрнест непременно станет настоящим писателем. И не просто писателем, а чемпионом в области литературы, как он сам о себе говорил.

Этой уверенности способствовало то, что рассказы Хемингуэя явно выделялись в тогдашнем общем литературном потоке своей искренностью, правдой жизни, яркостью образов и какой-то необычайной свежестью. Что, пожалуй, одним из первых, еще в Америке, заметил Шервуд Андерсон, считавшийся в то время почти уже классиком американской литературы. В своем рекомендательном письме к жившей в Париже влиятельной писательнице Гертруде Стайн (двадцатидвухлетний Хемингуэй, успев уже побывать на Первой мировой войне, в Италии, в 1922 году опять отправился в Европу,

став собственным корреспондентом канадской газеты «Торонто дейли стар») он утверждал, что молодой писатель «инстинктивно связан со всем настоящим, что есть в этом мире». И, несмотря на то что у Хемингуэя почти всегда в начале работы над текстом появлялась затаенная тревога, удастся ли ему рассказ, сможет ли он его вообще дописать до конца, да еще как следует (сомнения подобного рода присущи, впрочем, любому пишущему человеку), это никогда не останавливало начинающего автора. За первые двадцать месяцев жизни в Париже он отослал в газету, в которой работал, 88 (!) рассказов. Он был молод, здоров, у него была прекрасная жена, любимое дело. Они жили с Хэдли, которая была старше его на восемь лет, в прекрасном городе. И самое главное, они любили жизнь и друг друга. Получая и от того и от другого немалое удовольствие...

Книги для чтения (в основном русских классиков – Толстого, Достоевского, Тургенева) Хемингуэй брал целыми пачками в лавке «Шекспир и компания» у своей приятельницы Сильвии Бич – американской писательницы и издателя. Она не только предоставляла Хемингуэю литературу, но и нередко ссужала его деньгами. И часто утешала, когда он сетовал, что его рассказы покупают разве что в Германии и почти совсем не берут на родине.

– Слушайте, Хемингуэй, – говорила Сильвия, – не думайте о том, сколько вам сейчас платят за рассказы. Важно то, что вы можете их писать...

(И она оказалась абсолютно права: позже, уже в Америке, за рассказ «Один рейс» Хемингуэю заплатят пять с половиной тысяч долларов. По целому доллару за слово.)

Именно об этом – о любимом занятии, создании рассказов – и написана книга «Праздник, который всегда с тобой». И ключевой фразой в ней, открывающей двери счастья, была такая: «Этот блокнот и карандаш принадлежат мне. А я принадлежу им...» И в действительности, кстати, довольно часто происходит именно так. С какого-то момента ты начинаешь ощущать, что не ты выстраиваешь рассказ, а сам рассказ, уже начавший жить по своим неведомым законам, начинает выстраивать тебя. Поскольку настоящий рассказ – это не реализация какого-то четкого, продуманного до мелочей плана, а некие вылившиеся на бумагу неясные, тревожащие душу ощущения. И порою получается, что

только еще зарождающееся произведение буд-то бы своей собственной волей отметаает в сторону то, что намеревался сказать автор. Унося и самого автора в неведомом, невидимом потоке на какой-то необитаемый, сказочный, чудесный остров в океане, о существовании которого создатель рассказа даже не подозревал...

И все пунктирно намеченное, еще не высказанное и, как тебе кажется, сокровенное ты вынужден оставлять на потом. Чтобы перенести уже в другой рассказ. Который в итоге тоже, как правило, оказывается незавершенным, недописанным до конца, как и предыдущие твои рассказы. И так до бесконечности. То есть до конца жизни. Поскольку полностью законченных произведений попросту не бывает. Как не бывает и полностью законченной жизни. В них, рассказах, всегда должна быть перспектива на будущее. Сразу вспоминается святой Августин: «Настоящее прошедшего – память. Настоящее настоящего – созерцание. Настоящее будущего – ожидание. А все это вместе – отсутствие времени или нашего представления о нем».

Именно вневременность, где есть и прошлое, и настоящее, и будущее, и является признаком настоящего рассказа. Такого, например, как рассказ Хемингуэя «Что-то кончилось». Это произведение из раннего сборника писателя «В наше время», вышедшего в 1925 году, по моему мнению, будет современно всегда – как раз потому, что время в нем будто отсутствует. А чувства героев, Ника и Марджори, подлинны и трогают читателя, будь на дворе 20-е годы XX века (когда был написан рассказ) или 20-е годы века нынешнего, двадцать первого.

Что и говорить, писалось «старине Хэму» в начале его творческого пути, в Париже, очень хорошо. И это был действительно праздник, прежде всего – праздник духа.

А вот на Кубе, где уже всемирно известный писатель жил в пятидесятых годах прошлого века со своей четвертой (и, кажется, не столь уже горячо любимой, как первая жена Хэдли) женой Мэри Уэлш в своем поместье «Финка-Вихия» под Гаваной, Хемингуэю писалось уже не так легко и просто – особенно в последние годы. И проза из-под его пера (точнее, карандаша, поскольку писать он любил именно хорошо заточенным карандашом) выходила порою уже не такая свежая, как прежде. Хотя и очень хорошие книги («По ком звонит колокол», тот же «Праздник, который всегда с тобой») были соз-

даны на Кубе, где Хемингуэй в общей сложности прожил более двадцати лет. Но и «Острова в океане» – книга средненькая – была написана там же. А середнячком (в чем угодно – будь то борьба на руках или ловля большой рыбы) Хемингуэй быть не хотел. Это его не устраивало. Однако ощущение, что писательский дар, как песок между пальцев, куда-то уходит, все чаще посещало его, делая мрачным...

Впрочем, повесть-притча «Старик и море», написанная в 1952 году, за которую писатель в 1954-м получил Нобелевскую премию в области литературы, тоже создавалась на Кубе. Но даже эта повесть, главным в которой, по словам самого автора, было то, что «земля пребывает вовеки», и где показан стоицизм человека перед лицом Судьбы, когда он должен сохранить мужество и достоинство в любых обстоятельствах, на мой взгляд, гораздо слабее его ранних рассказов. Таких ярких. Таких кристально чистых, свежих, словно большие капли утренней росы на ровно подстриженных газонах парижских скверов под первыми лучами восходящего солнца, играющими в этих каплях всеми семью цветами радуги. И сам Хемингуэй, по-видимому, это понимал.

А после пятидесяти пяти лет его начали доносить не только сомнения в своем таланте, но и болезни. Ухудшилось зрение. И Хемингуэй порою не только не мог писать, даже читать ему было трудно. А ведь он сам всегда говорил, что «каждый человек рождается для какого-то дела». И вот этого любимого дела у него, по сути, не стало. Не оттого ли он и выстрелил себе в голову из одного из своих охотничьих ружей? Подтвердив столь безоговорочно свое же утверждение: «Мужчина не должен умирать в собственной постели. Или в бою, или пуля в лоб...»

Да, несомненно: лучшее успокоительное средство от всех проблем – это смерть. Но лишь в том случае, если ты атеист и в бессмертии не веришь.

Впрочем, вообще неверующих людей не бывает. Просто вера у всех разная. Кто-то верит в себя. Кто-то верит в Творца. Кто-то верит в Судьбу, в Рок. Хотя все-таки, даже плывя на корабле под названием «Судьба», хочется быть на нем капитаном. Атеист же верит в некую идею. И в то, что весь этот прекрасный мир сотворился как-то сам собой. И его можно, не ис-

портит (хотя практика показывает как раз обратное), преобразить...

Был ли Хемингуэй атеистом?

Скорее всего, да. Хотя и принял католичество (вероятно, формально, по требованию будущей жены, ревностной католички) перед своей второй женитьбой – на Полин Пфайффер. По крайней мере, именно ему принадлежит высказывание: «Все мыслящие люди – атеисты». Но известно и другое его изречение, вызывающее сомнение в приведенном выше: «Не судите о человеке по его друзьям, не забудьте, что у Иуды друзья были безупречны»...

Впрочем, не будем слишком задерживаться на сложных богословских вопросах, ибо, по моему убеждению, каждый мыслящий человек непременно придет к мысли о Творце, и перейдем к темам житейским, хотя порою и отнюдь не более легким.

Например, Хемингуэй довольно рано и правильно осознал многие вещи, до которых иные люди добиваются лишь на закате жизни.

Речь прежде всего о непрестанной погоне за удовольствиями богатых людей (к которым так тянулся друг и соперник Хемингуэя по литературному творчеству Скотт Фицджеральд, не раз восклицавший: «Богатые – это совсем другие люди, они не похожи на нас с вами»; соглашаясь с ним, Хемингуэй только добавлял: «Да, у них денег больше»). Многие богачи стремятся к тому, чтобы каждый день превратить в беззаботное веселье, праздник. И хотя на какое-то время и сам Хемингуэй увлекся подобными веяниями, очень скоро он осознал, что такое бесцельное времяпрепровождение – это не жизнь, а иллюзия жизни. И что это не праздник, а лишь суррогат праздника. Вовремя понял он и то, что деньги – даже большие деньги – не тождественны счастью. Или, как сказала писательница Франсуаза Саган, это груз, мешающий набрать высоту. Они хороший слуга, но очень плохой хозяин.

И кстати, она же не раз повторяла: «Я недостаточно себе интересна, чтобы выносить себя больной или в унынии...»

Испытывал ли уныние, безысходную тоску Хемингуэй, когда 2 июля 1961 года в своем доме в городке Кетчум, штат Айдахо, подвел к подбородку дуло любимого итальянского охотничьего ружья, я не знаю...

Никакой предсмертной записки он не оставил.

Но если верить словам его последней, четвертой жены Мэри, предотвратившей уже однажды попытку самоубийства мужа и настоявшей после этого, чтобы он лег в клинику, Хемингуэй не просто испытывал тоску – он был в постоянной депрессии.

Вот как Мэри писала о том периоде жизни своего мужа: «Хемингуэй стал полной противоположностью тому, кем он был раньше – из общительного, полного жизни человека с бьющей через край энергией он превратился в замкнутого и молчаливого...»

От депрессии его пытались лечить в «клинике широкого профиля» в городке Рочестер. Электрошоком. И вот как сам Хемингуэй оценил результаты подобного лечения: «Эти врачи, что делали мне электрошок, писателей не понимают... Какой смысл был в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, которая представляет собой мой капитал, и выбросить меня на обочину жизни?»

Таким образом, праздник, который всегда был с ним, закончился. А быть на обочине жизни Хемингуэй не хотел. И...

Впрочем, то, что последовало за «и...» – это какое-то проклятие семьи Хемингуэев. Поскольку точно так же в 1928 году закончил жизнь и его отец – выстрелив в себя из ружья. И этот поступок отца писатель всегда осуждал. А более чем через двадцать лет после кончины самого Эрнеста покончил жизнь самоубийством и младший брат писателя Лестер. Тоже писатель, во всем пытавшийся подражать старшему брату. Покончила с собой, приняв смертельную дозу снотворного, и внучка Хемингуэя Марго – дочь его первенца...

Что же касается нашего героя, то в его судьбе особо важным представляется тот факт, что до своей кончины он успел убить очень много всякого зверья. Особенно на сафари в Африке, куда так любил ездить. Его добычей становились слоны, антилопы, львы. И не исключено, что уже в самом себе он хотел убить какого-то последнего, ведомого только ему зверя...

Недаром же упомянутая мною французская писательница Франсуаза Саган (тоже, как и Хемингуэй, начавшая свое литературное творчество очень ярко и очень рано) говорила о писательском труде так: «Писатель – дикий зверь, запертый в клетке наедине с собой. Он выглядывает – или не выглядывает – наружу в за-

висимости от того, находится ли у него на это время».

То есть писатель почти всегда живет в некоем им же выдуманном, иллюзорном мире, хотя и очень похожем на мир реальный. Правда, не на тот, какой он есть. А на тот, каким он должен быть. И, лишившись этого своего мира, он непомерно страдает. Поскольку именно об этом, о преобразовании мира, и думает постоянно настоящий литератор. Не имея ни выходных, ни отпусков – в обычном понимании этих слов как отдыха от работы. Ибо он работает всегда, фактически круглосуточно (иногда даже во сне), прокручивая в голове те или иные детали будущего произведения. Оттачивая и шлифуя мысленно отдельные фразы. Запоминая всевозможные детали, черты людей, их поступки, необычные или обычные явления природы. Как бы говоря себе: «Это надо обязательно запомнить. Это может мне пригодиться...»

Не удержусь и приведу еще одну цитату Франсуазы Саган из книги «Не отрекаюсь». Вышедшей совсем недавно, в 2018 году, увы, уже после смерти самой писательницы. В книге этой собраны все интервью, данные ею различным изданиям. И в одном из них она развивает как раз ту тему, которой я коснулся лишь вскользь. Тему иллюзорности, фантастичности писательского мира. Вот что Саган говорит по этому поводу:

«В поисках утраченного времени» – моя любимая книга (об этой книге Марселя Пруста и я, кстати, могу сказать то же самое, как, впрочем, и о некоторых романах самой Франсуазы Саган, таких, например, как «Здравствуй, грусть» и «Немного солнца в холодной воде»; в последней книге особенно чувствуется, что от свободы романа, всеохватности его и самому автору становится порою как-то страшновато. – *В. М.*), написанная совершенным лжецом. Все изменено, преобразено. Это одно из самых прекрасных произведений – и самых правдивых, потому что Пруст глубоко сжился со своей ложью... (Я бы сказал – фантазией. – *В. М.*) Когда установится равновесие между ним истинным и им написанным, писатель перестанет писать. Писатель – вдохновенный лжец, фантазер, безумец; уравновешенных писателей не бывает».

И «старина Хэм», с его энергией и темпераментом, конечно же, не был человеком уравновешенным. Как, скажем, и наш великий писатель Михаил Александрович Шолохов, призна-

вавшийся в том, что, когда он писал роман «Тихий Дон», его рука не раз так сильно сжималась в кулак, что костяшки становились белыми. А сжималась она, до хруста в костях, от горя и горечи, от безысходности. От осознания бессмысленности любой гражданской войны, когда, разведенные опытными кукловодами – так называемыми революционерами, – граждане одной страны воюют друг с другом. Брат убивает брата, отец – сына, сын – отца и так далее и так далее. И нет в такой войне, и не может быть победителей. Или, как писал Хемингуэй: «Победитель не получает ничего...»

Но вернемся все же к нашей теме – праздника, который всегда с тобой. Беря за основу прежде всего то, что такой праздник может подарить любимое занятие. И когда оно по каким-то причинам исчезает, в душе образуется вакуум, безмерная, сосущая душу пустота, порождающая в свою очередь безмерную тоску...

Недаром же Хемингуэй говорил о себе: «День, в который я не пишу, я сам себе отвратителен». А писал он обычно часов с шести утра до часу дня. Примерно по десять страниц.

А если пишешь и чувствуешь, что это не то?

Хемингуэй всегда очень точно мог почувствовать подобное. Недаром же концовку своего романа «Прощай, оружие!» он переписывал 39 (!) раз. И когда кто-то из коллег спросил его, что в этом процессе было самое трудное, он отвечал: «Самое сложное было подобрать нужные слова». Или, как говорил английский поэт Китс о любом художественном произведении: «В нем должны быть единственно верные слова, расставленные в единственно верном порядке». А сколько разных комбинаций этих слов? Неисчислимо множество. И что может быть хуже для творческого человека, как не найти эту единственно верную комбинацию, единственно правильную ноту, чувствуя изъязны в тексте?..

От такого состояния обычно и возникает бессилие и усталость. А еще приходит ощущение, будто сквозной ветер выхолаживает твою душу, свистит в ней. И нет ей покоя и удовлетворения от проделанного никчемного труда. Потому что нет гармонии не только в твоём тексте, но и между тобой и окружающим тебя миром.

Только ветер. Бесприютный ветер повсюду и внутри тебя...

И ничего ты уже не можешь предложить читателю, чего бы он сам о себе не знал. А потче-

вать его кисельком, к тому же жиденьким (чем нередко бывают произведения многих авторов, пишущих скорее по инерции, не от души), совсем не хочется.

И именно в такие минуты ты понимаешь, что уже не в состоянии создать своего мифа, а можешь лишь констатировать некие факты. Но факт – это временное создание, то, что бывает «когда». А миф – это то, что «всегда». То есть при удаче – некая самая правдивая реальность. Тем более что настоящее произведение – это, несомненно, победа автора прежде всего над самим собой.

Итак, вроде бы понятно, что первым непременным условием праздника, который всегда с тобой и в тебе, является наличие любимого занятия. Об этом, к слову, давно говорил и Конфуций: «Найди себе дело по душе, и ты ни одного дня не будешь работать». Другими словами, не стоит принуждать себя к деланию того, к чему душа твоя не лежит. И, напротив, следует заниматься только тем, от чего ты получаешь удовольствие.

Правда, сказав только о деле, пусть даже очень любимом, нельзя исчерпать поднятую нами тему душевного комфорта и равновесия. И, несмотря на то что писатель в жизни своей почти всегда одинок, он не может полностью отгородиться от общества. Жить в обществе и быть свободным от общества и впрямь невозможно, как бы ни хотелось этого творческому человеку.

Человек, хотим мы того или не хотим, это все-таки «общественное животное». Как, скажем, те же пчелы, муравьи, термиты. Правда, в отличие от них, наделенное интеллектом. Позволяющим оценивать поступки и действия не только себе подобных, но и свои собственные. И если человек честен перед самим собой, то, пожалуй, самые нелицеприятные оценки он чаще всего и дает самому себе. Ибо никто, даже самые близкие нам люди, не знает, каковы мы есть на самом деле. Знает только Творец. Перед которым мы за все свои прегрешения в свое время и ответим. Недаром же в Ветхом Завете Царство Божие названо «Гмар Тиккун», что означает «конечное исправление»...

Впрочем, если говорить о вере, к которой я снова ненароком вернулся, то она, на мой взгляд, для каждого индивидуальна.

Апостол Павел считал так: «Вера – это осуществление ожидаемого».

Наш нынешний патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорит: «Вера – это уверенность в существовании чего-то, что нельзя проверить опытом».

Для меня же вера – это верность самым светлым своим идеалам или некоторым моментам собственной жизни, когда ты был на высоте в некотором духовном смысле этого слова. И какими, почти без исключения, бывают до какого-то времени дети, еще не принимающие всерьез так называемых законов нашей жизни. И способные без всякого давления и принуждения, с полным доверием уразуметь такую всеобъемлющую заповедь Христа: «Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами». И ведь разве не об этом же мечтал Достоевский, убежденный в том, что если все люди станут жить по заповедям Христовым, то мир сразу же, в одночасье, изменится к лучшему? Без всяких потрясений и революций!

А рай, опять же по-моему, это просто гармония человека с окружающим его миром. Но именно такой гармонии в современном обществе и мире как раз и нет. И по отношению к природе, когда чистоган правит бал. И по отношению к вековым (в первую очередь нравственным) законам и табу, повсеместно нарушаемым ныне. Особенно в западном, так называемом «цивилизованном» мире. Где мораль и нравственность являются уже понятиями почти анекдотичными, высмеиваемыми, как пережитки прошлого.

Что говорить, если даже знаменитое изречение Ювенала в таком мире в угоду себялюбию было перевернуто с ног на голову. И провозглашено так: «В здоровом теле – здоровый дух!» Где на первое место поставлено тело, а не дух. У Ювенала же сказано иначе: «Надо молить, чтобы ум был здоровым в теле здоровом». А в книге «Сатир» он, развивая ту же тему, поясняет: «Пусть физические упражнения сопутствуют (только сопутствуют, а не превалируют! – В. М.) духовному развитию, которое должно быть приоритетно. Бодрого духа проси, что не знает страха перед смертью, чтобы почитать за дар природы предел своей жизни...»

Современный же среднестатистический человек ныне повсеместно не за праздник духа, а за праздник комфорта, плоти и живота, причем любой ценой. И продемонстрировать сии приметы нашего времени, увы, не составит никакого труда. Это и безжалостная вырубка лесов,

дающих нам кислород. И бездумное загрязнение рек и озер, призванных питать нас чистой водой. Это и однополые браки. И чрезмерно толстые человекообразные существа, едва способные передвигаться самостоятельно, но продолжающие тем не менее жрать всевозможные гамбургеры и прочую дрянь, подобно «желудочно-неудовлетворенному кадавру» из повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

И реакцию на эти современные реалии и «прелести», в большей степени присущие пока все-таки только так называемому цивилизованному миру, можно, с точки зрения нормального человека, описать словами Андрея Платонова: «заскорбев душой от недоброкачества жизни». От которой неизбежно наступает преждевременная смерть, поскольку законы природы, данные нам свыше, нарушаются. И нормальный человек от многих подобных вещей испытывает, словами Евгения Николаевича Трубецкого (религиозного философа, правоведа, общественного деятеля, еще в девятнадцатом веке поставившего точный диагноз потребительскому обществу), «нравственную тошноту». Слово от созерцания разлагающегося трупа. Ведь это состояние несовместимо с жизнью, протекающей по своим неизменным природным и нравственным законам.

Всякая же смерть, даже самого простого человека, – это, по сути, и есть конец света. Частный или всеобщий. Конец истории. Победа зла над добром. Темных сил над светлыми. То есть отказ от Бога, от Христа, единственного пока, кому удалось победить смерть. Тем более что «апокалипсис, – как утверждал наш знаменитый режиссер Андрей Тарковский, – это не внезапный акт. Он уже давно наступил...»

Стоит только уточнить, что подобное действие, к счастью, пока еще не повсеместно. И произошло оно лишь в некоторых наиболее обезбоженных странах, где пороки (не прямо, конечно, а косвенно, прикрываясь так называемой толерантностью и правами человека) возводятся в ранг государственной политики...

Однако я отвлекся. А потому постараюсь вернуться к основной нашей теме – настоящего праздника. Которого не бывает еще и без доброго отношения людей друг к другу – близких ли, далеких, знакомых или не знакомых вовсе. И без некоего радостного ощущения внутри себя от такого доброго общения.

Я, например, всегда считал себя оптимистом. Порою немного грустным, но неисправимым. То есть человеком со светлым, праздничным, позитивным мировосприятием и мироощущением. Может быть, потому и искренняя (не приклеенная, как у иностранцев) улыбка при встрече со знакомыми людьми сразу же непроизвольно возникала на моем лице?

Впрочем, так бывало не всегда.

После смерти моей жены Наташи улыбка надолго, года на два исчезла с моего лица и появилась после не сразу и весьма неохотно. Мне вообще в тот трагический период жизни (полностью согласен с Хемингуэем: «Нет человека более одинокого, чем тот, кто пережил любимую») казалось, что не то что искренне рассмеяться, но даже просто улыбнуться в ответ на приветствие доброго знакомого я уже никогда не смогу.

Поэтому и люди, не знающие о моей трагедии, не совсем близкие мне, нередко говорили при встрече: «Ты стал какой-то не такой. Слово лицо у тебя чужое. Не человек-праздник, каким был всегда».

Здесь, думаю, уместна еще одна цитата – из романа Анри де Ренье «Титанические усилия Тито Басси» (1916): «...от всего веяло грустью, свойственной местам, из которых уходит жизнь...»

Вот и из меня в тот период времени жизнь как бы уходила, поскольку смысла в ее продолжении (кроме заботы о сыне, которого нельзя было оставить совсем одного в этом жестоком мире) я не видел. И помню, как долгое время испытывал почти реальное ощущение, что у меня без всякого обезболивания, грубо и бесцеремонно ампутировали половину души. Которая была до того чем-то целостным и неразделимым с душой Наташи. И вот это разлучение душ произошло. И процесс этот, скажу я вам, весьма болезненный, с долго незаживающими, кровоточащими рубцами и ранами.

И только наш извечный лекарь время да еще работа постепенно сумели залечить эти раны. И все неторопко, постепенно вернулось на круги своя. В том числе и всегдашняя моя улыбка и даже порою радостный смех.

А через пять лет после кончины Наташи у меня появился первый внук – Костик. А еще через два года и второй – Сашуня. И оба они настоящие мальчишки. Этакое веселые сорванцы, каким и я был в своем теперь уже далеком

и почти нищенском детстве. Но с постоянной радостью от ощущения этого чудесного мира, несмотря на вечно содранные коленки и синяки...

И очень жаль, что Наташа до появления внуков (о чем мы оба с ней мечтали) не дожидилась...

Но о них – этих славных веселых сорванцах – я расскажу чуть позже, поскольку это такая огромная составляющая праздника, который всегда с тобой. Пока же продолжу о том, почему я оптимист, но с грустинкой.

Да, оказывается, бывает и такое. И даже человек с позитивным, радостным мироощущением может видеть серые и даже темные тона, которыми в основном и окрашены будни большинства наших сограждан.

Я же стараюсь в этих тонах отыскать (и нередко нахожу, как ни странно) что-то светлое. И к самой безвыходной ситуации стараюсь относиться по принципу: «Живи как можешь. Если не можешь как хочешь». Это – во-первых.

А во-вторых, как говорил один из любимых мною писателей Честертон: «Нельзя быть в полной мере пессимистом или оптимистом, ибо и пессимизм и оптимизм в равной мере противоположны надежде». А я все-таки надеюсь на человека, на его разумность. Хотя по действиям современных людей, по некоторым их дикарским поступкам это становится с каждым годом, увы, все труднее – сохранять надежду и веру в человека. Просто потому, что нынешнему миру стремятся привить единую «культуру» – культуру «Макдоналдса», не требующую никакого понимания и умственных усилий. Ведь именно такая, потребительская, культура, где важен лидер, а не герой, быстро приносит доход. А для большей части современного мира это главное. Однако бизнес, по словам выдающегося ученого Сергея Сергеевича Аверинцева, не та кафедра, когда можно не беспокоиться за молодежь. Бизнес оглупляет людей, а карьера всегда перекашивает в одну сторону. И люди, занимающиеся подобными делами, как правило, наделены каким-то невеселым умом.

И в-третьих. На любые, даже самые неприглядные вещи я пытаюсь (не всегда мне это, правда, удается) смотреть с юмором и самоиронией. Руководствуясь самурайским принципом: «Если ты не потерял жизнь – ты ничего не потерял». И значит, можешь начать все сначала.

Одним словом, я оптимист, но не настолько...

И грусть моя по большей части проистекает из того, что я не в силах не то чтобы победить, но даже и приостановить реальное время. Хотя порою мне так этого хочется...

Но время сильнее меня. И тех дорогих мне мест и дней в их неизменном виде (а вернее, в том состоянии, в каком мне удалось их застать) в большинстве своем уже не существует. Подобно блистательной Атлантиде, погрузившейся в воды океана, они скрыты теперь в глубинах моей памяти. Где я все еще маленький, любознательный, любящий весь мир, озорной мальчишка. Почти такой же, как мой старший внук Костя, родившийся в 2014 году, через шестьдесят шесть лет после моего рождения. И которому нынешним летом, когда мой сын со всем своим семейством (он сам, его жена Света и оба их детеныша) приезжали на целый месяц ко мне на дачу, было чуть больше четырех лет...

И иногда, глядя на своих внуков, таких веселых и счастливых, находящихся еще в стадии бессмертия, поскольку они, как и другие дети, лет до пяти обычно не задают себе и нам вопросов о времени, мне становится жаль только одного – что мы не можем всё вместить и всё любить...

Кстати, совсем недавно еще, в связи с моим надвигающимся семидесятилетием, довольно юная журналистка одной из областных газет брала у меня интервью. И я ненароком обидел ее, заметив, что мне, как человеку, более тридцати лет профессионально занимавшемуся журналистикой, ее вопросы кажутся довольно примитивными. Ведь у писателя можно спросить о чем-нибудь более существенном, небанальном. Хотя на банальностях и держится мир...

Мгновенно надувшись на мое замечание, девушка, видимо, решила меня проучить. И, поджав губки, спросила: «А вы не боитесь (она назвала меня по имени-отчеству) впасть в детство? Возраст-то у вас уже не маленький...»

– Нет, деточка, не боюсь, – ответил я ей вполне миролюбиво и искренне, – поскольку я из него никогда не выпадал. Более того, Пикассо, это знаменитый испанский художник, живший, впрочем, в основном в Париже (на всякий случай уточнил я для своей юной собеседницы, поскольку, судя по ее предыдущим вопросам,

она очень поверхностно разбиралась в искусстве вообще и в литературе в частности), утверждал: «Нужно очень много времени, чтобы стать молодым». А для настоящего писателя это состояние молодости, а еще лучше – не замутненное последующей пошлостью состояние детского восприятия мира вообще очень ценно. Ибо он, писатель, будто двуликий Янус, смотрит одновременно и в прошлое и в будущее. Точнее, он из прошлого выуживает будущее. О чем еще в семнадцатом веке говорил английский писатель и политик Джордж Сэвил, писавший под псевдонимом маркиз Галифакс: «Лучший способ увидеть, что будет, – припомнить, что было...» Надеюсь, я вполне исчерпывающе ответил на ваш вопрос? – уточнил я, непроизвольно улыбнувшись своей собеседнице и снова жалея о том, что ненароком обидел эту симпатичную девчущку.

Она тоже (правда, чуть виновато) улыбнулась в ответ и задала следующий – очень хороший, на мой взгляд, вопрос:

– Похоже, вы человек светлый и веселый. А вам никогда не бывает тоскливо от реалий нашей жизни, в общем-то такой неустроенной?

– Бывает. И грустно, и печально, и тоскливо даже. Грустно бывает, когда я умом понимаю, что единственное, что мешает нам жить, – это наша собственная лень. Частенько, кстати, одерживающая верх над нашими благими намерениями. Правда, утешает то, что она преодолима. Но тем не менее иногда она побеждает и мои хорошие порывы – скажем, каждое утро непременно делать зарядку. И мне становится грустно от собственного слабоволия. Печально же бывает, например, от постоянно текущего на кухне крана, который я не могу починить, поскольку являюсь человеком абсолютно непрактичным в житейских делах. Так же печально мне бывает и от постоянно утекающего куда-то по своим, а не нашим делам времени. Которое я не могу остановить даже в самые прекрасные минуты своей жизни. Разве что в своих рассказах... А тоскливое чувство посещает меня, когда я вижу людей ничемных, постоянно ноющих, жалующихся на жизнь, судьбу, на обстоятельства, но ничего не делающих для того, чтобы все это как-то изменить. Ведь давно известно: «Времена не выбирают. В них живут и умирают». Или вот еще одна поэтическая цитата, которая мне тоже нравится: «Счастье любит смелых и отчаянных. К

ним оно стремится всей душой. А боится мрачных, опечаленных. Их оно обходит стороной». А можно еще припомнить и слова Твардовского: «Смерть – она всегда в запасе. Жизнь – она всегда в обрез». Именно поэтому и надо в полной мере использовать каждый миг своего не такого уж долгого в этом мире бытия, не растрачивая попусту отпущенное нам время. Помните, как об этом хорошо говорится в «Евгении Онегине»? «Мы рождены, – сказал Сенека, – для пользы ближних и своей. Нельзя быть проще и ясней. Но тяжело, прожив полвека, в минувшем видеть только след растрченных напрасно лет...» То есть надо делать все, что можешь и что должно для пользы своей и других. Не превращаясь раньше времени в старичков. Ибо старость, по словам Бориса Александровича Покровского, народного артиста СССР, лауреата шести Сталинских премий, – это нечто иное, чем возраст, о котором вы, в частности, у меня недавно спрашивали. Он говорил так: «Человек (если он человек, конечно) всегда сильнее, чем окружающая его жизнь; старости нет, старость приходит только тогда, когда у человека опускаются руки. А это может случиться в любом возрасте...» И это он говорил со знанием дела, когда ему самому было уже за восемьдесят. Одним словом, если ты любишь жизнь, то и она тебя будет любить. Формула счастья, как видите, очень проста. А то посмотришь на выражения лиц иных людей, порою совсем молодых, но потухших уже каких-то, словно с протухшими глазами. Послушаешь их ахи, охи, вздохи... И это порою уже с утра, когда весь мир пробуждается к новой жизни, даря нам что-то новое, неведомое, интересное! И подумаешь, что жизнь для таких людей – это не великое счастье, а великое несчастье. Некая скучная обязанность, на невзгоды которой они постоянно ворчат и сетуют. И такие люди, по моему убеждению, даже не пессимисты, а просто унылые, будто еще не проснувшиеся для истинной жизни, неведомые мне существа. Скучно и тоскливо жить с такими и в кругу таких. Правда, и для счастливой жизни, как сказал один очень видный ученый, к сожалению, не помню, кто именно, надо меньше думать о счастье. Воздерживаясь от вопроса: «Счастливы ли я?» Чтобы не наклеивать этим вопросом скорых отрицательных ответов и не коллекционировать потом эти ответы. Одним словом, надо просто жить полной жизнью. Хотя жить полной

жизнью, я понимаю, бывает совсем не просто в различных обстоятельствах, порою от тебя не зависящих...

Что же касается безысходности, почти отчаяния, то и я минувшим летом испытал это чувство в полной мере. В небольшом поселке на берегу Байкала, где у меня дача.

Причем на какое-то время у меня даже возникло стойкое ощущение, что это некое дежавю. Что я все это уже когда-то видел. Может быть, и очень давно, но видел. Хотя и понимал, что такого прежде со мной вроде бы не было.

А произошло следующее.

Поднимаясь по разбитой каменистой дороге из магазина, расположенного в широкой пади, к себе на гору, я встретил своего знакомого. Молодого человека, которого знаю с его подростковых лет. И в поведении которого я и прежде замечал, мягко говоря, некоторые странности. А именно неадекватность реакции на обычные в общем-то вещи. Что свидетельствовало о некоторых (правда, незначительных) психических отклонениях от нормы или нормальности. Из-за этого его в свое время даже не призвали в армию, куда он, кстати, очень стремился.

Так вот, он откуда-то спускался к своему дому, точнее, однокомнатной квартире с кухней в одном из длинных – семей на восемь – барачков, построенных при сооружении Кругобайкальской железной дороги для ее строителей еще при царе-батюшке в самом начале двадцатого века.

В квартире этой до недавнего времени проживало все их семейство: отец, мать, старший брат, сестра и сам Александр. Потом отца убили (была какая-то мутная, так и оставшаяся тайной история); сестра вышла замуж и переехала в город; старший брат выше по дороге построил дом, именуемый дачей, и жил там почти постоянно со своими охотничьими лайками. А Александр, окончивший лет десять назад семь классов в местной школе, дальше учиться не захотел и остался в квартире в бараке с матерью. По ее словам, ничем другим, кроме «глядения телевизора», не занимаясь.

А ведь это, если здраво рассудить, может иметь весьма негативные последствия даже для крепкой психики. Ибо что там, в телевизоре, можно теперь увидеть – глупые бесконечные сериалы? Сплетни разного рода о так называемых представителях московской тусовки

из шоу-бизнеса? Всевозможный негатив? Постоянную настырную рекламу?

Правда, справедливости ради надо сказать, что иногда Александр от экрана все же отрывался, заготавливая сено для коровы, которую они с матерью продолжали держать. Выкашивая каждое лето свои старые покосы, огороженные проволокой, натянутой на столбы в несколько рядов. Эти покосы располагались недалеко от моей дачи, на пологом склоне горы.

С отцом Александра Иннокентием мы в поселке считались приятелями, отчего и детей его я знал почти с детства. И он даже помогал мне одно время при строительстве дачи. Не стесняясь при этом воровать у меня с участка стройматериалы и даже инструменты, оставляемые мною на зиму в бане, где я жил, пока строил дом. Тем более что замочек на двери бани у меня был скорее для показу – хлипенький. И моему «приятелю» не составляло большого труда просто сломать его и взять то, что ему в данный момент было нужно. Краску, топор, гвозди ли... Не покупать же все это, в самом деле, самому! А один раз Иннокентий даже начал сдирать железо с крыши моей бани, поскольку оно ему срочно понадобилось: не хватало нескольких листов для крыши своего сарая.

Причем, проделывая все эти бесхитростные процедуры, он чувствовал полную свою безнаказанность, поскольку остановить его было просто некому. Поздней осенью и зимой гора, на которой летом жили в основном только дачники, пустела. И он был на ней полноправным хозяином...

Так вот, встретив на дороге Александра, которого я не видел уже довольно долго – года три, наверное, я не сразу и узнал его. Передо мною стоял симпатичный молодой человек лет двадцати пяти, крепкий, со свежим лицом, застенчивой улыбкой и окладистой русой ухоженной и очень идущей ему бородой.

Остановив свой быстрый, легкий шаг, он поздоровался со мной кивком головы и как-то даже строго спросил:

– Вы молитесь? Надо молиться! – и, не дожидаясь моего ответа, добавил: – Сейчас пост...

По-видимому, он имел в виду Петровский пост, который уже больше недели как закончился. И это говорило о великой путанице в его голове, где, будто на старом чердаке, много есть всего, в том числе и ненужного хлама.

Высказав свое пожелание и будто куда-то спеша, он продолжил свой путь вниз. А я – вверх. Пройдя еще немного, за поворотом я увидел еще одного своего местного знакомца – Андрея Дерябина. Некогда добротный дом которого тоже находился на нашей улице Горной.

Андрей сидел на лавочке у дороги, сбоку от калитки, ведущей в его «поместье», огороженное старым, почерневшим разнокалиберным штакетником.

Его отец в прошлом единственный из местных жителей в поселке тракторист. Лет десять назад он по пьяни попал под гусеницы своего же трактора. И ему, чтобы спасти жизнь, по пах ампутировали обе ноги.

Андрей в то время как раз вернулся из армии, отслужив положенных два года в строительных войсках. Я хорошо помнил его тогдашнего. В ладной шинели, подтянутого, улыбчивого, со здоровым румянцем во всю щеку. Было это, помнится, золотой, теплой осенью. А через несколько месяцев, зимой, отец его умер. Поговаривали – оттого, что ему нечем было опохмелиться...

В наследство он оставил Андрею и его младшему брату – подростку, получающему государственную пенсию по инвалидности, – добротный дом, сарай с живностью (двумя курами и петухом) и большое огороженное поле для картошки и прочей овощи.

И как-то удивительно быстро потом вся эта добротность начала исчезать. С каждым моим очередным приездом в Порт Байкал на лето разор усадьбы становился все заметнее. А тут еще Андрей, как он сам говорил, «подженился» на одной местной «профурсетке» – не в меру пьющей. От которой ее прежний муж, сварщик, сбежал в город...

С такой новой хозяйкой усадьба стала выглядеть еще более запущенной. Забор покосился и вот-вот готов был рухнуть на дорогу. Стекла окон в доме были давно не мыты и, наверное, едва пропускали свет. Хотя внутри тем не менее продолжали висеть тюлевые шторы – еще грязнее, чем окна, и, казалось, стоявшие колом. Видимо, об их стирке, так же как о мытье окон, в доме просто никто не думал.

Андрей сидел на лавке согнувшись, будто старик, обхватив голову руками. Невольно создавалось впечатление, что перед тобой смертельно уставший человек, проживший очень долгую и нескладную жизнь.

Лицо его почернело. От румянца не осталось и следа. А некогда озорные, веселые глаза будто потухли. И это было совсем не удивительно, поскольку все эти годы, вернувшись из армии и не найдя себе работы в поселке, он только тем и занимался, что пил всякую дрянь. Причем деньги на выпивку он добывал, как правило, из копеечной пенсии брата, которую почтальон приносил раз в месяц.

Младший брат, пока Андрей был в армии, тратил свою пенсию в основном на карамельки, которые очень любил. А кормились они с отцом, по сути дела, со своего огорода. Вот и теперь младший брат пытался припрятать куда-нибудь хотя бы часть пенсии, но это ему удавалось редко. Поскольку именно в день прихода почтальона и старший брат, и его сожительница старались быть дома. И, дождавшись, когда ненужный свидетель удалится, просто забирали деньги себе, пообещав подростку, что они сами купят ему карамелек.

И если раньше Андрей на эти деньги пил один, то теперь они пили на них вдвоем, что было значительно веселее. Но и кончались деньги в два раза быстрее. А если младший брат начинал хныкать, что ему не купили обещанных конфет, его быстро ставили на место, указывая на то, что он иждивенец, сидящий на шее старшего брата...

При этом не только усадьба быстро ветшала, превращаясь в халупу, но и сожительница Андрея из молодой и даже красивой женщины скоро превратилась в нечто совершенно неприглядное, с одутловатым лицом, выбитыми зубами и тонкими ногами. Став особой неопределенного возраста, лицо которой нередко теперь украшали свежие синяки то под одним глазом, то под другим, а то и под обоими сразу.

Что и на что пила эта «сладкая парочка» теперь, было абсолютно неясно, поскольку несколько лет назад младший брат Андрея повесился в недалеком от их дома березняке, на толстой нижней ветке раскидистого дерева...

– Привет, Андрей! – поздоровался я, поравнявшись с этим, кажется, уже вконец опустившимся субъектом, которого помнил еще человеком.

– Здорово, – отозвался он голосом хриплым и скрипучим, как ржавые петли на его калитке, раскачиваемой туда-сюда легким ветерком.

И поднял голову, глядя на меня какими-то остекленевшими, будто ничего не видящими и

не выражающими никаких эмоций, мутными глазами.

– Есть закурить? – спросил он с трудом.

– Я же не курю – ты знаешь, – ответил я, решив немного передохнуть на середине пути.

– А-а, забыл, – выдал он из себя. И с надеждой, будто простонав, добавил: – У тебя, случайно, ничего там, – он кивнул на мой рюкзак, который я снял и поставил на траву у края дороги, – нет похмелиться? Трубы горят нестерпимо! – закончил он безнадежно.

Я хотел ответить, что ничего спиртного у меня нет. Но отчего-то передумал, пожалев этого молодого еще парня. Хотя и понимал, что эта жалость – потакания чужим порокам – плохого толка. А еще я подумал о том, что не стоит наживать себе соседа-врага. Не угости я его сейчас, он зимой в моей даче начнет шарить. Напакостит. А то и подожжет дом...

– Банка пива тебя устроит? – спросил я.

В магазине «Бережок», стоящем внизу, почти у самого Байкала, я, помимо необходимых продуктов, взял еще три банки пива. На завтрашнюю баню. Точнее, на ужин после бани, с вяленой рыбкой. Решив теперь, что и двух банок пива мне хватит, тем более что вяленого омуля осталось совсем немного.

– Конечно! – заметно оживился Андрей, радостно потирая от такой удачи руки.

И в его, казалось, напрочь потухших глазах засветились искорки какого-то далекого света.

Я достал из рюкзака, с которым всегда хожу за продуктами, банку пива. Протянул ему. Он быстро откупорил ее и жадно припал к образовавшемуся отверстию губами. Время от времени, скашивая глаз, он смотрел на тропинку, ведущую от крыльца дома к калитке. Боялся, видимо, что за столь приятным занятием его может застать сожительница Тоська (или Тоска, как называл ее Андрей), потребовав и свою долю выпивки.

Кстати, местные жители звали ее отчего-то то Дуськой, а то и Дульцинеей, прямо как из романа Сервантеса «Дон Кихот» о Рыцаре Печального Образа, который все готов был отдать для дамы своего сердца. Нынешний же «рыцарь печального образа» Андрюша, которого с его дамой, кроме бутылки, похоже, ничего больше не связывало, делиться с ней своим счастьем явно не хотел.

Быстро, захлеб, с поросычьим причмокиванием выпив пиво, он глубоко и облегченно

вздохнул, словно сбросил с плеч непомерно тяжкий груз. Легко, словно фантик от конфетки, смял в кулаке банку. И уже веселее спросил:

– Закурить не найдется?

– Ты уже спрашивал, – не очень любезно ответил я.

– А-а, забыл, – беспечно махнул он рукой, явно довольный теперь своей жизнью. И почти весело продолжил: – Сигаретку бы сейчас, и ва-а-аще полный кайф! Праздник как в Новый год, в детстве...

Последние слова он произнес уже не так весело, а скорее задумчиво.

И я, вдевая руки в лямки рюкзака, готовясь уже идти дальше наверх, подумал с неизъяснимой печалью о том, что этот человек тоже ведь был когда-то маленьким мальчиком. И наверняка верил в новогодние чудеса. И наверняка его мать и отец, глядя на него, стоящего на табурете, чтобы водрузить на макушку елки звезду, загадывали: кем он станет, когда вырастет? Какую профессию себе изберет? Может, будет, как и его отец, трактористом – уважаемым и нужным в поселке человеком...

«Профессия» же, приобретенная Андреем, стала, увы, весьма обыденной и весьма распространённой в наших палестинах: алкаш.

– Куда торопишься? – глядя на мои приготовления уже более-менее осмысленными глазами, а не пустыми глазницами, спросил Андрей. – Садись, поговорим!

Он хлопнул еще крепкой, сильной ладонью по лавочке рядом с собой. И осторожно, с затаенной надеждой, словно боясь спугнуть удачу, продолжил:

– У тебя там, – снова кивнул он на мой рюкзак, – может быть, еще баночка пива найдется?

– Нет, не найдется, – почти грубо ответил я. – Да и некогда мне, Андрей, разговоры говорить. Надо еще дровишек для завтрашней бани наготовить, – постарался я смягчить свой нелюбезный тон.

– Жалко, – искренне произнес Андрей. – А то у меня на огороде такая редиска, уже по третьему разу выросла – объединенье просто! Большая, сочная. С пивком было бы само то! – мечтательно закончил он – но уже мне в спину.

Обе эти встречи не выходили у меня из головы, и я то и дело прокручивал их мысленно, пока не свернул с разбитой вдрызг дороги на свою тропинку. Она была устлана мягкой и ду-

шистой аптечной ромашкой, и подниматься к себе на дачу по ней было уже приятно.

Однако, снова вспомнив недавние встречи, отчего-то не желающие выходить у меня из головы, я вдруг ощутил такую беспредельную, такую безысходную тоску! Словно и сам проживаю не свою, а чью-то чужую, бесконечно серую, скучную, никому не нужную жизнь...

«Да, человек – это звучит не гордо, как сказано у Горького, а скорее хреново, – с какой-то невероятной ясностью подумалось мне. – И если до второго пришествия Христа опять пройдут тысячи лет, в кого за это время превратятся люди? И ведь слом этот жуткий – невиданная порча человеческой природы – в нашей стране особенно стал заметен после 90-х годов XX века, когда эти «чикагские мальчики», «неореформаторы», обрушившие СССР (Чубайс, Гайдар, Бурбулис и иже с ними, во главе с первым президентом России Ельциным, горьким пьяницей), стали внедрять каннибальские – для простых людей, народа, не умевшего, как они, ловчить и воровать «в особо крупных размерах», целыми предприятиями и регионами, – безумные реформы. Да, в большинстве советских людей было много идеализма, но зато и бескорыстия, и желания служить отечеству. И именно по этим понятиям (чаяниям и надеждам) и был нанесен самый сокрушительный «удар рублем», широкой пропагандой корысти без берегов. И пока все дружно, искренне искали абстрактную национальную идею, реальной национальной идеей стали деньги. И на смену советской, пусть и вконец уже заплесневелой, идеологии пришла новая: идеология наживы, потребления, развлекаловки...

Недаром же, когда одного из моих любимых польских режиссеров Анджея Вайду спросили (а изменения в России неизбежно захватывают весь мир – слишком уж Россия велика), почему после 1991 года он стал снимать в два раза меньше, чем во времена социалистической Польши, Вайда ответил, что снимал для интеллигенции, а теперь интеллигенции нет...

Да что там интеллигенции – даже просто думающих собственной головой людей стало заметно меньше. Помните, как в «Бесах» у Федора Михайловича Достоевского революционер и прожектор Шигалёв говорит: «Мы дадим людям право на бесчестие, и тогда все к нам прибегут»? В 90-х годах в нашей стране как раз и было в полной мере дано это право на бесчестие.

От него все и пошло, и покатилося под горку со стремительной скоростью...

И только уже при подходе к дому, когда я вспомнил про своих внуков, и невестку, и сына, недавно гостивших у меня почти месяц, мне стало немного легче. И мои нелегкие мысли, кажется, отступили.

Сын с женой Светланой и двумя их сыновьями (Костиком, четырех лет и четырех месяцев, и Сашуней, двух лет и трех месяцев) приехали ко мне в конце июля, а уехали почти в конце августа.

И надо сказать, что месяц этот был совсем не простым для всех нас – из-за двух маленьких непосед, которым все время хотелось праздника, игр, веселья! И у нас иногда просто не хватало уже сил – снова куда-то идти. Или бегать по просторной поляне на участке перед домом, играя, например, в догонялки. Или снова и снова, почти каждый вечер, разводить костер. Печь в золе картошку и варить в закопченном многими кострами котелке (еще моего отца) крепкий таежный чай со смородиновым листом. Или выдумывать какие-нибудь интересные истории – про путешествия и необитаемые острова, на одном из которых мы все вдруг оказывались...

Словом, возникало и внутреннее раздражение. Давала о себе знать элементарная усталость. И даже возникали – правда, нечасто – мысли о том, что, когда все уедут, моя дачная жизнь снова войдет в свое привычное, размеренное русло. И по утрам, вместо того чтобы таскать на загровке Сашуню или Костю (и дать родителям без проблем хотя бы позавтракать, потому что ребятишкам в это время хочется гулять), я буду, как и прежде, работать. То есть что-то писать до обеда. А после обеда снова, как обычно, буду что-то делать по хозяйству, поскольку ходить с внуками на плечах по нашим горным тропам уже не так легко в моем почтенном возрасте. То есть я верну себе собственное время, принадлежащее не кому-то, а именно мне.

Однако, проводив своих гостей до паромы (где Костик вдруг расплакался, уговаривая меня поехать в город вместе с ними) и вернувшись домой, я ощутил – после целого месяца царившего здесь гомона – какую-то особенно гнетущую тишину. Не тишину даже, а будто некое напряжение туго натянутой струны, которая может

в любой момент лопнуть. И всем существом своим я почувствовал безмерное одиночество. Словно остался на этой прекрасной планете совсем один. А мои внуки и сын с женой отбывали куда-то на другую, более счастливую, чем эта, планету. И между причалом и паромом все расширялся с каждой минутой глубокий ров с темной, ледяной, неприветливой водой. Хотя еще, казалось, четко видно было, как с палубы парома своей маленькой рукой машет мне старший внук Костик. Наверное, уже начинающий понимать, что такое разлука. Какая эта боль...

Как точно об этом сказано у одной средневековой корейской поэтессы:

*Два будды каменных стоят
Друг против друга, у большой дороги.
Снег падает на них порой ненастной,
И хлещет дождь по их нагим ступням.
Но нашей человеческой разлуки
Они не знают. Позавидуй им.*

А еще я ощутил полнейшую пустоту вокруг себя. Будто с моего немалого участка выкачали вдруг весь воздух – всему дающий жизнь. И в душе моей тоже стало пусто и гулко, как бывает в заброшенном доме, где по стенам все еще висят фотографии обитавших здесь людей, но 107 посмотреть на них уже некому.

И все это вместе взятое пронзило меня такой тоской, что я едва не застонал – как от реальной нестерпимой боли...

Утешая себя, я подумал о том, что всем здесь у меня на даче было хорошо. Значит, на следующий год они, возможно, снова приедут сюда. И мы снова будем счастливы. Потому что будем вместе. Надо только постараться обязательно дожить до следующего лета...

Ребятишки снова будут бегать босиком по скошенной упругой траве. Купаться в Байкале, ходить по горячему песку. Шалить, плескаться в ванне с дождевой водой у бани и пускать там кораблики из щепок.

А вечерами мы, как и прежде, будем сидеть у костра. Очарованно глядеть на огонь и огромный черный купол неба, усеянный чистыми, будто только что промытыми, большими голубыми звездами. И всем нам будет тепло и хорошо – главным образом оттого, что мы вместе и любим друг друга.

А потом при свете настольной лампы на нашей просторной веранде, как не раз бывало ми-

нувшим летом, Дмитрий будет читать ребятам (в основном, конечно, Костику, поскольку Сашуня мало еще что понимает из книг) «Маленького принца» Экзюпери или «Говорящего грача» Пришвина...

Поднявшись на крыльцо открытой веранды, я увидел на доске, тянущейся по фундаменту вдоль южной стороны дома, остроносую щепку с весьма причудливым наростом коры. Эту щепку оставил здесь Костик. И я подумал, что только безмерная фантазия ребенка могла разглядеть в этой неказистой щепке белоснежный круизный лайнер со множеством палуб. Который почти целый месяц бороздил «просторы Мирового океана», запускаемый моим внуком в бочке с дождевой водой у крыльца.

Перед отъездом, кивнув на щепку, Костик сказал:

– Деда, мы скоро опять к тебе приедем. Ты мой корабль сохрани. Ладно?

– Ладно, – ответил я ему, чувствуя во рту какую-то вдруг образовавшуюся горечь.

И вот сейчас все эти мелочи показались мне такими значимыми! И такой печалью повеяло от них! Будто мы все расстались не на какое-то время, а навсегда. И этот праздник безвозвратно исчез во времени...

А в оцинкованном ведре, на треть наполненном прозрачной водой, я обнаружил уже «клад» Сашуни. Там на дне в лучах солнца светились три белых, гладких, окатанных волнами Байкала камушка.

Ведро это стояло на лавочке рядом с умывальником, с обратной стороны стенки открытой веранды. И из ведра этого ковшиком, висевшим рядом на гвозде, подливали воду в умывальник. Сашуня же использовал ведро для изучения бульков и звяков, производимых белыми окатышами, которые он с завидной периодичностью и настойчивостью настоящего исследователя бросал в ведро с разной высоты.

Сами же эти камешки Сашуня подобрал на берегу Байкала и «принес» домой, сидя на Диме. Устраивая потом с их помощью свои замечательные и невероятно интересные опыты.

Стоя на табурете и перегнувшись через дощатый барьерчик, он бросал камешки в воду. Потом быстро слезал с табурета, топтал по веранде босыми ногами и сбегал по крылечку на траву. Обогнув веранду, подбежал к лавочке, на которой стояло ведро, вынимал оттуда камеш-

ки и, возвратившись на свое место наверху, снова проделывал сей опыт. И так неисчисли- мое количество раз.

Причем эмоции свои он выражал разными звуками и гуканьем. И звуки эти были то веселые, то удивленные, а то и сердитые. С покачиванием в таком случае головы из стороны в сторону. Причем недовольство свое он выражал обычно одной растянутой буквой – «у-у-у!» – весьма высокого тона...

А с каким неподдельным удивлением и восторгом он любовался внезапной летней грозой! Когда струи дождя были будто просвечены золотистыми лучами солнца...

Этот маленький человечек в синих резиновых сапожках и разноцветной курточке с капюшоном, наброшенным на голову, неподвижно стоял у прясла ограды (за которой начинался уже другой, еще не освоенный никем участок земли с большой поляной) и зачарованно, не вздрагивая от грохота грома и резких, быстрых проблесков молнии, с восторгом глядел на позолоченные прямыми солнечными лучами крупные капли дождя, висящие на острых кончиках изумрудной травы, слегка согнувшейся от чрезмерной влаги.

Он стоял у прясла один, хотя все, конечно же, следили за ним. И я – через окно закрытой веранды. И Дима, находящийся невдалеке от младшего сына. Они с Костиком укрывались от дождя под раскидистой березой (тоже в куртках с капюшонами и резиновых сапогах). И им было слышно, как Сашуня выражает свои эмоции, издавая с разной тональностью звуки, похожие на «гы!», «гу!», «го!», восхищаясь изумительной красотой обновленного мира.

И еще мне вспомнилось, как в отличие от Костика, который обычно кричал: «А-а! Меня муравей укусил!», Сашуня молча снимал муравья со своей голой ножки, подолгу рассматривал его и опускал потом на землю.

Или как он с хитроватым видом удирал от всех нас к калитке. В сандаликах и трусах, только поев утром каши, сваренной мамой. Удирал, потому что ему немедленно хотелось расширить границы мира, уже освоенного им на нашем участке.

«Да, какие они разные, – думал я. – Но какие любимые – эти малыши. И как хорошо, что так трогательно, так искренне, с такой любовью заботятся о них Света и Дима – их родители».

Или вот еще эпизод, услужливо подсказанный мне памятью, когда я взглянул на большой плоский камень, лежащий у крыльца. В небольшом углублении на поверхности этого камня почти всегда стояла прозрачная дождевая вода, сохранявшаяся там даже в самые жаркие дни. Так вот, с Сашуни только что сняли описанные им трусишки. И он, совершенно голенький и радостный от полной свободы – даже от ненужных ему одежд, вдруг, спустившись с крыльца, встал на четвереньки и, как козленочек, начал пить из выемки камня. И так это все у него выходило серьезно, непосредственно и естественно, и так потешно смотрелось со стороны, что не рассмеяться было просто невозможно! И день был такой чудесный! По-настоящему летний – жаркий, светлый, праздничный!

Но после этой идиллической картины мне отчего-то вдруг вспомнилась заброшенная и совсем почти уже обветшавшая старинная усадьба, находящаяся не так далеко от нашего дома. В ней долгие годы летом живал мой знакомый писатель Владимир Жемчужников. И частенько, проходя мимо его дома по дороге в магазин или обратно, я заглядывал к нему – поговорить. Он был старше меня лет на пятнадцать, а потому и мудрее. И говорить с ним было интересно.

Как-то раз после целого дня праведных трудов я пришел к нему вечером поболтать. Мы пили крепкий чай и говорили о разных разностях. И так здорово, тепло и славно было у него в доме с настоящей русской печью, что я не удержался и воскликнул:

– Хорошо у вас тут, Владимир Борисович, прямо как в доброй русской сказке! Только мрачновато немного. Все пространство за окном кустами сирени и черемухи заросло.

Жемчужников ответил не сразу. И совсем не так, как я ожидал.

Я думал, он скажет: «Да, лишние кусты надо бы вырубить, всю комнату они затеняют. Но зато какой дух и вид от них, когда они цветут! Все тогда за окном будто в белой пене...»

Он же ответил:

– Хорошо было, тезка, когда писалось. Вот тогда действительно был праздник!

...Поднявшись с открытой веранды – тоже по крылечку в три ступени – на веранду закрытую, я по инерции взглянул на будильник, стоящий у нас на холодильнике.

Сашуня несколько раз покушался на него. Деловито, с кряхтением забравшись на табуретку, он снимал часы с холодильника, намереваясь, без всяких сомнений, разобраться уже на полу: что это у них там внутри так методично тикает? Каждый раз мы едва успевали предотвратить эти исследования и в конце концов переставили будильник на шкаф, где Сашуня его даже при помощи табуретки или стула достать уже не мог.

Так вот, взглянув на круглый белый циферблат, я понял, что будильник остановился. «Видимо, снова, и теперь уже, похоже, окончательно, часы сломались», – с грустью, будто разлучаясь с давним другом, подумал я.

Уже два раза я возил этот будильник в веселом желтом металлическом корпусе в город на ремонт. Жаль было его просто выбросить. Столько лет он нам служил здесь, на даче.

Правда, в последний раз, года два назад, когда я принес будильник длинноволосому седому часовому мастеру, похожему на доброго волшебника с грустной улыбкой, он, внимательно осмотрев механизм, сказал:

– Если он у вас еще раз остановится, вы его больше чинить не носите. Не теряйте напрасно время. Вряд ли его можно будет реанимировать. У него уже почти все звездочки сточились. Ему ведь, судя по деталям, лет тридцать, не меньше?

– Не меньше, – подтвердил я, кивнув.

А старый мастер, которому наверняка было уже два раза по тридцать, да еще с солидным привесом, добавил, грустно улыбнувшись и глянув на меня добрыми глазами (видимо, в душе он был поэт):

– Любой механизм, как и человеческое сердце, иногда уже починке просто не подлежит...

Застывшие темные стрелки будильника показывали 16 часов 15 минут – время, когда мы все (и даже котик в своей специальной переноске) как раз выходили из дома, чтобы успеть на семнадцатичасовой паром. И будильнику суждено было (правда, не очень надолго, не на целую зиму, как это бывало много лет) остаться в доме одному. В столь непривычной после веселого гама тишине...

Вначале я все-таки подумал, что, может быть, просто забыл утром завести его. Попробовал это сделать, но завод был почти полный. И все мои попытки восстановить его ход (в виде

энергичных потряхиваний, когда в часах, казалось, сыпалась крупа) оказались тщетными.

Выбросить же будильник у меня рука не поднялась. Хотя в голове и мелькнула мысль, что с прошлым надо расставаться легко. Но я, по-видимому, так не умею. Ибо всегда, сколько себя помню, нахожусь в поисках утраченного счастливого времени...

Я перевел стрелки будильника на без пяти минут двенадцать и поставил его на полочку, протянувшуюся буквой «Г» через всю веранду над двумя ее широкими окнами и холодильником, обнаружив там в ряду дорогих мне вещей небольшое свободное пространство. Определив часы, так сказать, на заслуженный отдых отработавшего свое пенсионера...

Стрелки же именно на это время я установил потому, что такая их конфигурация всегда ассоциируется у меня с предновогодьем и песенкой Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь». Лента эта была снята режиссером Эльдаром Рязановым аж в 1956 году, мне тогда было только восемь лет. А в возрасте уже далеко за тридцать, в восьмидесятых годах прошлого века, мне даже посчастливилось сняться с этой великолепной актрисой в фильме «Сергей Герасимов». Который делали о своем учителе лауреаты Государственной премии режиссеры Ренита и Юрий Григорьевы.

В этом фильме они сняли и нас с Валентином Григорьевичем Распутиным, как людей, живущих на Байкале и негативно оценивающих деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) – весьма опасного для экологии этого уникального сибирского моря. О котором, в свою очередь, и Герасимов ранее снял остросюжетный фильм «У озера», касающийся той же проблемы. Нужен ли стране такой технократический «прогресс», который губит окружающую живую природу?

Примерно через полгода после съемок на Байкале, в конце декабря, кажется, 1987 года, Григорьевы пригласили нас с Валентином Григорьевичем на студию «Мосфильм», чтобы стационарно озвучить наши собственные разговоры, записанные на природе, на фоне озера и БЦБК. На сей прославленной киностудии мы и встретились с Людмилой Марковной Гурченко и потом вместе оказались на небольшом застолье, организованном после озвучивания в одной из комнат «Мосфильма». Тем более что

оставалось всего несколько дней до приближающегося Нового года...

Помню, что на этом застолье кроме самих режиссеров были мы с Валентином Григорьевичем, Гурченко, актер, сыгравший Олега Кошевого в фильме «Молодая гвардия», и какой-то актер из Чехословакии, тоже снимавшийся ранее в одном из фильмов Герасимова. Он-то и предложил всем после работы, уже поздно вечером, выпить «Бехеровки».

– Не везти же ее назад в Прагу, – аргументировал он свое предложение. – Тем более что мне уже через несколько часов улетать домой.

Все, и даже Валентин Григорьевич (который, впрочем, во время застолья пил чай), согласились. Тогда-то мы и разговорились с Людмилой Марковной, поскольку сидели рядом, закусывая «Бехеровку» эклерами, принесенными кем-то из буфета и которые, похоже, любили оба.

Во время этого предновогоднего застолья Гурченко вспомнила свои съемки в «Карнавальная ночь». Для нее, двадцатилетней студентки ВГИКа, это была фактически первая большая роль в кино (дебютировала она в фильме «Дорога правды»). А для режиссера Рязанова – первый полнометражный фильм, вместивший в себя, по сути, сразу три жанра: комедию, мелодраму, мюзикл.

Премьера «Карнавальная ночь» была всесоюзной. Ее показали за три дня до Нового, 1956 года в большинстве городов СССР. Посмотрело картину почти пятьдесят миллионов человек. И успех был ошеломляющий! А песни из этого фильма на долгие годы стали очень популярными в нашей стране.

Вот одна из тех задорно-оптимистичных песен, уже неотъемлемая часть предновогодья и самих новогодних праздников:

*На часах уже двенадцать без пяти.
Новый год уже, наверное, в пути!
Он к нам мчится полным ходом!
Скоро скажем: «С Новым годом!»
На часах двенадцать без пяти...
Новый год настает!
Пожелать хочу вам счастья!
Новый год у ворот.
Старый год уже не властен...*

После того веселого и непринужденного застолья на «Мосфильме» на прощание, как ска-

зала Гурченко уже в фойе, куда мы все спустились, чтобы разъехаться по домам, она подарила мне свою книгу «Мое взрослое детство», по-дружески ее подписав...

И именно светлое ощущение предновогодья, предчувствие волшебного праздника, каждый раз ожидаемых неминуемых чудес, связанных с ним, всегда, с самого раннего детства и доныне, живет во мне. Живет до самой полуночи 31 декабря. Когда все эти мечты и предчувствия, будто ножом гильотины, вдруг отсекаются вместе с ушедшим годом. Со всем тем плохим и хорошим, что было в нем. И ты вдруг осознаешь, что никаких чудес не будет. И что они вряд ли вообще существуют на этом свете, где многое так рационально и меркантильно. А чудеса – это явление крайне редкое, почти исключительное. Поскольку чудо происходит вопреки, а не согласно существующим законам природы. Ибо: «Бог идеже хочет, побеждается естества чин...» То есть, когда Бог хочет, Он резко отодвигает законы природы. И для всех нас наступает просто очередной новый (уже не с большой буквы) год, еще ближе подводящий нас к неизбежному финалу. Который у всех, увы, один. Богат ты или беден, счастлив или несчастлив. Для всех без исключения...

Вот как сказано об этом, притом без всякой грусти, у нашего талантливой сибирского поэта Ростислава Филиппова: «Проходит год. Стал ближе день рожденья – святого часа смертушки моей».

Наступит именно день рождения. Поскольку будет, как сказано у апостолов, новое время и новая жизнь. Если ты, конечно, в это веришь. Или, снова по словам апостола: «Веруешь в жизнь – получаешь жизнь. Веруешь в смерть – получаешь смерть...» О чем, кстати, уже в двадцатом веке писал и философ Мераб Константинович Мамардашвили: «Есть смерть, и есть – мертвая смерть...»

Поставив будильник на полку, я ненароком окинул взглядом и немалый ряд выстроившихся там пустых бутылок – разноцветных, разной формы и вместимости, стоящих плотно, одна к другой. Каждая из них несла в себе (а точнее, с собой) какую-то историю. Обычно – веселую, праздничную!

Вот первая, крайняя слева на полке, начинающей сразу от входной двери на веранду, не бутылка, а скорее бутыль – емкостью 1,75 ли-

тра, с толстой стеклянной ручкой сбоку. На ее этикетке сверху красными буквами выведено: «Скалоновка». А ниже есть и портрет самого Василия Николаевича Скалона – основателя факультета охотоведения в Иркутске. Единственного такого факультета на весь бывший Советский Союз, куда набирали только парней.

«Скалоновка» была выпущена в 2000 году ограниченной партией на Иркутском ликеро-водочном заводе «Кедр» – к пятидесятилетию факультета охотоведения.

Кроме фотографии благообразного профессора – с умным взглядом и окладистой бородой – на этикетке есть еще один снимок (создающий ее общий фон) – старинного трехэтажного здания факультета охотоведения по улице Тимирязева, 59. В здании сем до революции 1917 года размещался сиропитательный дом – первое учебное заведение в Иркутске для девушек всех сословий. Построено это добротное здание было по завещанию купеческой вдовы Елизаветы Медведниковой ее сыновьями в 1840 году. В мое же время в этом здании обучались только юноши – 75 человек ежегодного набора. И конкурс на эти места всегда был немалым.

Так вот, по красному фону, уже не вязью, а обычным шрифтом на этикетке написано: «Эксклюзивная водка». А на обратной стороне емкости, на отдельном листке, имеется даже небольшая рекомендация по применению сего продукта:

«Скалоновка» – прекрасный, экологически чистый напиток, обладающий способностью вызывать добрые и радостные чувства в учениках Василия Николаевича Скалона, основателя и организатора факультета охотоведения, научившего всех нас быть верными великому братству охотоведов.

Употребление «Скалоновки» способствует выведению из организма: черных мыслей, зависти, недоброжелательства, ненависти и других негативных компонентов, изначально чуждых охотоведам.

Пейте на здоровье и сохраняйте разум!»

Эту бутылку, с полновесным ее содержанием, подарили мне после вечера встречи охотоведов, причем не обычного, ежегодного, проводимого в последнюю субботу и воскресенье мая, а юбилейного. И преподнес мне ее, кажется, Андрей Скалон, сын профессора Василия Николаевича. Тоже окончивший в свое время наш факультет. А после него – еще и сценарный факультет ВГИКа и ставший впоследствии

очень хорошим писателем. На мой взгляд, его повесть «Живые деньги» или, скажем, рассказ «Стрела летящая» просто великолепны!

А уже с другим охотоведом – моим однокурсником Серегой Мухиным, родом из Хабаровска, прилетевшим из Петропавловска-Камчатского в Иркутск на очередной, традиционный вечер охотоведов, мы эту бутылку открыли. Причем произошло это, заметьте, спустя год после того, как она мне была вручена. И бутылку, представьте, так и стояла у меня на даче непочатая, ибо распить ее полагалось именно с коллегами – охотоведами.

После окончания института Мухин распределился на Камчатку. И естественно, он не мог приехать оттуда с пустыми руками. Кроме горячительного (каких-то корейских и японских водок с различными травами) он привез мне на дачу на следующий день после вечера, проходившего в Иркутске, трехлитровую банку красной лососевой икры прекрасного домашнего посола и иные промысловые деликатесы. Такие, например, как нарезанное тонкими слоями мясо оленя, высушенное естественным образом на солнце и соленом океанском ветру. С этими деликатесами мы и попивали «Скалоновку», вспоминая наши многочисленные таежные практики: в Хабаровском крае, на Сахалине, в Закарпатье, в Тихом океане...

При этом дача, строительство которой я начал в 1994 году, до конца еще не была достроена. И на будущей крытой веранде, где мы с Серегой расположились, окон еще не было. Поэтому там гулял свежий, вольный ветер с Байкала. А день был теплый и солнечный. Радостный какой-то. И нам с Серегой было хорошо. И немного тянуло на хвостовство...

С этой бутылки, собственно говоря, и началась моя коллекция пустых бутылок. Содержимое которых помогало создавать здесь, на даче, настоящие праздники встреч с очень разными, живущими в разных местах людьми. Ибо хорошее вино (или более крепкие напитки, но и то и другое в меру) в хорошей компании, с хорошей едой – это, несомненно, праздник!

За рядом бутылок висят на стеночке из струганых досок памятные (и некоторые с приколотыми значками), чем-то дорогие мне вымпелы.

Например, Иркутского казачьего войска, сотником которого я являлся по праву наследования. Ибо по материнской линии принадлежу к

старинному казачьему роду Заниных – Любимовых. Или вымпел велопробега Пекин – Париж 1993 года. В путешествии этом, длившемся более пяти месяцев, я сам принимал участие и в числе немногих достиг-таки столицы Франции.

Кроме того, на полке есть еще и разные глиняные кувшины. Первый из них, с очень хорошим молодым вином, я привез из Молдавии. Было это давно, когда я жил еще в Ангарске со своими родителями и сестрой, не имея ни собственного жилья, ни собственной семьи.

Кувшин этот очень красивый, и достался он мне от очень красивой девушки из Могилева-Подольского, Натальи Любарской, с которой мы познакомились в Питере. Там в середине семидесятых годов я учился в аспирантуре. А она, работая в туристическом агентстве, из своего украинского городка возила в Северную столицу группы – сопровождала их и исполняла роль экскурсовода.

К ней в Могилев-Подольский я и приезжал потом несколько раз по ее приглашению. И там мы частенько, причем вполне легально, пересекали неофициальную границу, проходящую по Днестру между двумя союзными республиками – Украиной и Молдавией. Реку мы переходили по сильно раскачивающемуся от наших шагов подвесному мосту. И попадали на правый берег Днестра. Где и покупали дешевое (рубль за литр), но очень хорошее молодое вино у молдаван. Брли его целыми трехлитровыми банками и попивали потом за приготовленным Натальей обильным вкусным ужином. Причем вино из трехлитровой банки (с проволочной ручкой и крышкой) Наталья дома всегда переливала вот в этот самый глиняный кувшин с хорошо притертой пробкой и изящно изогнутым длинным носиком, что стоит теперь на моей полке. А тогда, в молодости, я разливал из него вино, и из носика устремлялась в бокалы упругая тонкая струя темно-вишневого цвета, с чудесным запахом. И вино в бокале пенилось от напора струи, как шампанское. И было таким вкусным и таким хмельным. Как наши поцелуи после...

Как давно все это было. Эти наши походы через Днестр – «на Молдавию», по тому шаткому подвесному мосту. Под которым и над которым висел такой плотный белый туман, скрывающий до колен наши ноги, словно мы шагали по облакам.

Перейдя в Молдавию, мы попадали в городок Атаки, больше похожий на поселок с одноэтажными домами. По улицам которого и особенно на его, кажется, единственной площади, у белокаменного храма св. Архангела Михаила, стоящего на холме, бродили почему-то в основном цыгане. Тетки в многочисленных пестрых юбках, о чем-то перекрикивающиеся между собой; грязные ребятишки с печальными и одновременно озорными глазами; редкие молчаливые старики, покуривающие трубки и оглаживающие свои серебристые бороды. И разноцветные одежды цыган как яркой мозаикой, словно это был карнавал, устилала, казалось, всю площадь, придавая этому небольшому пространству какое-то необычное праздничное настроение. У самого же храма, за его оградой я обнаружил скромное надгробье с печально склоненным над могилой ангелом и надписью: «Здесь покоится прах княгини Елены Михайловны Кантакузиной, урожденной Горчаковой (1794–1854)».

На этом эпизоде, я думаю, стоит остановиться чуть подробнее, ибо невероятно удивительны переплетения человеческих судеб.

Горчаковы – старинный дворянский род, ведущий свою родословную от Рюриковичей. С младшим братом Елены Михайловны, Александром Михайловичем (1798–1883), будущим дипломатом и канцлером Российской империи, Александр Пушкин учился в Царскосельском лицее, открытом по указу императора Александра Первого 19 октября 1811 года. И даже посвятил сестре своего приятеля (которому однокашники дали прозвище Франт) шуточное стихотворение, написанное им, когда Елена приезжала в лицей навестить своего младшего брата. Кстати, именно Горчаков в конце XIX века остался последним лицеистом из первого набора в 30 человек. Как бы ответив своей жизнью на стихотворение Пушкина «19 октября 1825 года», посвященное друзьям юности, о которых он думал, находясь в ссылке в родовом имении Михайловское и обращаясь к ним с такими строками: «Кому ж из нас под старость день лицея торжествовать придется одному?..»

Но как же представительница столь знатного и славного рода оказалась в Бессарабии, вдали от Петербурга, тогдашней столицы империи?

Ответ очень прост. Причиной тому любовь.

Вспомним роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, где подобные художественные детали были взяты из самой жизни: «...на балах сделалось два брака. Две хорошенькие княжны Горчаковы нашли женихов и вышли замуж».

Избранником Елены Михайловны, с которым она действительно познакомилась на одном из петербургских балов, был участник войны 1812 года, представитель не менее знатного византийского рода, ведущего свою родословную с одиннадцатого века, князь Георгий Кантакузин. В 1821 году он принял участие в восстании греков против турок, но 17 июня в сражении у реки Прут потерпел со своим отрядом поражение. После чего и переехал с семьей из Кишинева, где они жили раньше, в родовое имение в Атаки.

Да, поистине неисповедимы пути Господни, которыми Он нас, детей Своих, водит по этой земле...

От храма мы с Натальей обычно спускались к высокому берегу Днестра, к беленым домикам молдаван с большими садами возле них. И с большими погребками под домами, где в прохладе стояли бочки с разным вином – от молодого до выдержанного несколько лет.

Мы всегда покупали молодое вино. Которое, кстати, любил и Пушкин, когда жил в Бессарабии в своей первой ссылке. Пострадал он за свои стихи: «Вольность», эпиграмму на государя и прочие крамольные вещи.

Ссылку 21-летний Пушкин «отбывал» в канцелярии генерала Инзова. «То ли проступок был невелик, то ли надежды на исправление огромны», как говорили в тогдашнем свете о наказании поэта. Ибо Пушкину, как государственному чиновнику, за то что он, по замечанию Александра Первого, «наводнил Россию возмутительными стихами», грозила очень суровая кара. И только благодаря заступничеству Чаадаева и Карамзина ссылку в Сибирь или в Соловецкий монастырь удалось заменить на изгнание поэта из столицы в Бессарабию, где он провел три года.

Выехал Пушкин в ссылку 6 мая 1820-го, сопровождаемый своим бессменным дядькой Никитой Козловым. (Это он же через шестнадцать с половиной лет, после дуэли Пушкина с Дантесом, на своих руках внес тяжело раненного поэта в дом на Мойке. На что Пушкин, улыбнувшись, преодолевая боль, сказал: «Не тяжело

тебе, Никита, носить меня на руках, как в детстве?») Кстати, Никита Козлов, сопровождавший Пушкина повсюду, в том числе и на последнюю роковую дуэль, просил после кончины похоронить его в Святых Горах в ногах своего господина. Но была ли эта его просьба исполнена, доподлинно неизвестно.)

Вот какие инструкции по поводу Пушкина содержались в письме наместнику Бессарабии генерал-лейтенанту И. Н. Инзову: «Он будет находиться при Вас, под Вашим покровительством, под Вашим присмотром в качестве сверхштатного чиновника Вашей канцелярии...»

Инзов принял Пушкина очень тепло и позволил ему вести жизнь вольную, фактически не служа в канцелярии. Поэт так и поступил, будоража своими бесчисленными выходками местное общество. Какое-то время, говорят, он даже жил в таборе у цыган. И там будто бы влюбился в цыганку Земфиру, убитую позже ревнивым женихом. Во всяком случае, такой эпизод войдет в его поэму «Цыгане».

Там же, в Кишиневе, 9 мая 1823 года Пушкин начал писать и роман в стихах «Евгений Онегин». Вообще, за время своей так называемой южной ссылки Пушкин создал 160 произведений. И при этом еще шесть или семь раз участвовал в дуэлях. Так что жизнь поэта в Бессарабии была весьма насыщенной и всевозможными событиями, и творчеством. Не исключено, кстати, что в Кишиневе Пушкин встречался и с сестрой своего лицейского приятеля Еленой Михайловной Горчаковой...

Оттуда же, с Украины, у меня сохранилась бутылка и с более крепким напитком под названием «Люта вода». На этикетке – казак с оселедцем на голове, в огненно-красных широких шароварах (которые, по словам Гоголя, должны быть у казака непременно «шире Черного моря»), пустившийся в пляс.

Ниже основного названия этой «Лютой воды» идет текст: «Гірка настоянка з перцем». И дальше уже более мелким шрифтом: «Аромат меду та міць перцю наповнят сонячним теплом»...

Эту бутылку вместе с кувшином вина и продуктами в большом бумажном пакете Наташа вручила мне на вокзале перед моим очередным (но, как оказалось, последним) отъездом из Могилева-Подольского. Я уезжал оттуда поез-

дом – через Киев, Москву и дальше через всю Россию в Иркутск...

Помнится, мне посчастливилось тогда же в книжном киоске на вокзале купить толстую книгу Ивана Бунина, выпущенную Кишиневским книжным издательством. Произведения которого в Сибири, например, я купить не мог. Их там просто не было. А значит, на всю долгую, почти недельную дорогу я был обеспечен пищей не только физической, но и духовной. И самое главное, уезжать мне было не грустно. Видимо, при всей красоте Натальи я все-таки не любил ее настолько, чтобы желать не разлучаться с нею.

Тем более что мы договорились, что она, закончив работу со своими группами, приедет в начале сентября погостить ко мне в Сибирь. И она действительно потом приехала на две недели в Ангарск.

А я вот свое обещание, данное уже почти при отправлении поезда из Могилева-Подольского, – снова приехать к ней в следующем году – так и не сдержал. Закрутился с делами по учебе, укатив на все лето, в том числе и на свои двухмесячные каникулы, на Белое море, на Биологическую станцию Зоологического института, в котором учился в аспирантуре...

И вот теперь, много лет спустя, глядя на эту пустую бутылку «Лютой воды» с лихим казаком на этикетке и тоже пустой глиняный кувшин из-под вина, я сам тем не менее будто наполняюсь «сонячником (что означает это слово, я не знаю до сих пор, но полагаю, что это что-то приятное) теплом». Таким мягким, неизнуряющим, каким оно было в тот далекий летний день на Днестре. А потом это тепло словно продолжилось и в дни начала осени, когда Наталья приехала ко мне и мы с ней ездили на Байкал. Но большей частью жили одни на родительской даче под Ангарском, рядом с небольшим озерком, на темной поверхности которого покачивались белые кувшинки. И, как и на Украине и в Молдавии, нам в Сибири тоже достаточно было лишь друг друга, и больше, казалось, ничего не требовалось для полноты жизни...

Но больше мне отчего-то запомнился наш крайний «поход на Молдавию» за молодым вином. Ближе к обеду мы Наташей, чуть пьяненькие после дегустаций у разных хозяев их вин (а для пробы там наливали обычно почти полный граненый стакан), возвращались к ней домой «на Украину», как говорила она, эта наполовину

польская пани. Останавливаясь время от времени только для того, чтобы поцеловаться. И остановки наши становились все чаще, а поцелуи – все дольше. И «облака» над рекой, правда уже не такие белые и плотные, как по дороге утром «на Молдавию», тем не менее будто поднимали нас все выше и выше. И губы у Натальи были такими сочными, как спелая черешня. И пахли молодым вином и медом (вина у некоторых хозяев по их предложению мы дегустировали с медом). И моим губам никак не хотелось расставаться с ними. Да и сами мы были еще так молоды и беспечны, как молодое вино. И большая часть жизни виделась еще впереди. А не за спиной, как это есть, увы, теперь, когда я пишу эти строки...

Дальше на полке стоят красивые и до сих пор очень модные жестяные коробочки, раскрашенные под божьих коровок. Белыми кружочками на красном фоне.

О таких удобных и красивых коробочках для продуктов в 70–80-х годах прошлого века, наверное, мечтала каждая хозяйка в СССР. Поскольку их невозможно было нигде купить. Их можно было только достать.

Коробочки эти, в количестве пятнадцати штук, были трех размеров. Большие – для килограмма сыпучей продукции. Средние. И маленькие.

На всех них снизу по блестящей ленточке металла было красными буквами написано, для чего предназначена емкость. Например, на больших было выведено: «Мука», «Рис», «Геркулес», «Манна», «Сахар».

Причем надписи были сделаны с двух противоположных сторон на разных языках – русском и эстонском. Поскольку набор этот в начале 80-х годов нашей семье (я, жена Наташа, наш трехлетний сын Дима и Наташина мама Мария Ивановна жили тогда в Байкальске) привез из Таллина мой хороший знакомый Арво Вески. Какой-то дальний родственник популярной эстонской певицы Анне Вески, постоянно мелькавшей в то время на телеэкране.

Меня с Арво в Таллине в очередной мой приезд из Москвы, где я учился в Литературном институте, познакомила Инна Мартоя, моя переводчица. Она первая перевела на эстонский язык мои рассказы. Один из которых – об охоте – очень понравился Арво, ее знакомому. Может быть, понравился именно потому, что Инна бы-

ла двуязычной (отец – эстонец, мать – русская) и могла найти нужные аналоги слов, не исказив ни звуковой, ни ритмической, ни смысловой структуры рассказа.

К тому же она была просто красавица. Высокотонкая блондинка с голубыми глазами, идеальной фигурой и приятной загадочной улыбкой...

А в Байкальск к нам Арво приезжал в первую очередь для того, чтобы покататься на горных лыжах. И был поражен тем, что такая хорошая трасса обычно пустовала. Особенно в будние дни.

– Я до этого ездил кататься или на Кавказ, или в Болгарию, потому что у нас в Эстонии хороших гор нет, – проведя целый день на горе Соболиной, удивлялся за общим ужином Арво. – Но там снег не такой идеальный, как здесь. И народу на склонах обычно как сельдей в бочке. А тут прямо чудеса какие-то! Праздник, да и только! И денег никто никаких не берет. Катайся сколько хочешь. Даже как-то с трудом верится, что есть на нашей планете такие сказочные места!

Действительно, трасса тогда была еще бесплатной. Надо было только накануне договориться с дежурившим на Соболиной инструктором, чтобы он включил бугельный подъемник. Ну, и поставить ему, соответственно, бутылочку крепкого напитка, чтобы он не сильно мерз в своем (единственном тогда, стоящем у подножья горы) треугольном домике.

Кстати, Арво и научил меня кататься на горных лыжах. Справедливо полагая, во-первых, что такую счастливую возможность – наслаждаться скольжением по чудесным снежным склонам – нельзя упускать, а во-вторых, что такое счастье не может длиться вечно. И конечно, он оказался прав.

Теперь на горе Соболиной всегда море народа в разноцветных лыжных комбинезонах и куртках. Отчего и склоны все покрыты яркими пятнами. Много разных гостевых домиков и кафе. И стоит все там теперь совсем не дешево.

Вспоминаю наши спуски по склонам с Арво, когда, бывало, мы катались на горе совсем одни. И, снова поднявшись на вершину на подъемнике, замерев там от восторга, откуда трассы расходились в разные стороны – где покруче, где поположе и подлиннее, любовались белым ровным полем замерзшего внизу Байкала, лед которого был занесен чистым, искрящимся в лучах солнца снегом. А наш коттедж среди со-

сен, стоящий совсем недалеко от этого великого озера, казался с вершины чуть больше спичечного коробка. Этакое уютное, теплое жильё для гномиков, с пушистой снежной периной на крыше...

Однако продолжу про привезенный нам Арво подарок, сильно обрадовавший Наталью. Она потом, когда мы уже переехали из Байкальска в Иркутск, и привезла его сюда на дачу.

– Очень уж он, этот набор, веселый какой-то! – говорила она. – Пусть нас и наших гостей теперь на даче радуется...

На коробочках среднего размера были другие надписи: «Сода», «Крахмал», «Изюм», «Лавровый лист», «Кофе». А на самых маленьких: «Чай», «Тмин», «Перец», «Корица», «Пряность». Именно так, в единственном числе: пряность, а не пряности.

Совсем недавно, открыв эту коробочку, я действительно уловил исходящий из нее будто бы очень далекий, но приятный запах. Наташа всегда старалась держать в этом наборе именно те продукты, которые были указаны на коробках. С пряностями же она обычно готовила мясо. И тот аромат, что я почувствовал, был как бы приветом от нее...

Это гостившая на даче нынешним летом бывшая жена моего шурина – младшего брата Наташи Светлана, что-то готовя у плиты, спросила: нет ли у меня риса и пряностей? Именно тогда я и открыл сначала маленькую коробку, а потом и большую. И в той, что под названием «Рис», действительно обнаружилось достаточное количество этой крупы, хранившейся в полиэтиленовом пакете, оставленном в коробке еще Наташей.

А ведь ее уже более девяти лет как нет на этом свете...

И вот она сумела-таки передать нам привет из своего Запределья. И рис с пряностями, приготовленный Светланой, был очень хорош...

Словом, по двум стенам крытой веранды у меня на даче не просто длинная угловая полка, а как бы мини-музей нашей семьи, наших минувших праздников. Где с каждым предметом, будь то даже пустая бутылка (то есть просто уже оболочка чего-то, но ведь и наше тело – это лишь оболочка души), что-то связано.

Например, коньяк «Ной» пятилетней выдержки мы пили с Натальиной коллегой – док-

тором биологических наук из Еревана. Он приезжал на целый месяц в Лимнологический институт поработать на Байкале. И в один из своих свободных дней сей ученый муж посетил нашу дачу, привезя с собой этот чудесный напиток. Причем приехал он сюда не только с Наташей, у которой с ним был какой-то совместный проект, но и со своей женой. Очень молодой и очень молчаливой женщиной с грустными восточными глазами. Рядом с ним – весьма грузным мужчиной – она выглядела просто девочкой...

А эта вот большая бутылка «Сливовки» была привезена из Югославии. Тогда еще единой страны, не разбомбленной в тридевятом (1999) году наглыми, до тупости самоуверенными американцами во главе с их тогдашним президентом – тоже, судя по его действиям, не отличающимся особым умом, – Джорджем Бушем и их европейскими союзницами по военному блоку НАТО. Югослав тоже был коллегой Натальи. Вообще, надо сказать, что коллег из разных научных институтов нашей страны и зарубежья у моей жены было немало. И все они для осуществления каких-то совместных проектов стремились побывать на Байкале. Югослав прибыл в Сибирь на две недели и в конце этого срока посетил нас с Наташей. Она приехала на дачу на выходные еще в пятницу вечером, а гость появился в субботу, ближе к обеду. Помню, что это был высокий, улыбчивый, веселый мужчина лет сорока. И вот эту почти двухлитровую югославскую бутылку мы с ним за выходные одолели...

А водку «Выборнову», стоящую рядом со «Сливовкой», мы пили у костра, уже осенью, с польским радиожурналистом, приехавшим взять у меня интервью, после того как несколько моих рассказов были переведены на польский язык и опубликованы там. И хотя сентябрь в том году был на удивление теплым, почти летним, все равно было немного грустно, оттого что очередное лето закончилось (а кто знает, сколько их у меня еще впереди в запасе, этих лет?). И даже веселое, яркое пламя костра и водка как-то не очень радовали, будто, несмотря ни на что, ты не мог избавиться от своего безмерного одиночества. От той неправильности, когда приходится подолгу жить в разлуке с близкими людьми. Тем более что дней наших

на земле всем нам не так уж много отмерено. Может быть, это чувство не покидало меня оттого, что Наташа на даче в то лето бывала крайне редко, мотаясь по научным экспедициям на судах Лимнологического института, в котором руководила самой большой лабораторией, со своими коллегами со всего света...

И только большие, хорошо видимые, яркие звезды, усеявшие весь черный бархат неба, как-то примиряли меня с действительностью и вселяли надежду на то, что весь этот чудесный мир никогда не кончится. И верилось, что настоящая литература – это тоже бесконечность. А именно о литературе и ее проблемах мы и говорили со Збышеком Красовским – репортером Варшавского радио. Попытавшись записать на диктофон не только свои вопросы и мои ответы на них, но и потрескивание угольков в догорающем костерке, в которых мы с ним пекли картошку. Закусывая потом ею. Вольготно и беспечно при этом, словно жить нам вечность, развалившись в раскладных креслах. И литературу мы сравнивали с космосом, который никогда не заканчивается, и каждая из звезд все время манит, загадочно манит к себе. И время от времени, шуруя палочкой в углях костра, отыскивая в них очередную картофелину, я поднимал мириады искр, радостно взмывающих вверх и, казалось, способных достать до неба. Однако полет искр был хоть и ярким, но весьма недолгим. Они скоро гасли, закончив свой краткий, праздничный, как фейерверк, полет. И, глядя на снопы искр и на малиновые угли костра, я вдруг с неизъяснимой грустью подумал о том, что вот в этом костре, по сути, собран весь пепел еще одного сгоревшего в моей жизни лета. И, в общем-то, не такого уж праздничного, поскольку жил я на даче почти все время один. У Наташи, как я уже сказал, были научные, иногда по целому месяцу, экспедиции. А сыну на дачу и всегда-то не очень хотелось. У него были свои молодые интересы. И скорее всего, в его возрасте быть дома одному ему казалось предпочтительнее. Да и проще, пожалуй, без посторонних-то глаз. Поскольку можно было, скажем, пригласить в гости свою однокурсницу по университету...

– Жаль только, что нельзя записать на диктофон эту вот необычайную тишину с мерным, ленивым шорохом о песок далеких волн там внизу, у Байкала. Да и куда, собственно говоря, им спешить – этим волнам? Ведь впереди у них целая вечность, – посетовал Збышек. И продол-

жил, когда мы выпили по очередной стопочке хорошей водки и, обжигая пальцы, стали чистить выуженную из углей картошку: – И звезды эти, такие огромные и яркие, как будто говорят о чем-то, тоже вечном, нетленном, таинственном, чего мы уразуметь своим слабым умом не умеем.

Далее на полке, сделавшей поворот на девяносто градусов – над южным к северному окну, – стоят в основном только бутылки – из-под различных наливок, бальзамов и других напитков. Вин: португальских, румынских, болгарских, венгерских, грузинских, чилийских. Последним я, кстати, чаще всего и отдавал предпочтение. Прежде всего потому, что они, на мой вкус, очень хороши и качественны. С особенным, своеобразным букетом. И не так дороги, как, скажем, французские или итальянские, что тоже весьма существенно.

Названия вин в бутылках до двух литров весьма разнообразны: «Киндзмараули», «Механджийско», «Мерло», «Шардоне»...

А названия водок каковы, песня просто: «Омулевка», «Путинка» (многие марки теперь уже и не выпускают), «Русский стандарт», «Свобода» (точно: выпил с утра – и весь день свободен), «Матрешка»! Эта бутылка действительно сделана в виде матрешки и раскрашена соответственно – очень ярко. Ее привезла нам знакомая из Омска, гостившая здесь несколько дней. Далее: «Тундра», настоянная на пантах, спирт «Альфа», как утверждают знатоки, лучший по качеству. А за «Альфой», уже по убывающей, следуют другие спирты, тоже используемые для приготовления водки: «Люкс», «Экстра». А вот и водка «Ангария» с фотографией плотины Братской ГЭС и аннотацией на этикетке: «Спецзаказ. Изготовлена и разлита специально для сибиряков...» Затем – «Беленькая», 0,25 литра, «Русский резерв» с двуглавым орлом на этикетке и тоже весьма заманчивой аннотацией: «Настоящее русское качество с 1895 года. Спирт «Альфа», золотая фильтрация...», бальзам «Амрита» из Бурятии; «Карельский бальзам» из Петрозаводска, состав: брусничный лист, плоды черемухи, гриб чага; «Кедровый бальзам» из Томска: мед, плоды шиповника, девясил, имбирь... И наконец, «Егерская», «Охотничья» – 45-градусная, «Зубровка»: эти крепкие настойки ныне нигде уже, увы, в нашей стране не выпускаются...

Этот ряд можно было бы продолжить, но не стоит. Ибо я уже не всегда точно помню, кто какие напитки нам сюда привозил. И с кем мы их потом распивали. Но зато я помню, что никто никогда не напивался на наших застольях. И вино лишь веселило присутствующих, а не делало их глупее или агрессивнее. Да и собраны все эти бутылки за весьма продолжительный промежуток времени – почти за восемнадцать лет. Так что пусть у тебя, дорогой мой гипотетический читатель, не создается впечатления, что на даче мы только тем и занимаемся, что ежедневно устраиваем пирушки. Нет, они у нас не так уж часты.

Но продолжу.

А вот эту двухлитровую бутылку чилийского вина, точно помню, привез нам певец Большого театра. На спектакль с его участием мы потом ходили с Наташей, приехав по каким-то делам в Москву. И по выданным им заранее контрамаркам смогли попасть в Большой театр, где он в опере Римского-Корсакова «Снегурочка» исполнял партию, кажется, царя Берендея. А к нам в Сибирь, тоже почти Берендеево царство, приезжал в отпуск, к своей дальней родственнице Наталье Залуми и ее мужу Василию Васильевичу Смирнову, которые, как и моя Наташа, были научными сотрудниками Лимнологического института. Эти коллеги и попросили Наташу разрешить им всем погостить у нас на даче несколько дней.

И каких же вкуснейших огромных хариусов в золотистой корочке готовил на углях Василий Васильевич недалеко от нашей бани, где располагается кострище! И какой от них исходил волнующий запах, способный, наверное, пробудить зверский аппетит у любого человека, отнюдь не чревоугодника. Впрочем, не предаться чревоугодию при наличии столь умело приготовленной вкуснейшей рыбы было просто невозможно. Да еще и с хорошим белым чилийским вином...

Так что надо сознаться: в те дни, когда Василий Васильевич и его жена Наталья со своим московским родственником гостили у нас, это был самый настоящий праздник живота!

Почти в самом конце полки стоит недавно водруженная туда бутылка из-под крымского вина «Саперави». Ее подарил мне Андрей, сосед по городскому дому, за мою книгу «Забывтые

запахи лета». Он с семьей побывал в Порту Байкал нынешним летом.

Бутылку эту с очень хорошим вином мы распили потом с сыном и невесткой за ужином (жареная картошка с грибами, собранными прямо на нашем участке, котлеты) накануне их отъезда. То есть, получается, только вчера. А кажется, что прошло уже так много дней, будто даже само всевластное время неимоверно замедлило свой ход. Отчего минуты превратились в часы...

Да, расставание с любимыми людьми – это всегда, увы, совсем не праздник...

«Праздник закончился», – с грустью подумал я, вспомнив при этом очень нравящуюся мне «Балладу о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова, написанную в 1932 году. Уже так давно.

Стихотворение это я знаю наизусть. Мысленно я и прочитал его первую и последнюю строфы:

*– Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями, –
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.*

*.....
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них.
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг!*

И, вспомнив все досадные мелочи, связанные с приездом моих родных: ребячьи капризы, и порою, казалось, беспричинные их слезы, и прочие шалости, – я вдруг подумал, какие это всё, в сущности, были пустяки, на которые и обращать внимание не следовало бы. А пребывание их всех здесь, на даче, было, несомненно, настоящим праздником! Во всяком случае, для меня это был, пожалуй, лучший месяц нынешнего лета 2018 года. И даже, может быть, это было лучшее лето последних лет. Ибо когда еще мы сможем снова собраться вот так, все вместе? А мне всю жизнь именно того и хотелось – чтобы у нас было некое родовое гнездо, куда бы с охотой съезжались самые близкие люди...

Да, прав был Экзюпери, утверждая, что человеку дана единственная роскошь – роскошь человеческого общения. И вот эта роскошь общения с дорогими тебе, близкими людьми за-

кончилась. И даже рыжего котешку Карасика увезли. А так бы хоть какая-то живая душа была рядом...

Честно говоря, давненько я уже не испытывал такого гнетущего состояния тоски и одиночества. Такого не бывало со мной, помнится, даже посреди необъятной тайги, в сгущающихся сумерках на излете короткого зимнего дня, когда ты еще не вышел к зимовью...

И даже моя и Димина записка на разных сторонах листка (я для чего-то сохранил ее, положив на письменный стол у окна с видом на Байкал, вместе с другими бумагами в доме) показалась мне теперь чем-то значительным, полным затаенного, нераскрытого до конца смысла. Ведь в ней были запечатлены столь дорогие мне минувшие мгновенья бытия.

А в связи с этой двойной запиской вспомнилось, при каких обстоятельствах мы с сыном писали друг другу.

Как-то уже под вечер, часов в семь, прямо на паласе на просторной веранде сон свалил Сашуню. Он прямо-таки рухнул на пол. И ребята (Дима и Света), чтобы он не разоспался («А то ночью не будет спать и нам никому спать не даст», – сказала Света), дав ему полчаса на сон, как поверженному на поле брани герою с раскинутыми в стороны руками, потом аккуратно разбудили его, умыв прохладной водой. После чего, чтобы он опять не разоспался и не начал капризничать, отправились с ним и Костюшкой в магазин за тортиком. Намереваясь затем, часов в восемь вечера, попить всем вместе чаю.

Ребятишек родители посадили себе на загравки. И таким верблюжьим караваном отправились вниз...

Уже стемнело, и восемь часов миновало, а их все не было.

«Видно, после магазина пошли, как обычно, к Байкалу покидать в воду камешки. Это очень нравится ребятам», – решил я, чувствуя, что тоже уже засыпаю. Поскольку день у меня выдался нелегкий: после обеда я вкапывал столбы для ограды. А при каменистом грунте здесь, на горе, работа эта очень тяжела.

Я включил уличную лампу над входной дверью на закрытую веранду, чтобы ребятам в темноте был ориентир. Своего рода маяк во мраке ночи. И, поняв, что не смогу их дождаться, оставил записку на столе: «Ребята, сон валит с ног

богатыря. Так что трапезничайте без меня. Я пошел спать...»

А утром, выйдя из дома на веранду часов в восемь (Дима со Светой обычно спали часов до десяти, если их не будили дети), на обратной стороне листка обнаружил ответную записку от сына:

«Папа, откуда ты носишь воду для бани? Я хочу тебе помочь.

P. S. Твои рабочие штаны я снял с уличной веревки и занес внутрь на случай ночного дождя.

P. S. S. Да, и еще. Дай мне, пожалуйста, несколько листов бумаги для записей и рисунков...

Кусочек торта для тебя – в холодильнике».

И вот теперь, взглянув на этот листок, я вспомнил, что одно время даже собирался написать нечто под заглавием «Домашняя переписка», поскольку в отдельной папочке у меня за много лет скопилось множество различных записок от домочадцев и близких мне людей. Жены, сына, моих родителей, сестры. Выбросить которые у меня не поднималась рука. Слишком уж много в этих клочках бумаги разного размера было неподдельной любви и трогательной заботы друг о друге...

Правда, сесть и начать писать подобное повествование я пока так и не собрался. И вряд ли соберусь уже.

И эта папка с записками давно лежит в одном из ящиков моего письменного стола в городе без всякого применения. Напоминая мне некий закрытый сундук с драгоценностями – свидетельствами жизни моих самых близких людей. Многих из которых уже нет на этом свете. Жены, сестры, родителей. С женой мы особенно любили обмениваться такими краткими посланиями. И в них всегда было столько нежности, заботы. И – скрываемой за обычными, обыденными словами – истинной любви...

Думаю, что этот мой «сундук» так и останется нераскрытым для посторонних глаз. Во всяком случае, пока я жив. А еще лучше, если я успею все это: записки, свои дневники – вовремя сжечь. Чтобы посторонние глаза не заглядывали в мою личную жизнь. Как это я уже сделал с письмами. О чем и написал впоследствии: «Я затопил на даче печь, чтоб письма от любимой (честнее было бы, конечно, написать «от любимых», ибо я нешуточно влюблялся несколько раз) сжечь...»

Даже и здесь, на даче, в выдвижном ящике прикроватной тумбочки, у меня кое-что сохранилось. Правда, не из той папки «Домашняя переписка», а в детском Димином альбоме с его рисунками, когда-то привезенном сюда.

Вот, например, записи моего отца и мамы, датированные 17–19 декабря 1986 года, когда они «на недельку» приезжали из Ангарска в Байкальск повидаться с нами. А еще и – как основной повод – на день рождения Димы (21 декабря). Тогда ему исполнилось шесть лет.

Он был очень подвижный, озорной мальчишка с неумной энергией. И мой отец с мамой играли с ним в хоккей. (Я в то время был в Москве, сдавая в Литинституте очередную сессию, и должен был прилететь из столицы аккурат двадцать первого декабря к часу дня, когда Дима и появился на свет в Ангарске чудесным зимним ярким солнечным днем в 1980 году.) Играли они на плотно укатанной снежной дороге, хорошо освещенной уличными фонарями, у нашего коттеджа.

И отец своим красивым почерком на чистой от Диминых рисунков стороне альбомного листа комментировал эти матчи:

«19.XII.86 г.

Дима забил бабе Любе 24 шайбы, а баба – 8 шайб.

Вся измоталась. Просила пощады».

И так удивительно читать сейчас эти давние записи, когда родители были моложе меня нынешнего. Отцу было – 67, маме – 61 год.

Или вот еще, продолжение, написанное чуть ниже на том же листе:

«Баба стояла на воротах. Дима забил ей 15 шайб, а я ему – 5».

Записи эти, следующие одна за другой, отчего-то расположены в обратном хронологическом порядке, сверху вниз, за 19, 18 и 17 декабря.

Три записи о победах внука.

Я даже представляю, как дед с Димой после хоккейных баталий сидели на диване в нашей теплой уютной гостиной и мой отец писал эти записки, чтобы потом «показать папе», то есть мне.

В этом же альбоме сохранился и листок в клетку из ученической тетради, на котором Дима, уже в восьмилетнем возрасте, в Иркутске, в нашей квартире на Луговой, 2, написал, наверное, свой первый рассказ «Мой кот Мишка». О

придуманном им храбром дворовом коте, друге мальчика.

Ведь, в принципе, любому ребенку от нас, взрослых, нужна только любовь и дружба. И если эти наши чувства искренни и неподдельны, то и мы от наших детей и внуков получаем в ответ монеты той же самой высшей пробы – совершенно бескорыстную и чистую, как золото, не подверженное никакой коррозии, любовь. То есть в конечном итоге мы получаем от них в ответ самое ценное, что есть на свете, – это необъяснимое чувство, так необходимое всему живому на нашей планете, куда-то стремительно летящей в необъятном холодном черном космосе...

А ведь я еще, бывало, и поварчивал порою мысленно на своих внуков, отвлекающих меня своей привязанностью, как мне казалось, от чего-то более важного – от писания рассказов и неотложных хозяйственных дел. Опять же мысленно цитируя письмо Сенеки к своему другу: «Все у нас, Луцилий, чужое. Одно лишь время наше. И то у нас его кто хочет, тот и отнимает...»

А ребяташки-то ведь вовсе не отнимали время, а дарили нечто более важное, более ценное – свое общение, с таким светлым, любознательным мироощущением, присущим только маленьким детям. Даря нам всем, по сути, праздник!

Как там поется в песне моего знакомого – барда Евгения Куменко?

*В нашей жизни быстротечной
Нужен праздник – сказки вечной,
Чтоб казалась бесконечной
Жизни тонкая тесьма.*

Увы, тесьма нашей жизни действительно весьма тонка и способна оборваться в любую минуту. Однако Господь по милости Своей не дает нам предвидения нашего конца, отчего жизнь кажется нам бесконечной. Ибо, если не сегодня, значит, никогда. Все прямо-таки по словам классика: «Пока мы есть – смерти нет. Когда приходит смерть – нас уже нет».

И у Марины Цветаевой об этом (в стихотворении, написанном ею в двадцать лет, «Уж сколько их упало в эту бездну, разверзтую вдаль...») сказано, по-моему, с такой пронзительной предельной точностью: «Послушайте! – Еще меня любите за то, что я умру».

Да, как это ни печально, все мы, увы, не вечны. Поэтому и надо спешить заполнить наше

земное существование самым драгоценным, что есть на этом свете, – искренней любовью...

Так и не получилось у меня, похоже, до конца определить, что же такое счастье. И из каких, собственно говоря, компонентов оно состоит. А ведь счастливый человек – это прежде всего праздничный человек, не только для самого себя, но и для окружающих его людей. Искрящийся, как яркий фейерверк в ночной черноте!

Впрочем, составляющих счастья, как и праздника, вообще может быть очень много.

Это и любимая работа.

Это и общение с близкими тебе по духу людьми: друзьями, родственниками.

Это и позитивное, светлое мироощущение, когда ты живешь в гармонии с самим собой и окружающим тебя миром.

Одним словом, составляющих счастья может быть множество. И их, по-моему, даже не имеет смысла все обсуждать и расставлять по полочкам. Поскольку это некий нерушимый комплекс, который должен быть основан на прочном фундаменте, коим является, несомненно, любовь. В самом широком понимании этого слова. Ибо любовь, по словам апостола Павла в его Первом послании к коринфянам, характеризуется так: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится...»

Это может быть и любовь к своему Отечеству, и к близким тебе людям, и к Природе – нашей прародительнице. И, напротив, нелюбовь к ее губителям и к себе самому, если ты лжешь или лукавишь, пусть даже только самому себе...

Да и вообще, человек, на мой взгляд, должен стараться видеть вечные, а не временные перспективы. Тогда и жизнь его становится, во-первых, легче. А во-вторых, значительнее и осмысленнее. Ибо любой вопрос «зачем?» предполагает какую-то цель.

Зачем человеку Бог? Который, как известно, и есть сама любовь: «Бог есть любовь».

А зачем человеку жизнь?

Зачем мне корабль? Чтобы переплыть море. Или зачем мне какие-то навыки и знания? Наверное, чтобы добиться каких-то своих целей.

А зачем мне их добиваться? Стоят ли они того? И какова вообще цель человеческой жизни?

Я думаю, что цель человеческой жизни – это сама жизнь, дарованная нам из миллионов все-

возможных комбинаций нашими родителями и Творцом.

Впрочем, все это вопросы философские. И ответы на них могут быть, значит, тоже только философские. То есть в большинстве своем все-таки не практические. Плохо сопрягаемые с нашей жизнью.

Что же касается лично меня, то я, положив руку на сердце, открою уж вам секрет, что больше люблю будни, чем праздники, о которых я здесь в этой непонятной и для меня самого вещи так много и подробно говорил.

Будни же я прежде всего люблю за то, что в них все размеренно, четко, предсказуемо. Они не обещают и не предполагают никаких чудес. Ибо обычная, без каких-либо трагических потрясений жизнь – это уже и есть настоящее чудо. Надо только научиться это чудо видеть и ценить. То есть чудеса можно увидеть и в чем-то обыденном. Например, в тонком ярком серпике луны с синей яркой звездочкой возле этого серпика снизу. В холодном декабрьском утре с летящим над рекой на близкую посадку самолетом. Или в созерцании тихо, плавно падающих вниз из темноты зимнего утра белых снежинок. Белое из черного...

Это и есть поэзия будничной жизни. И как хорошо об этом сказано у Александра Блока в его стихотворении «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...»:

*Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран –
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!*

Тем более что праздников, которые всегда, я думаю, попросту не существует.

Не будет горя – не будет и счастья.

Не будет будней – не будет и праздников...

И все-таки праздник, который всегда с тобой, есть.

Это, как я уже сказал, любовь. Которая и помещена, по-моему, в нашей бессмертной (хотим мы того или нет, но все мы обречены на бессмертие) душе. И она, как вечная наша надежда на что-то светлое, достойное, счастливое, живет в нашем теле и не дает нам, как и совесть, успокоиться и оскотиниться. Постоянно подсказывая нам, что человек рождается не для уныния, а для праздника и счастья.

Помните, как об этом сказано у Сергея Есенина?

*О, верю, верю, счастье есть!
Еще и солнце не погасло.
Заря молитвенником красным
Пророчит благодатную весть.*

А ведь надежда – это не что иное, как ожидаемая уверенность в чем-то. Ибо без надежды ни один человек жить не может. Даже засыпая, мы все же надеемся, что завтрашний день для нас наступит. А без подобного состояния жизнь человеческая становится просто невыносимой, потому что безнадежной.

Уверенность же, в свою очередь, не может существовать без веры.

Значит, без веры в Бога не может быть и надежды. В лучшем случае это может быть мечта. Но мечта – это лишь игра воображения, некая фантазия, и все.

Именно поэтому надежда у человека верующего никогда не умирает, а переходит в жизнь вечную. Может быть, и не в такую прекрасную в конечном-то итоге. Ибо за все наши деяния нам предстоит дать ответ. Так что мысль моя очень проста. Человек, будь человеком при жизни и относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Тогда, возможно, и жизнь людская станет праздником. И только очень глупый или толстокожий, словно бегемот, человек может, по-моему, этого не понимать.

Недаром же Альберт Эйнштейн утверждал: «Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не совсем уверен...»

А раз есть бесконечность, значит, должна быть и вечность.

Во всяком случае, хочется, чтобы все было именно так.

И тогда, наверное, много легче будет воспринимать трагизм нашей жизни, с заведомо печальным в конце этой пьесы финалом.

Ибо, получая жизнь, мы неизбежно получаем и смерть. А без дальнейшей счастливой перспективы это полная бессмыслица.

Вообще же, если продолжить сии размышления, я уверен, что в жизни не бывает ничего окончательно плохого. А те испытания, которые даются нам, служат лишь хорошему – очищению нашей души «от всякия скверны». И вспомните, сколько раз, пережив те или иные напасти, мы

восклицали впоследствии: «Как хорошо, что то-то и то-то случилось, ибо это подвигло меня к тому-то и тому-то». То есть в конечном итоге улучшило нашу жизнь, отвратив от нас многие напасти...

Спустя несколько дней после отъезда сына и его семьи с дачи, совершенно измотанный тоской по ним, я позвонил Диме.

– Ну, как вы там поживаете? – спросил я деланным беспечным тоном.

– Все хорошо, отец, – серьезно ответил сын. – Костик только все время спрашивает, когда ты приедешь. Скучает.

Мы немного помолчали, и я наконец-то решил сказать о самом главном (хотя отчего-то почти всем нам это всегда дается с трудом).

– Знаешь, Дима, я очень по вам скучаю, – все-таки не сумел я сразу сказать всего того, что хотел.

– Мы тоже, – ответил сын.

– И еще, – продолжил я, уже полный решимости. – Я тебя очень люблю! – наконец-то проговорил я.

– Я тебя тоже очень люблю, – ответил сын негромко и по-прежнему очень серьезно.

И я почувствовал, как откуда-то взявшийся комок, словно небольшой, но твердый снежок, вдруг застрял в моем горле, сдавив дыхание. И я, чтобы не расплакаться в трубку, с трудом произнес:

– Ну ладно, пока.

– Пока, – в тон мне ответил сын.

Выключив телефон, я почувствовал, как по моим щекам покатились крупные, горячие слезы, которых я, впрочем, не стыдился. Хотя всегда считал, что слезы настоящему мужчине не к лицу. Может быть, не стыдился я их оттого, что был здесь, в доме, один и слез моих никто не видел?

При этом надо сказать, что плакал я в своей жизни, даже в детстве, не так уж часто.

Помню, как однажды, будучи уже взрослым человеком, я горько разревелся – чуть ли не до истерики, до икоты. Тогда мне было уже тридцать лет. И я, до этого бросив (как теперь понимаю, по своей дурости) аспирантуру в Ленинграде, работал на буровой. И вот, вернувшись в очередной раз из командировки из какой-то забытой Богом деревеньки, где мы недели две бурили скважину на воду, я дома не сдержался и разревелся, лежа в ванне с горячей водой. Я

тогда еще не был женат и жил с родителями и сестрой в Ангарске. И вот, млея в ванне и размышляя о своей жизни, я вдруг понял, что я полный банкрот. И будущее мое представилось мне весьма серым и унылым. Совсем неинтересным и совсем не праздничным, похожим на этот осенний день с дождем и грязными лужами повсюду, когда я добирался из деревни до дома.

«Лермонтов в 27 лет погиб на дуэли, став уже классиком русской литературы. А я так и не написал еще ни одного рассказа, все только примериваясь к чему-то! – горестно размышлял я, открыв кран с горячей водой еще больше, чтобы тугой звук струи смог заглушить мои безудержные всхлипы. – И для чего я тогда бросил аспирантуру и уехал из Питера? Чтобы колесить по всей области, зарабатывая большие деньги? Которые не приносят счастья, как я быстро убедился. А времени, чтобы сосредоточиться и писать, у меня не остается. Постоянные командировки. Грязь, вонь от пота и портянок в жилом вагончике, где мы отдыхаем после смены. Пьянки бригады в свободное от работы время, от которых мне пока (надолго ли?) удастся уклоняться. И все это будет вечно. И разве к этому я стремился?»

На все эти вопросы ответов у меня, увы, не было. До того я считал, что с помощью своей воли, видевшейся мне неким несгибаемым металлическим стержнем, смогу добиться всего, чего хочу. А в ту минуту я осознал, что воля моя становится неким гибким капроновым жгутиком и уже, похоже, не может удерживать мою спину прямой – с гордо поднятой головой. Нечем гордиться...

Тогда и полились мои слезы безысходности. Когда в нормальное будущее просто уже не верилось...

А через год я женился, написал первый рассказ, сразу почувствовав, что это что-то стоящее, несмотря на то что его никто и нигде не хотел публиковать. Впрочем, много лет спустя о том же рассказе некоторые мои прежние критики говорили как о чем-то значительном, оригинальном, необычном и даже высокохудожественном. Это был рассказ, названный мною по жанру – акварель: «Три летних дня в конце июня...». Рассказ о жизни трех поколений бабочек-однодневок и жизни двух молодых людей – юноши и девушки, сумевших наделать за те же три дня кучу глупостей, которые чуть не привели к трагедии...

Потом, когда все постепенно нормализовалось, я не плакал четверть века. До пятидесяти пяти лет. Разревевшись безудержно в день смерти мамы – 11 апреля 2003 года, чувствуя свою вину, за то что мало времени уделял ей. И я помню, как сын стоял за моей спиной на нашей кухне в Иркутске (куда я вернулся уже к вечеру из Ангарска, отвезя там маму в морг и собрав необходимые для похорон документы) и, ничего не говоря, просто молча гладил меня по спине. Так делала и мама, успокаивая меня в детстве, когда я плакал, например, от боли в разбитой колленке...

И это были уже слезы, казалось, безмерного, неподъемного горя.

И потом, в 2005-м, когда, не дотянув нескольких дней до 60-летия Победы, как он хотел, поскольку сам воевал, умер отец, говоривший мне не раз: «Не хочу я, сынок, жить без мамочки. Тоска меня без нее съедает», и в 2009-м, когда умерла жена, и в 2016-м, когда умерла сестра, – было очень горько, но слез таких горячих уже не было. словно душа окаменела. Будто все это происходило не со мной. И словно все это я видел лишь со стороны, отстраненным взором. Как, по их утверждению, видели свое тело люди, пережившие клиническую смерть. Наверное, это была просто защитная реакция организма...

А сейчас, после разговора с сыном, это были, пожалуй, слезы счастья.

Хотя на вопрос: «Могу ли я себя считать счастливым?» – я вряд ли отвечу утвердительно. И даже не потому, что по логике Хемингуэя считаю себя человеком если уж и не умным, то, во всяком случае, весьма неглупым. А потому,

что просто не знаю этого. Как не знаю до конца, что же такое счастье. Ибо его невозможно оценить. Его можно только почувствовать...

Впрочем, не ищите в литературном произведении факты и ясные ответы. Ищите дух. Дух важнее фактов.

Более того, если в литературном произведении нет контекста, значит, нет и творчества. Ибо идеальная иррациональность – это и есть настоящая литература. Где происходит соединение читателя и писателя в одном лице, как это было в романе Сервантеса «Дон Кихот».

Другими словами, если ты пишешь как живешь и живешь как пишешь – это и есть настоящее творчество и настоящая литература. Поскольку литература возникает там, где нет литературы. Она прорастает из самой жизни.

На этом, пожалуй, я и закончу свои поиски. Ибо этот процесс – поисков чего-то истинного – к счастью, бесконечен...

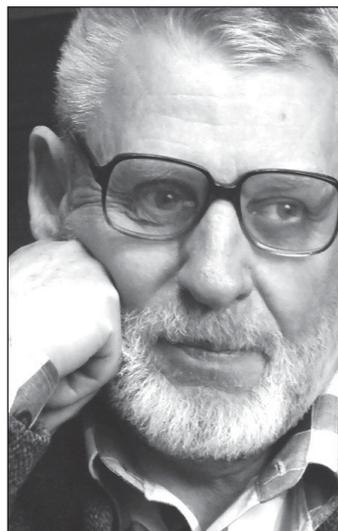
И если в философии вопрос: «Что было вначале – яйцо или курица?» – еще можно как-то обсуждать, то в отношении литературного процесса, на мой взгляд, все очевидно. Сначала должен был появиться читатель, а уж потом писатель. То есть должна была возникнуть потребность в литературе. Так же как из отдельных звуков возникла потребность в речи, которая и отличает нас от животных. Ибо мы можем говорить, мыслить, анализировать свои поступки. Плохие или хорошие.

Хотелось бы, правда, чтобы хороших поступков было значительно больше. Поскольку праздник – это не тогда, когда хорошо кому-то одному, за счет других, а когда хорошо очень многим. Лучшее – всем...



Юрий
МОГУТИН

ОТЗВУК ЖИЗНИ
ПРОЖИТОЙ



* * *

*Тихий дом на трассе красноярской...
От тесовых, в петухах, ворот
Веет домовитостью крестьянской,
Тем, чего мне так недостает.*

*Крепок сруб из бревен здоровенных.
Вкруг двора – заплот из новых слег.
На коньке ушастая антенна
Ловит в облаках двадцатый век.*

*В кухне печь, дороднее дворянки,
Пышущая зноем, ждет гостей.
На припечке сушатся портянки
И сырые валенки детей.*

*Ходики постукивают глухо.
А за печью в кедровом чану
Бродит золотая медовуха –
Примешь ковшик и пойдешь ко дну.*

*По-крестьянски прочно быт налажен,
Скот накормлен, и семья сыта.
У печи старуха сучит пряжу,
А клубок – в игрушках у кота.*

127

*Из угла, с разостланной попоны,
На кота и на его клубок
Взглядом Рафаэлевой мадонны
Смотрит зачарованный телок.*

*Крепок сруб из бревен здоровенных.
Истари осел здесь человек.
Но уже навел на быт степенный
Хищный взгляд рациональный век.*

*Ах ты, печь-кормилица! Полати,
Кот, теленок... Всем вам исполать.
Под напором злой железной рати
Хуторку в наш век не устоять.*

*Мир непрочен. Рвется там, где тонко.
Наступает город на поля.
Оскудела молоком буренка,
Облысела хлебная земля.*

* * *

*Иногда мной овладевает странное
чувство,
Словно однажды я эту жизнь уже прожил,
Словно у нее уже была двойняшка –
Некая тень зеркальная, близнец сиамский.*

МОГУТИН Юрий Николаевич родился в 1937 году в семье дипломата, репрессированного в 1938 году. Детство прошло в эвакуации на Урале и в разрушенном войной Сталинграде. Окончил историко-филологический факультет Волгоградского пединститута, преподавал в Забайкалье русский язык, работал в сибирских газетах. Прожил в Кемерове 16 лет. Окончил Высшие литературные курсы. Член Союза писателей СССР. Автор многих книг стихов и прозы, лауреат Горьковской литературной премии и премий толстых журналов. Живет в Москве.

Этот близнец носил мою кучую бороду,
 Встреченных разглядывал устало
 и рассеянно
 И переходил улицу не там, где положено,
 Хотя тогда, возможно, еще и не было
 никаких правил...

Иногда мной овладевает странное
 чувство,
 Словно эта весна уже наступала однажды,
 Этот же май, клейких листьев
 торопливая лепка.
 Может, наше будущее – это наше
 забытое прошлое?

Вот живу по второму (а может быть,
 по десятому?) кругу,
 Вроде и заботы у меня теперь совсем
 иные, современные,
 Вроде и эпоха на дворе сейчас шальная,
 небывалая,
 Только почему вокруг так много черт
 знакомых у впервые встреченных?

Иногда мной овладевает странное
 чувство,
 Будто промежуток между двумя моими
 жизнями –
 Это лишь остановка в пути, полустанок, ¹²⁵
 затерянный
 В бесконечности страшной, зияющей
 Вечности...

И какое мне дело до имени или прозвища,
 Что носил я в предшествующем бытие
 моем,
 Если я не изменился в сущности,
 Если эта жизнь лишь отзвук жизни
 прожитой!

Иногда мной овладевает странное
 чувство,

Словно моя жизнь свою старую кожу
 сбрасывает,
 А под нею – новая, еще не задубевшая,
 Сквозь которую душа моя затворница
 просвечивает.

Иногда мной овладевает странное
 чувство,
 Словно я и жить-то в предыдущей жизни
 выучился,
 А теперь плоды учебы этой давней
 пожиною,
 За ошибки, совершенные не мной
 сегодняшним, расплачиваюсь...

* * *

Пожары розовой сирени
 Облиты лунным молоком,
 И Млечный Путь над всей деревней
 Блестит, как вылизан телком.

В дровах гнилушки тускло тлеют,
 Мышей летучих реет рать.
 В белесой мгле сады белеют,
 Как будто начало светать.

Вот, выгнув шею лебедино,
 Как будто бы неся дозор,
 Блестит в сенцах непобедимо
 Усталый плотницкий топор.

И в избяной уют домашний
 Вплетает мирно, не со зла,
 Меланхоличный лай дворняжки
 Душа уснувшего села.

Всю ночь тоска собачья длится...
 Так хочется окликнуть высь:
 Что будет тут лет через триста?
 И высь ответит тихо: жизнь.



**Михаил
КОСАРЕВ**

ТАМ ЖИЛИ ПОЭТЫ...

Диалоги в ресторане



Ресторанный зал времен расцвета нэпа. Действие происходит попеременно за одним из четырех столиков, которые мы обозначим как **Столик возле окна, Столик под пальмой, Стол в центре зала и Столик за колоннами.**

СТОЛИК ВОЗЛЕ ОКНА

За столом с явными приметамы долгого, основательного ужина сидят трое:

Г р и в а – седовласый мэтр дореволюционного разлива, **Ш у м с к и й** – молодой, весьма довольный собой красавец, и поэтесса **Т у м а н о в а** – особа, пребывающая большей частью своего сложного мира где-то в заоблачных высях, но весьма колючая, если спускается на землю.

Ш у м с к и й. Нет, нэп – это все же шаг вперед. Сидим культурно, и никто не спрашивает, а есть ли у нас деньги. А вот когда мы с Костей в двадцать первом в Самаре заходили – не в ресторан, конечно, какие там могли быть рестораны! – в ряды со съестным на местном базарчике... Так торговки прятали от нас караваи и баранки и даже пирожки с морковкой.

Г р и в а. Вероятно, ваши физиономии не вызывали доверия.

Ш у м с к и й. Это сейчас мы всматриваемся в физиономии. Тогда достаточно было кинуть взгляд на штаны и обувь. Да... И мы принуждены были сначала показывать свои деньги. При-

чем Костя махал своей пачкой очень грозно, как мандатом ВЧК.

Г р и в а. А ты?

Ш у м с к и й. А я как бы осенял ими всех вокруг. На манер чудотворной иконы. Предвкушение кратковременного насыщения делало меня благодетелем.

Г р и в а. Откуда у вас тогда были деньги?

Ш у м с к и й. Ну, во-первых, жалованье, что нам платили за наши агитки. Его хватало ровно на один поход по базарчику. А во-вторых, случился у нас там любопытный заработок. Где уж Костя откопал этого пузана... Интендант какой-то. Даже Реввоенсовет не живет без интендантов. Можете себе представить: интендант – и вдруг стихи.

Т у м а н о в а. Он писал стихи?

Ш у м с к и й. Нет, он нам заказывал писать стихи. Точнее, стихотворные тосты. День ангела у начальника – он встает за праздничным столом и шпарит поздравление, да такое, что заслушаешься. Писал не кто-нибудь, а два голодных гения. Назавтра торжество по случаю вступления в должность еще какого-нибудь фрукта. Он заранее узнает, что тот из себя представляет. Заслуги, пристрастия и прочее. И к нам – обыграйте все это тонко, изящно, феерично. Ну, вы же знаете. Если надо тонко, изящно, а в перспективе – каравай ситного, то за этим только к нам. Ты пришел по адресу.

КОСАРЕВ Михаил Алексеевич родился в 1961 году в Новосибирске. Окончил Томский университет. Журналист, прозаик, литературный критик. Публиковался в журналах «Литературное обозрение», «Сибирские огни», «Москва», «Подъем», «Бельские просторы». Живет в Новосибирске.

Г р и в а. Зачем ему это было надо?

Ш у м с к и й. Полагаю, что деньги, потраченные на нас, вернулись к нему сторицей. Он не из тех, кто зря расстанется с самым малым грошиком. Если ты украшение застолий, то тебе уж как-нибудь простится соразмерное должностное воровство.

Т у м а н о в а. Как приземленно! А где же бескорыстные меценаты?

Ш у м с к и й. В римской истории, мне кажется, много напридумано. Нет, что был Цезарь – я верю. А вот что был Меценат – сочинили. Мир всегда делился на поэтов без копейки и хапуг без чувства прекрасного. Ну и как они могут встретиться?

Г р и в а. Только если поэт умудрится без копейки напиться до бесчувствия!

Ш у м с к и й. Ха! Остроумно, но не более. Ведь прав-то я. Вы посмотрите «с холодным вниманьем вокруг», как сказал, кажется, Полежаев. Где меценаты?

СТОЛИК ПОД ПАЛЬМОЙ

За небольшим, богато сервированным и еще не разоренным столом сидят поэт-имажинист

С е р е г а, с ним его тихий собрат по цеху по прозванию К у д р я ш, чью фамилию всегда и все, кроме злобных критиков, забывают, и нэпман с внешностью старовера – А р д а л и о н

Т р о ф и м ы ч. Последний разливает по рюмкам водку из красивого графинчика.

И м а ж и н и с т С е р е г а. Ну, Ардальон, это, брат, момент исторический. Ты вписываешь, можно сказать, свое имя... Пройдет век, другой. А на полках библиотек все будут стоять тома... Прекрасно изданные тома поэзии, перевернувшей мир. Настоящей поэзии, а не «травка зеленеет, солнышко блестит». И кто подарил миру такую возможность? *(Он берет со стола несколько бумажных салфеток и держит их в одной руке, а другой начинает листать, подобно книге.)* А вот тут... Это, чтоб ты знал, называется авантитул. И вот тут, под крылатым конем Пегасом – ну, художник нарисует, будет красиво – внизу написано: «Издательство А Тэ Посконникова».

А р д а л и о н Т р о ф и м ы ч. Погодь, погодь. В историю мне не по деньгам. «Подарил», опять же... Слово какое-то... Не купеческое. Ты ж говорил, что окупится, что на вложенный капитал я...

И м а ж и н и с т С е р е г а. Ну что ты за человек, Трофимыч! Тост разве можно прерывать? А вроде из хорошей семьи. Вятские нам,

рязанским, почти родственники. Давай выпьем за успех нашего предприятия! А о презренной прозе потом поговорим.

Выпивают.

Поговорим обязательно, я вот специально счетовода привел.

Кудряш склоняется ниже к салату и старается не глядеть на нэпмана.

Ты ему только счета предоставь, такие, знаешь, чтоб костяшки отполированы были мозолями миллиончиков. Сам-то, поди, тоже на счетах свои барыши сводишь и в толстые книги записываешь? С росчерками всякими, с завитушками. Ну, по второй!

Сам уверенной рукой разливает водку. Чокаются, выпивают.

И эти книги тебе дороже всего. Дебет, кредит, сальдо всякие. Хорошо пошла?

А р д а л и о н Т р о ф и м ы ч. Так это... А разве по-другому бывает?

И м а ж и н и с т С е р е г а. Хорошо живешь, Трофимыч. А у нас бывает по-всякому. Только не здесь. Я ж тебе обещал, что приведу в лучшее место Москвы. Понимаешь, писатели – они в этом толк знают. Потому что в сером веществе за «выпить-закусить» та же самая искра Божия отвечает, что и за вдохновение.

127

СТОЛИК ВОЗЛЕ ОКНА

Г р и в а. Шумский, ты поэт! Ты прости, но не книги твои меня в этом убедили, а вот этот диалог с половым.

Ш у м с к и й. Тебя посадят, Грива! Нет сейчас половых. И этот паренек, между прочим, член профсоюза пищевиков, ходит на демонстрации и осуждает левую оппозицию!

Г р и в а. Хорошо, нет так нет! Я не об этом! Сколько нежности ты вложил в описание: как должны быть свернуты, обжарены, поданы эти блинчики с грибами. Про грибы ты говорил, закрыв глаза, как алеутский шаман. Это высокая поэзия! Позволь дальше прозой: где твой Костя с деньгами?

Т у м а н о в а. Я так и поняла, что про грибы это был маневр. И что над нами уже сгущаются тучи.

Ш у м с к и й. Разрешите по пунктам, как на диспуте в клубе железнодорожников? Про грибы... Закусывать надо? Надо. Грибы – это легонькое, а провозятся с ними на кухне долго. Увидите, я еще подгонять их начну. Никаких косяк-взглядов, а сплошная виноватость. Тучи, та-

ким образом, над нами не сгущаются. Это два. Третье: Костя находится в совершенно особых, почти интимных отношениях с Фортуной. Тем или иным способом он ее уломает, и мы не проведем эту ночь в милицейской тигулевке.

Г р и в а. Тем или иным... Способов у него, собственно, два: на красное или на черное.

Т у м а н о в а. Идея была дурацкая. Спустить последние деньги в казино.

Ш у м с к и й. Но мы уже толковали об этом: ведь все равно бы не хватило!

Т у м а н о в а. Не хватило – значит, считать не умеем, а пустые карманы – это уже наглость.

Г р и в а. Афористично! Вот так бы в стихах!

Т у м а н о в а. Получишь канделябром!

Ш у м с к и й. Грива, чем рецензировать здесь, устно и бесплатно, расскажи лучше мадемуазель Тумановой, что фокус этот мы уже проворачивали.

Г р и в а. Подтверждаю. Все было почти так же. «Шампанского!» – и далее по накатанной. Собрали последние копейки и отправили Костю, тогда ближайшее казино было через дорогу. Через десять минут он появился на пороге с оттопыренными карманами.

Т у м а н о в а. Легенды и мифы состоят из глаголов, которые невозможно поставить в настоящее время изъявительного наклонения.

Ш у м с к и й. Классическая гимназия! Не то что мы, недоучки.

Г р и в а. Поелику я был изгнан не из гимназии, а из коммерческого училища... Рулетка – это математика, а не фортуна. В прошлый раз прокатило, следовательно, сегодня наши шансы вдвое ниже!

Ш у м с к и й. У нас есть Костя.

Г р и в а. Но с ним Корнелиус Крейс! Боже, с таким псевдонимом штурмовать бастионы Фортуны...

Ш у м с к и й. Он сойдет за блаженного.

Т у м а н о в а. Вон и они, легки на помине!

Ш у м с к и й (Гриве). Не оборачивайся! Спугнешь удачу. Сиди как ни в чем не бывало! Тамара нам все расскажет. Видишь их?

Т у м а н о в а. Вижу. Кроме ушей Корнелиуса, ничего оттопыренного! Или они наняли нести чемодан с деньгами вон того, во френче?

Ш у м с к и й. Бог мой, до чего загадочно! Когда уж они подползут?

Г р и в а. Зал большой. А как иначе, это ведь ресторан для литераторов.

Возле столика появляются: К о с т я – энергичный крепыш с невообразимой шевелюрой, К о р н е л и - у с К р е й с – юноша с неуместной на его почти детском лице шкиперской бородкой, а также И н т е н д а н т – упитанный субъект в военной форме.

Ш у м с к и й (Гриве и Тумановой, тихо). Вы будете долго смеяться, но это тот самый пузан из Самары. Аккуратно, здесь пахнет заработком.

К о с т я. Тамара, Жорж, позвольте представить вам Ивана Кирияновича, большого поклонника изящной словесности в застольном жанре. С Шумским вы знакомы. (Шумскому.) Игорь, вспоминаешь Самару?

И н т е н д а н т. Здравствуйте! Да, Самара... Ну, теперь мы все москвичи.

Ш у м с к и й. Повышение?

И н т е н д а н т. Ну, как-то так... Служим, растем.

К о с т я. Присаживайтесь, Иван Кириянович. Я помню, вы не любитель лишних слов – сразу к делу. Корнелиус, обеспечь еще один прибор!

Корнелиус уходит.

Итак, наш коллектив готов к вашим заданиям.

И н т е н д а н т. Видите ли... Все так неожиданно. Я не рассчитывал...

К о с т я. Естественно, коли вы направлялись в казино. А мы перехватили вас буквально на крыльце. Но ведь это не случайность, согласитесь.

Ш у м с к и й. Костя читает книгу судьбы – как мы газету по утрам. Причем ему не надо раскидывать карты или жечь шерсть жертвенного козленка. Он видит знаки за обыденными событиями. Вы позволите, Иван Кириянович, порасспросить его поподробнее? Все эти «случайно – неслучайно» для нас жутко как занимательны.

Т у м а н о в а. Да, мы просто изнываем от любопытства.

К о с т я. Мы с Корнелиусом стояли на крыльце казино и увидели Ивана Кирияновича.

И н т е н д а н т. Кхе... Мне показалось, что вы выходили из заведения. И... как сказать. Ну, переругивались.

Ш у м с к и й. Много становится понятным...

К о с т я. Нет, я за шиворот оттащил этого упрямого мальчишку прямо от дверей. Сказал, что нет нужды дергать судьбу за рукав, Фортуна сама найдет способ указать ваше место. И тут вы. Я же знаю, что вы сторонник действовать медленно, но верно. И ваш визит в вертеп азар-

128

та – так, прихоть. Вы не игрок. Отделили некую сумму, перевязали ее бумажкой и на бумажке написали: «Проиграть». Ведь так?

И н т е н д а н т. Ну, почти.

К о с т я. Вложите ее в дело! В продвижение по службе! Ибо не деньги, но чин – вот что способно обеспечить старость!

И н т е н д а н т. Вы всегда так убедительны. Но не могу же я заговаривать поздравления впрок. Это не крупа...

К о с т я. Можете и поймете, что это выгодно! Как там у вас: оптом – дешевле.

Появляются Корнелиус и Официант со свежим прибором. Костя первым делом выхватывает у него из рук фужер и наполняет вином. Сообразительный Грива делает то же с бокалами остальных сотрапезников.

Итак, тост. Мы служим поэзии дни и ночи, без праздников и выходных. Так пусть же один вечер в году поэзия послужит нам! Нам с вами, Иван Кирьянович!

Все дружно выпивают.

Ш у м с к и й (Официанту). А как блинчики?

О ф и ц и а н т. Сей, сей же моментик. Не беспокойтесь, ну, совсем скоро.

К о с т я. Иван Кирьянович, поясню свою мысль. У вас же там все по плану: именины каждый год у каждого начальника исправно в свое время, а? Первомай шагает по стране тоже ежегодно и в те же календарные сроки?

И н т е н д а н т. Ну, не скажите! А как внеплановая проверка? Вот чего надо опасаться. А именины... Привыкли все.

Ш у м с к и й. К стихотворным тостам привыкли?

И н т е н д а н т. Нет, конечно, все попростому. Может, оживить это дело и не мешало бы...

К о с т я. Подождите-подождите! Меня больше заинтересовала внезапная ревизия. Неужели застолье не предусмотрено протоколом?

И н т е н д а н т. Еще как предусмотрено! Такие, изволите ли видеть, расходы – не знаем, как потом активировать.

К о с т я. Ну так вот он, ваш звездный час! Кто во главе проверяющей комиссии – известно?

И н т е н д а н т. Ну, либо зам по тылу, либо из КРК.

К о с т я. Сколько возможно персонажей?

И н т е н д а н т. Два-три, не больше.

К о с т я. Делаем четыре! На каждого из возможных кандидатов плюс один запасной, некон-

кретный, подходящий к любому. Затем все командиры, комиссары, ревизоры, эмиссары. С вас только список, Иван Кирьянович! Нас целая бригада. Двадцать экспромтов будут у вас через полчаса.

И н т е н д а н т (кряхтя). Прямо того... А вот они – тоже мастера этого дела? Я ведь знаю только вас двоих.

К о с т я. Да они нас за пояс заткнут! Грива, выдай экспромт без запинки. Тема такая: никто не знает о скромных интендантах. А без них ничего героического не совершить! Штаб планирует операцию, а кто занимается ее обеспечением? И так далее. Сможешь?

Г р и в а. Костя, не трещи! Экспромт давно готов, только ты ведь слова не даешь вставить!

К о с т я. Оглашай. Мы все внимаем.

Г р и в а. Кто незаметен, как разведчик? Кто быстр и дерзок, как десант? А штабу главный кто советчик? Конечно, бравый интендант!

И н т е н д а н т (восхищенно). Ну, знаете!.. Позвольте, как там? Тара-татата – интендант! Уже забыл. Запишите, пожалуйста! Я найду случай вставить.

К о с т я. Запишем, всё запишем! Попросим еще салфеток и все их испишем.

Ш у м с к и й. Да, диктуйте списочек – и, как в Самаре, приходите через два часа. Все темы будут отражены. Нет, вы можете и здесь, с нами посидеть, но это затормозит творческий процесс. Коллективное сочинительство – тонкая материя, знаете ли...

К о с т я. Я вижу, у вас назрел деликатный вопрос. Об оплате. Все просто. В Самаре мы на базаре покупали булки. И экспромты свои оценивали не в миллионах тогдашних, а фактически в булках. Так и сейчас. Вы наметанным оком прикиньте, сколько стоит наше сегодняшнее застолье, а сидим мы уже часа три. Ну и плюс боезапас, чтоб нам еще два часа продержаться. Вы же прекрасно вычисляете в уме.

И н т е н д а н т. Да, примерно подсчитал. Но это несколько больше, чем я рассчитывал оставить в казино.

Ш у м с к и й. Позвольте уточнить: не несколько, а заметно больше. Учитывайте, что наша несравненная Тамара Туманова родом из Астрахани, а там икру отмеривают строго ведрами. А наш председатель Жорж Грива – человек старого закала и пьет только тридцатилетние портвейны. Но пусть вас утешит то, что на Корнелиусе мы сэкономим. Шучу, Корнелиус, шучу.

К о с т я. Не обращайтесь внимания, Иван Кирьянович. Шумский, как всегда, вспенивает волну. На самом деле цены здесь умеренные. Это ведь своего рода закрытый клуб.

И н т е н д а н т. Что, кругом одни писатели?

К о с т я. Преимущественно поэты.

СТОЛ В ЦЕНТРЕ ЗАЛА

Среди большой компании, оккупировавшей длинный стол, выделяются трое: коротко стриженный поэт-футурист В л а д и м и р, шумный и несколько суетливый В а д и м и вызывающе-аристократичный, даже при монокле, Б а р о н. Это не прозвище, он действительно имеет право на этот титул, о чем знают немногие.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Я работаю поэтом! Кто-то токарем, а кто-то командармом. А я – поэтом. И если так ставить вопрос, то все эти сопли, извините, ни к чему.

В а д и м. Владимир, вы подменяете суть проблемы. Конечно, виршеплет, всерьез рассуждающий о вдохновении, Божиим даре и так далее, – занудливый аматер и не более. Но то, что вы называете «работать поэтом», – это обслуживать злобу дня, не так ли?

Б а р о н. А она на редкость непоэтична!

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Действительность всегда непоэтична, вы не находите? Когда ¹³⁰ это мешало поэзии?

В а д и м. Но среди каких кошмарных слов мы существуем! Попробуй уложи их в строку. Совслужащий. Вхутемас. Наркомат. Фининспектор.

Б а р о н. Фининспектор. Бр-р-р! Финин-Спектор. Двойная фамилия литературного критика.

В а д и м. Из глухого местечка в Бессарабии!

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Стоп! Кстати, о критиках. Вижу Куца.

В а д и м. Где?

Б а р о н. Что он делает в ресторане? С его хворями?

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Факт тем не менее налицо. Это Куц, и я его вижу. Предлагаю: поступить как тогда на диспуте.

В а д и м. Да он же ничего не понял! Весь зал понял и катался от смеха, а он все бубнил.

Б а р о н (вглядывается в зал). Вижу! Между прочим, напротив него Воскобойников.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. А вот это уже серьезно. Представляете, что Куц ему наплетет про нас?

В а д и м. Ну, невелика птица – Воскобойников.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. А доклады готовят как раз птички-невелички. А не те, кто их зачитывает.

В а д и м. Тогда надо продолжить диспут!

Ф у т у р и с т В л а д и м и р (в конец стола). Колька! Остаешься за старшего. Мы втроем, чтоб было точно как в клубе Трехгорки, идем к Куцу. Разъясним товарищу Воскобойникову, что слушать этого осла не надо. Колька! Если шашлык по-карски опять принесут сырым, отлай их, как я бы это сделал!

Вадим, Барон и Владимир встают и уходят.

СТОЛИК ПОД ПАЛЬМОЙ

К у д р я ш самым пошлым образом спит, устроивши голову среди тарелок. А р д а л и о н Т р о ф и м ы ч косится на него и не совсем внимательно слушает С е р е г у.

И м а ж и н и с т С е р е г а. Вот, Ардалион, что случается, когда заказываешь шашлык по-карски. Долго его, заразу, готовят. А у поэта, брат, темперамент. Знаешь, что это за штука? Надо было перед шашлыком попридержать коней немного, а ты погнал куда-то.

А р д а л и о н Т р о ф и м ы ч. Погодь, кто гнал-то? Ты и гнал!

И м а ж и н и с т С е р е г а. Так у меня тоже темперамент! В общем, счетовод уволен, я тебе без него все разберу. Представь себе девушку юную. У нее сердечко сжимается – сладко так. От всего сжимается. Военного увидит, или артиста на карточке, или патефон вдруг заиграет. А пуще всего сжимается от слов всяких красивых. Она за эти слова все отдаст. Она копеечка к копеечке откладывать будет, в сухом бублике себе отказывать, а томик стихов купит. А там другой подоспел. И его надо купить – вдруг там еще красивее про чувства разные написано?

А р д а л и о н Т р о ф и м ы ч. Несходно получается.

И м а ж и н и с т С е р е г а. Что несходно?

А р д а л и о н Т р о ф и м ы ч. На бубликах-то... Много не заработаешь.

И м а ж и н и с т С е р е г а. Так я ж тебе для примеру!

А р д а л и о н Т р о ф и м ы ч. Да понял я. Только это ж сколько надо бубликов мимо рта пронести на одну только книжку.

И м а ж и н и с т С е р е г а. Уперся ты в эти бублики!

Ардалион Трофимыч. Не, про буди ты правильно. Только ведь пудру, к примеру, или чулки она раньше книжки купит, девчушка твоя!

Имажинист Серега. Пудру? Пудру – да. Тут, брат, ничего не попишешь. *(Наполняет рюмки.)*

Ардалион Трофимыч. И про карточки ты правильно сказал. Обмозговать бы... Артисты всякие. Карточка что – одну бумажку напечатать, с одной стороны. Ну, рамка там еще. Полкопеешная.

Имажинист Серега. Понял я тебя, Ардалион брат-Трофимыч. Давай выпьем. А потом я тебе рецепт продиктую моей двоюродной бабушки. Рецепт пудры, да такой, как ты любишь – дешевле дешевого. Из коровьей перхоти. Озолотишься.

Ардалион Трофимыч. Шутить изволишь, Сергей?

Имажинист Серега. Да какие могут быть шутки! Мы ведь сегодня что, получается, здесь справляем? Тризну по великой новой поэзии!

СТОЛИК ЗА КОЛОННАМИ

В относительном затишье за почти пустым столиком беседуют двое: новый советский бюрократ

Товарищ Воскобойников и критик Куц – законченный книжный червь в толстенных очках, галстуке набок, маленький, сутулый, с тиком левого глаза.

Мимо колонн, отделяющих боковое помещение от основного зала, идут футурист Владимир и два его спутника. Они продолжают разговор, но при этом внимательно вглядываются вперед, стараясь подойти к Куцу незамеченными.

Футурист Владимир. Не надо хронить поэзию! Да, ушли времена, когда она была счастьем незрелых юношей и перезрелых дев. Пишите для обычных людей, занятых обычным трудом.

Вадим. Фининспекторов?

Футурист Владимир. Почему нет? Вы так боитесь, что он исковеркает вам строчку? Завтра же напишу про фининспектора.

К столу с одной стороны подходит Официант, а с другой, из-за колонн, появляется трио молодых поэтов. Футурист Владимир, Вадим и Барон останавливаются чуть поодаль, за спиной Куца, готовые в любую минуту вступить в разговор. На фоне согбенного плешивого критика они выглядят особенно эффектно – молодые, рослые, красивые.

Куц *(Воскобойникову)*. Вы позволите, я первым сделаю заказ? А то в горле пересохло. *(Официанту)*. стакан молока!

Футурист Владимир *(громко)*. А еще соску и перепеленать!

Барон и Вадим дружно хохочут, Официант кусает полотенце, чтоб не рассмеяться. Куц втягивает голову в плечи.

Товарищ Воскобойников. Товарищи, вы откуда?

Футурист Владимир. А мы прямоком из доклада товарища Куца. Его любимая тема – про футуристов, имажинистов, акмеистов, центрифугистов и прочих «истов».

Вадим. И он так не любит этих самых «истов»!

Барон. До неистовства!

Футурист Владимир. Куц, вам, как критику, должно быть известно понятие «цитата». Это, товарищ Воскобойников, когда кусочек произведения повторяют, а потом всячески разбирают. Так вот мы с друзьями своим появлением привели сейчас как бы цитату из диспута в клубе Трехгорки.

Товарищ Воскобойников. Диспуты – интересная форма работы. Но требует организации.

Вадим. Исключительно правильно подмечено.

Футурист Владимир. Тогда вы, Куц, бубнили с трибуны про вырожденцев. Свалили в одну кучу дореволюционный декаданс, символистов, Северянина – и нас, ищущих новые пути уже после революции.

Вадим. И всех объявили декадентами, но особенно вам понравилось слово «вырожденец».

Куц. Вы и есть вырожденцы! Некрасов говорил о страданиях народа на понятном народу языке! Демьян Бедный говорит о нашей революции...

Футурист Владимир. Стоп! Прекратите бросаться черепками от разбитых памятников! Мы же не об этом. Мы – о Трехгорке. Почему, вы думаете, зал хохотал над каждым вашим словом, когда мы втроем вышли к вам на сцену?

Вадим. Три вырожденца.

Куц. Вы превратили серьезный диспут в балаган!

Вадим. Виноват, мы что – кривлялись? Перебивали вас? Мы стояли молча.

Футурист Владимир. А публика все поняла. Смеялись не над нами и даже не над вами.

Барон. Смеялись над контрастом.

Футурист Владимир. Да. Мы, конечно, выродились, а вы, вероятно, развились в соответствии с природным замыслом, но главный вывод: если критик обзывает кого-то обидно и незаслуженно, спорить с ним не надо. Надо лишь предъявить оригинал.

Вадим. Что мы и сделали.

Футурист Владимир. Поэтому, товарищ Воскобойников, мы просим вас, если вы готовите выводы о современном состоянии поэзии, принять во внимание наши стихи, а не теории критика Куца. Для него поэзия закончилась где-то на «шепот, робкое дыханье, трели соловья».

Куц. Не фальсифицируйте! Я имел в виду форму! В которую надо вложить новое содержание!

Вадим. Ну-ну. «Ропот, жаркое дыханье...»

Барон. «...Троцкого статья».

Футурист Владимир. Содержание диктует форму. Это азы, критик Куц.

СТОЛИК ВОЗЛЕ ОКНА

За столом – все те же, за исключением Кости и Интенданта.

Грива. Ну-с, господа, какую же нам надлежит избрать форму для наших славословий? Имеет ли смысл перифразировать классику? Это всегда придает значительности...

Шумский. Если слушатели хоть что-то когда-то знали из этой самой классики. Мы с Костей особо не мучились: пять-шесть строф разбитного хорей – и один скаल्प на гвоздик. Еще четыре-пять – и второй.

Корнелиус Крейс. Нет, я все понимаю... Кто-то даже рекламы пишет. За деньги. Но ведь это профанация.

Туманова. Корнелиус! Когда вас поведут в участок, вы можете гордо хорохориться и сойдете за хулиганов, возможно даже хулиганов идейных. А меня все равно примут за проститутку. Так что я предпочитаю расплатиться за ужин поэтической натурой и уйти отсюда без скандала.

Грива (*наставив на Корнелиуса указательный палец*). Будь ты Петрарка или Данте – я откажу тебе в таланте, пока в мечтах о провианте не сложишь песнь об интенданте.

Появляется Костя.

Костя. Вы что насели на Корнелиуса? Пытаете его про казино?

Грива. Нет, совсем забыли! Крейс, так что же было в вертепе азарта, как изящно выражается наш друг?

Шумский. Грива, неужели не ясно? Однако, согласись, красное не сыграло, черное не сыграло, но Костя нашел третий цвет – и он сыграл!

Корнелиус Крейс. Цвет хаки!

Костя. Конечно, мы проигрались. Но так было надо. К делу! Вы уже распределили работу?

Шумский. Мы оговорили общие принципы.

Туманова. Нас с Корнелиусом несколько нервирует ситуация. Боюсь, это помешает.

Костя. Не бойтесь! Открою тайну – только, чур, не расслабляться: предыдущая часть ужина уже оплачена. Я сказал нашему меценату, что это хороший тон, так как здесь принято заседать подолгу. Он согласился.

Грива. Вот как! Он поверил?

Костя. Не знаю. Эти типы не так просты, хотя до ужаса примитивны.

Корнелиус Крейс. Опять оксюморон.

132

Шумский. Но, друзья, хотя нас не ввергнут ныне в узилище, я предлагаю все же не расходиться, а тряхнуть всеми бубнами, струнами и кастаньетами – и доказать, что поэтические мускулы тоже могут создавать нечто материальное!

Грива. Тамара, Корнелиус? Я принимаю вызов, а вы?

Туманова. Я с детства привыкла зарабатывать себе на хлеб! И не хочу быть должной даже таким приятным собеседникам, как вы.

Корнелиус Крейс. И я... Я должен пройти... эту школу.

Костя. Итак, с тебя и начнем. Тянем фант. Что там нацарапал наш денежный мешок? (*Читает сначала про себя*.) Ага. В переводе на человеческий язык – тебе достался некто маленький, лысый, но страшно уверенный в своем мужском обаянии, большой любитель прихлестнуть за женами подчиненных. Как ты мыслишь воспеть хвалу этому типу?

Корнелиус Крейс. Сравнить его с Наполеоном. Или с Цезарем...

Шумский. Наполеон – маленький толстяк, а Цезарь – лысый развратник. Это все, что

аудитория, к которой ты сейчас адресуешься, знает про названных исторических лиц. Ты не польстишь ему, нет.

К о с т я. Лстить надо нагло! И старайся сразу стихами или хоть полустихиями: «И тайно сохнут по тебе три стройных девушки...»

Т у м а н о в а. И двадцать пять матрон!
Г р и в а. Bravo, Тамара!

СТОЛИК ПОД ПАЛЬМОЙ

К у д р я ш вертит головой, еще не вполне придя в себя. Ардалиона Трофимыча нет за столом.

И м а ж и н и с т С е р е г а. Bravo, Кудряш, bravo. И чего ради ты проснулся, лихomanка? Чтoб Трофимыча Тихонычем назвать? Тост решил забахать, мотать твою через коромысло... Они страшно обидчивые, нэпмана эти, чтoб ты знал.

Кудряш всхлипывает.

Таскаюсь с тобой, с убогоньким. Ну да ладно. Не желает наш Ардалион денег на издательство давать, не желает. Так что мосты все сожжены, и остается нам одно. Сейчас я так напьюсь за его счет, что крикнет! И еще посуды наколочу сверх того. Давай, Кудряш, шустро организуй продолжение банкета по высшему разряду, пока он не вернулся. Ну, мухой!

Кудряш убегает. Имажинист Серега задумчиво смотрит вдаль. К столу подходит Б а р о н .

Б а р о н. Ты в какой-то интересной компании сегодня.

И м а ж и н и с т С е р е г а. А, это ты. Компания как компания. А вот что ты делаешь в стане врагов?

Б а р о н. Получаю контрибуцию. Я выиграл пари у надменного главаря наших футуристов. И он ставит ужин мне, Вадиму, ну, и толпе своих приспешников.

И м а ж и н и с т С е р е г а. А о чем было пари?

Б а р о н. Я ему сказал, что Гоголь давно превзошел все их футуристические потуги типа штанов из «бархата голоса моего». Он потребовал доказательств. И я привел ему на память несколько. Например, помнишь то место, где дороги у развилки расползаются в разные стороны, как раки из дырявого мешка?

И м а ж и н и с т С е р е г а. Помню, конечно! А бутылку в фуфайке из пыли?

Б а р о н. Да, и ее, и вообще все, что мы с тобой тогда находили. Помнишь, бежали друг к другу с «Мертвыми душами» под мышкой?

И м а ж и н и с т С е р е г а. Да, было время. Одна перловка, дров нет – и литература, литература, поэзия. Ты знал, что я поэт, а я знал, что ты поэт. И зачем нам слава? Славу создают профаны. Почему я должен что-то доказывать всякой дубине стоеросовой?

Б а р о н. Ты не всегда так думал.

И м а ж и н и с т С е р е г а (*видно, что он уже изрядно нагрузился*). Неважно. Поэт выходит к публике – в этом уже есть вранье, пошлятина. Никто не в состоянии, как мы с тобой, вчитываться в строки. Помню, еще до революции, приходилось лапти надевать, косоворотку, а иначе и не поверят, что крестьянский поэт. Ха! Да у нас в селе отродясь лаптей не носили! Зажиточно жили – любой в сапогах.

Б а р о н. Вот у тебя всегда так. Чем лучше стол – тем мрачнее речи.

И м а ж и н и с т С е р е г а. Да все чепуха. И хорошо, что Ардалион не дал денег на издательство. Куда мы понесем эти книги? На эту дуру-публику? Вон Кудряш, земляк мой, приехал Москву завоевывать, таскается за мной, как собачонка. А в виршах своих подражает мне – ну спасу нет. И что, говорю, Кудряш, раз ты крестьянский поэт – так, наверное, крестьянские парни и девки просто тают от твоих стихов? Нет, отвечает, они даже твоих – моих то есть – не знают. А любят они, оказывается, Бедного Демьяна. Даже поют его под тальянку! Ты представляешь себе картину?

Б а р о н. А что – сидят на лавочке, лузгают семечки. И гармоза на одном...

И м а ж и н и с т С е р е г а. Ты городской, тебе не понять. Тальянка так выводить может! За душу хватает. Есть, брат, настоящие виртуозы. И вдруг – Демьяновы агитки. Где там музыка? Сухорукий сыграет. «Тына-тына, у Мартына».

Б а р о н. Зато его «Правда» печатает. И не надо ему нэпманов-меценатов искать.

СТОЛИК ЗА КОЛОННАМИ

Ф у т у р и с т В л а д и м и р и В а д и м подсели к столу товарища Воскобойникова и взяли того в полукольцо. Стул Куца пустует.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Сейчас многие нэпманы попытаются заказывать музыку. Я уже предвижу, сколько новых Северяниных причитает стихами, с позволения сказать.

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. Нет, мы решительно поставим этому делу заслон.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Полагаю, что заслон здесь не поможет. Нужен не заслон – а громадная вершина. Чтобы при взгляде на нее шапка падала. Чтобы никто на мелочь у подножия уже и не смотрел. Вершина – это наша новая поэзия. Назовите ее пролетарской, коль скоро делается она настоящими трудовыми руками, а не хлипкими фантазиями скучающих буржуа.

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. Хорошо сказано!

В а д и м. Ведь пригодится, да? Хотите, законспектирую на салфетке?

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Только вот понимают у нас новую поэзию убого. Куц и прочие не видят сути того, о чем долдонят. Можно я на простом примере?

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. Конечно.

В а д и м. Только попроще.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Вот есть такая штука – рифма. «Любовь» – «свекровь».

В а д и м. Не в глаз, а в бровь!

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Не суесловы!

В а д и м. Не только понятно, но и убедительно.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Да. И наши новые поэты делятся на две части. Одни, которых так любит критик Куц, толкутся в мелочной лавчонке, где рифмы готовые, их раздают по дешевке. Вот мы и имеем: если «век» – то обязательно «человек», и никуда ты за этот забор не выскочишь. «Новый век, рабочий человек».

В а д и м. Старый век – соответственно, угнетенный человек.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Ну, и представьте себя на месте слушателя. Которому заранее известно, что там будет через строчку. Вам в поезде доводилось ездить?

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. Пришлось, помотался я в них, не без этого.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Тогда вам знакомо это ощущение: вы точно знаете, что за одним стуком колес раздастся другой такой же, и еще, и еще, и все через равные промежутки времени. Что делать – спать.

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. Да, в поезде хорошо спится.

В а д и м. У них на выступлениях тоже хорошо спится.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Поэтому мы рвем эти предсказуемые, скучные вещи. Неожиданная

данная рифма. Ломаная строка. Это как паровозный гудок!

В а д и м. Доводилось просыпаться от гудка?

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. Да уж, иной раз сердце в пятки. Нет, товарищи, я с вами в целом согласен, конечно, но только хотелось бы услышать, что скажет товарищ Куц. Его что-то долго нет.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Наверное, опять со швейцаром подрался.

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. Что?!

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Вот увидите, сейчас придет – очки треснуты, взгляд безумный.

В а д и м. Возможно, его уже замела рабоче-крестьянская милиция. Видите ли... Вы здесь в первый раз?

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. Да.

В а д и м. Тогда вам нужно знать. Здесь особое место. Здесь все иррационально. К примеру, чем больше выпьешь – тем трезвее. И наоборот.

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. А что, Куц не знал об этом? Раз пил молоко?

В а д и м. Куц не мог не знать. Значит, намеренно хотел взбодрить себя перед встречей со швейцаром.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Да, повязали голубчика, протокол составляют...

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. Да нет. Не может быть. Он не так давно ушел.

В а д и м. А время здесь тоже течет по особому. Вы посмотрите на часы.

Все бросают взгляд на стенные часы.

На них около девяти вечера.

Т о в а р и щ В о с к о б о й н и к о в. Уже девять? Как время бежит.

Ф у т у р и с т В л а д и м и р. Да, близится час громкого пьяного чтения стихов.

СТОЛИК ВОЗЛЕ ОКНА

И н т е н д а н т (*громко и выразительно читает по салфетке*). «...И росчерк ваш под строчками приказа подобно молнии нам озаряет путь!» Да-да, он, знаете ли, так гордится своей завитушкой! Очень кстати...

Ш у м с к и й. Ну, так вы же сами попросили это отразить.

И н т е н д а н т. Ах да. Все забываю. Нет, вы кудесники. Все так изящно, уместно... Так-с, а вот это самое важное. Лицо вышестоящее. (*Берет другую бумажку*). «Оскал клыкастый пошлости живучей – он не страшит, а оскорбляет нас!»

Всеобщее недоумение. Один за другим участники застолья упираются взглядом в Корнелиуса Крейса.

Корнелиус Крейс (*спустившись с небес на землю*). П-переверните салфетку. Это я начал писать п-предсмертную записку. Я был уверен, что сегодня покончу счеты с жизнью. На обороте – нужный вам экспромт.

Интендант (*с некоторым сомнением, бормочет*). «Блестя металлом, ты всегда готов к стрельбе. В обойме нашей ты не холостой патрон. И помни: тайно сохнут по тебе три стройных девушки... и двадцать пять матрон!» Виноват, матрона – это почтенная дама? Или некоторым образом шалава?

Костя. Матрона – достойная уважения женщина, мать семейства.

Интендант. Нет, ну тогда это замечательно! Просто блеск. «Три стройных девушки – и двадцать пять матрон!» Где ему... Между нами говоря. Знаете ли, я в очередной раз восхищен. И готов даже заплатить сверх оговоренного...

Грива. Сверх оговоренного – это называется чаевые. Их получают половые. А мы поэты, не извольте путать. (*Громко.*) Половой! Где твой карманчик чаевой?

СТОЛИК ПОД ПАЛЬМОЙ

Имажинист Серега тяжелым взглядом смотрит перед собой. Поодаль Официант принимает расчет от Ардалиона Трофимыча.

Официант. Премного благодарен. Уходит.

Ардалион Трофимыч.стыдно!стыдно должно быть. Не ожидал.

Имажинист Серега. Ты мне, что ли?

Ардалион Трофимыч. Себе. Себе я.стыдно, понимаешь! Ты у меня сколько просил на издание первых пяти книжек? Всего ниче-

го. А я не дал. А на пьянку за один вечер больше выкинул!стыдно швыряться деньгами попусту. Себя не узнаю. Ладно бы в издательство вложил! Прогореть – дело торговое. А может, и вернулись бы денежки. Ан тут уж безвозвратно. (*Начинает что-то старательно писать на листке бумаги, вынутом из записной книжки.*)

Имажинист Серега. Трофимыч, ты с горя не в поэты подался? Пишешь-то чего?

Ардалион Трофимыч. Вот. Это тебе, Сергей. Это вексель. Наличности больше нет, но этот вексель тебе везде оплатят, в любое время.

Имажинист Серега. Шутишь?

Ардалион Трофимыч. Ардалион Трофимович Посконников – это фирма. Все торговые люди знают. Мое слово – кремень. Мой вексель учтут из двух, много – из трех процентов. С ним любое дело начинать можешь. А можешь наличными получить. Я завтра в Вятку уеду, а ты в банк можешь смело ступать.

Имажинист Серега (*недоверчиво вертит в руках бумажку*). А сегодня?

Ардалион Трофимыч. Ну, побегай по Москве, может, кто допоздна работает. Да ладно, не суетись. Не веришь мне, что ли? Мне на миллионы товару по слову дают. День в день рассчитываюсь. Сиди спокойно. Я там еще немножко заказал: балычок и все такое. На посошок.

Имажинист Серега. Гениально! Слово-то какое! По-со-шок. Слушай, это гениально, что ты сейчас мне подсказал. Надо кроме издательства, – которое окупится, ты не сомневайся, – надо еще издавать журнал: «Волшебный посох». Каково, а?

Ардалион Трофимыч. Эй-эй! Ты чего? Разве так можно? Ну что ты за человек! Поэт, одно слово. А не человек.

Имажинист Серега лезет целоваться.



ПРИВЕТСТВИЕ АРИСТАРХА, МИТРОПОЛИТА КЕМЕРОВСКОГО И ПРОКОПЬЕВСКОГО*

Уважаемые участники мероприятия, посвященного Кузбасской литературной премии в честь святителя Павла Тобольского!

Русская православная церковь на протяжении всей своей истории занималась просветительской деятельностью. Этой важной миссии она не изменяет и сегодня, поддерживая творческие дарования писателей, воспитывая и просвещая молодое поколение.

Кемеровская епархия ежегодно проводит литературный конкурс авторов разного возраста. Премия в честь святителя Павла Тобольского рассчитана на писателей-мастеров, людей, которые большую часть жизни посвятили созданию произведений православной тематики. По этой причине и жюри оценивает не отдельную книгу прозаика или поэта, а все его произведения — вклад в развитие церковной отечественной литературы.

Литературный конкурс, который проводит издательский совет Кемеровского епархиального управления, — это ориентир для читателя в книжном океане. Каковы для нас главные критерии отбора? Соответствие созданного автором произведения высоким этическим и эстетическим идеалам. Настоящая книга без нравственного начала немыслима.

Когда писатели пишут сценарии или работают над книгами, очень важно оставаться людьми — верить в Бога, быть мужественными, чтобы защищать образ Божий в человеке, человеческое достоинство и противостоять разложению общества. Настоящий писатель во все времена призван отстаивать принципы духовного устройства жизни. Образцом в этом смысле является Федор Михайлович Достоевский, который никогда не отступал от этих принципов.

* Оглашено 23 декабря 2021 года на церемонии вручения премии им. Павла Тобольского.

Чем ценны литературные конкурсы? Они помогают привлечь внимание читателей к настоящим книгам, о которых гласит народная мудрость: «Испокон века книга растит человека».

Но как определить, что созданное писателем произведение действительно обогащает культуру? Ответ на вопрос в определенной степени имеет отношение к человеку, жившему несколько веков назад, — к святому благоверному князю Александру Невскому, 800-летие которого мы празднуем в этом году.

Мы порой жалуемся на жизненные трудности, на тяжелые времена, на обилие забот. Но вот великому князю Александру Невскому довелось жить и принимать решения в действительно тяжелые годы. Это было страшное время татаро-монгольского нашествия. Однако опасность исходила не только с Востока, но и с Запада. Западные завоеватели, в отличие от татаро-монголов, хотели не только земель и богатств. Они добивались того, чтобы жители русских княжеств отказались от православной веры.

Мы рассуждаем об этом из века двадцать первого. Перед князем Александром выбор пути стоял во всей своей неотвратимости и трагичности. То был выбор не только настоящего, но и будущего родной земли. Александр Невский предпочел избрать временный мир с тем врагом, который требовал дани, но который не требовал отказаться от православия. С другим же врагом, который покушался на душу русского человека, на его духовный выбор, князь Александр нещадно бился. И этого врага побеждал.

Князь Александр сохранил для своих современников и для нас, потомков, самое важное. Во многом благодаря его подвигу православие осталось основой нашей нравственности, культуры и национальной идентичности.

Сегодня, когда мы говорим о вкладе наших номинантов в культуру, речь идет именно о подлинной русской культуре, которая утверждается на ценностях православия. И вклад соискателей премии должен соответствовать этой высокой планке. Отрадно, что такие авторы есть, что мы их видим сегодня здесь, что мы можем читать их книги.

В этом году мы отмечаем знаменательный литературный юбилей: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Его произведения не оставляют равнодушными читателей разных стран.

Проза Достоевского производит поистине огромное впечатление на человека. Порой думаешь: не за гранью ли все это психического здоровья? Но это глубины, которых не решался коснуться почти никто

из писателей. Автор изображает и в какой-то мере исследует в первую очередь внутренний мир человека, движения его души, ума, сердца. Исследует и привлекает к этому процессу своего читателя.

Достоевский же сумел разглядеть в Церкви самое главное — живого Христа. Личность Иисуса Христа, которая стояла в центре его христианского мирозерцания, его личного символа веры, вдохновляла его на творческие свершения, на пророчества, которые он изрекал, занимала и центральное место во всем его творчестве.

Судьба его произведений удивительна. Мы видим, например, что проза Достоевского переведена практически на все языки мира, на которых вообще существует письменность, и что Достоевского читают люди в самых разных странах. Если говорить о проповеди Христа, о православии, то во многих странах именно через произведения Достоевского люди могут узнать о русской культуре, о русской истории, о Христе и о православии.

Поэтому мы можем говорить о Достоевском и как о пророке, и как об апостоле в наше время безверия, так называемого плюрализма, когда все религиозные традиции выставлены словно на рынке. Достоевский на разных языках обращается к людям всего мира, свидетельствует о Христе и о том, как переживается православным человеком Христос.

Достоевский был глубоко православным человеком, это раскрывается через его творения. Поэтому

вполне естественно, что его знаменитая цитата: «Если мне кто-то скажет, что есть некая истина вне Христа, то я лучше останусь со Христом, чем с этой истиной» – в каком-то смысле лейтмотив всего творчества Достоевского.

Нам необходимы сегодня произведения, которые бы настолько же точно, как произведения Достоевского, высвечивали нравственные проблемы современности и помогали делать верный выбор, основанный на следовании евангельским заповедям.

Именно в литературе русская культура нашла свое самое глубокое выражение: изучение классической словесности есть один из важнейших способов национального самопознания. Не будет преувеличением сказать, что будущее России напрямую связано с будущим ее литературы. Если не будет по-настоящему значительной русской литературы, не будет и настоящей глубинной России, которую мы любим и которой так дорожим. Очень надеюсь, что усилиями Церкви, писателей и всех неравнодушных к судьбам отечественной словесности людей в нашем обществе будет возрождаться роль литературы как важного пространства духовной жизни народа.

Сердечно поздравляю всех победителей и желаю всем вам крепкого здоровья, духовного мужества, помощи Божией в трудах и дальнейших творческих успехов!



Владимир КЕЛЛЕР

ИЗ ПОВОЛЖЬЯ – В КУЗБАСС

СУДЬБА НЕМЕЦКОЙ НАРОДНОСТИ В ИСТОРИИ МОЕГО РОДА

Поводом для этой публикации стали две значимые даты, отмеченные в 2021 году: 300-летие Кузбасса и 80-летие депортации российских немцев, прежде всего из АССР НП. Между двумя довольно удаленными друг от друга историческими событиями есть особая связь.

Напомним, что именно после часовой беседы Петра I с немецким ученым появился указ российского царя о посылке доктора Даниэля Мессершмидта в Сибирь «...для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей: трав, цветов, корений и семян и прочих статей в лекарственные составы». И уже в начале этого путешествия 28 апреля 1721 года в дневнике исследователя появилась запись об открытии угля «между Комарова и деревней Красная». Д. Г. Мессершмидт первым зафиксировал месторождение «черного угля смолевого» на территории нынешнего Кузбасса.

Кто бы мог знать тогда, что через 220 лет в эти края направят эшелоны депортированных российских немцев, которым во время самой страшной на планете войны предстоит в составе трудармий добывать уголь для обороны страны от соплеменников, породивших немецкий фашизм...

В моем архиве сотни писем, справок, фотографий, записей личных впечатлений об этнических сородичах, оторванных от родины и переселенных в сибирские края. Но, начав документально-историческое повествование на эту тему, я понял, что лучше всего смогу раскрыть ее с помощью самых достоверных и подробных воспоминаний представителей своего рода. Ведь судьба моих предков, подвергшихся репрессиям и в конце концов оказавшихся в Кузбассе, типична для большинства депортированных немцев.

В старину память человеческую называли зрячим посохом. В толковом словаре русского языка Владимира Даля (между прочим, немца

по матери) дано определение не столь образное, более четкое: «способность помнить, не забывать прошлого; свойство души хранить, помнить сознание о былом».

«Сознание о былом» и в данном случае продолжает жить. Обычные люди через много лет после пережитых трагедий без злобы и мстительности честно рассказывали о ключевых эпизодах своей биографии. И особенно важна была мотивация их откровений: «Это не столько нам самим нужно, сколько детям, внукам, правнукам».

Происхождение русских немцев

Для начала – небольшой исторический экскурс. Как вообще получилось, что в России жило столько немцев?

Уже в Средние века купцы немецкой Ганзы селились в Новгороде. Во времена правления Ивана Грозного (1553–1584) в Москве возникло целое предместье – Немецкая слобода. Здесь жили приглашенные из разных стран специалисты: ремесленники и строители, архитекторы и врачи, офицеры и служащие, мастеровые и купцы.

Петр I, при котором начался процесс европеизации России, привлек в свое окружение немало немцев. 16 апреля 1702 года был издан манифест с приглашением иностранцам поселяться в разных городах. Так, в Петербурге со временем появилась значительная немецкая прослойка. Императрицы XVIII века поручали немцам ответственные дипломатические посты и управление армией.

22 июля 1763 года после манифеста Екатерины II (до замужества и принятия православия – принцесса София Ангальт-Цербстская) 27 тысяч переселенцев из Южной Германии основали поселения в Малороссии и Поволжье. За четыре года была образована первая немецкая колония Добринка и в дальнейшем еще 104 деревни.

Покровск – будущая столица материнской немецкой колонии – был основан в 1765-м. Примерно тогда же 83 семейства – выходцы из Франции, Саксонии и Гессен-Дармштадта, приглашенные бароном Борегардом, образовали поселение и назвали его Баронск. Позже этот город в честь императрицы был переименован в Екатериненштадт. При советской власти он стал Марксштадтом (с 1941 года – Марксом).

Но вернемся немного назад. В период с 1804 по 1825 год 55 тысяч немцев приехали в черноморский и волынский регионы. Их хозяйства становились образцом для российских помещиков,

мало-помалу приходивших к идее освобождения крестьян.

В 1840 году насчитывалось почти 5 тысяч московских немцев, а к концу XIX века – 17,7 тысячи, или 1,7 процента от общей численности населения города. В Петербурге этот процент был еще выше – 8.

В 1861 году Саратов, население которого составляло 83 тысячи жителей, стал центром немецкого Поволжья. Здесь располагались органы национальной печати, другие органы управления. Столь же важное значение для причерноморских колонистов имел город Одесса.

Большинство сегодняшних российских немцев – потомки колонистов-земледельцев. Прежде у нас в стране различали беловежских, волынских немцев, закавказских швабов и другие мелкие локальные общности.

Жители немецкой колонии еще в 1828 году были причислены к разряду государственных крестьян. Важнейшей статьёй их доходов стала торговля хлебом. На месте старых фортов в приволжских портовых слободах были выстроены сотни хлебных амбаров, ветряных мельниц, множество церквей.

Открытие железнодорожной линии Покровск – Уральск и ее ответвлений на юг, сельскохозяйственное освоение немцами Заволжья привело к тому, что к началу XX века их колония стала «зерновым складом России». Здесь появились цветущие поселения, центры промышленности и торговли. Хозяйственные успехи немецких колонистов способствовали развитию всей страны.

Об основателе нашего рода

Юлия Келлер (Лидер), сноха главы рода*:

«Семья Келлер жила в большом доме на краю села в двух километрах от Покровска. Готлиб-Генрих Келлер имел большой земельный надел, который всей большой семьей обрабатывали сами. И дом строил сам глава семейства. С 1896 года он состоял в браке с Марией-Элизабет Герлинггер. У них росло восемь детей: Генрих, Готлиб, Ольга, Соломон, Фридрих, Александр, Эмма, Эрнст (еще двое умерли в младенчестве). В семье воспитывался еще один приемный мальчик, у которого умерли родители.»

* Здесь и далее курсивом – записанные в разное время воспоминания потомков главы рода российских немцев Готлиба-Генриха Келлера.

Готлиб-Генрих был хозяином предприимчивым. В своем доме на первом этаже он устроил лавку, торговал в основном товарами для домашнего хозяйства. У селян пользовался спросом сельскохозяйственный инвентарь, сепараторы, швейные машинки, ткани, музыкальные инструменты, различная посуда. Многие приобретали товары под запись в долговую книгу.

Со временем Готлиб-Генрих поставил большие амбары для хранения зерна. Собранный урожай хлеба он на баржах вверх по Волге доставлял для продажи в районы средней полосы России и нечерноземные области».

К XIX веку в России сложилась многочисленная и разноликая немецкая диаспора, играющая важную роль в экономике, общественной и культурной жизни страны. Примечательный факт: из 12 министров финансов Российской империи пятеро были немцами. В конце XIX столетия 50 тысяч российских немцев имели высшее образование, 35 тысяч находились на государственной и военной службе. Но после относительно счастливого для страны и самих российских немцев периода наступил другой, более суровый. А в годы Первой мировой войны и вовсе была организована кампания против «немецкого засилья». Начались погромы, разорения крепких хозяйств, вступили в силу «ликвидационные законы», последовала депортация волынских немцев...

После Октябрьского переворота декретом Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (СНК РСФСР) от 19 октября 1918 года территории, заселенные немцами-колонистами, были выделены в Трудовую коммуну немцев Поволжья (Автономная область немцев Поволжья). С 19 декабря 1924 года область была преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья (АССР НП). Она занимала территорию 28,2 тысячи квадратных километров в нижней части Поволжья, гранича с Саратовской, Сталинградской (ныне Волгоградской) областями и Казахской ССР.

Новые порядки большевиков

Юлия Келлер (Лидер):

«Октябрьский переворот изменил размеренную жизнь трудолюбивых крестьян. Как и к другим зажиточным хозяевам, к Готлибу-Генриху тоже нагрянули бедняки и комиссары. Осматривали и подробно описывали все имущество. Нашли долговую книгу, а в ней обнаружили, что «саль-

до с бульдой» не сходится: покупатели кредиторы больше задолжали, чем принесли дохода. Поэтому дом, учитывая большую семью и непомерные долги односельчан, экспроприировать пока не стали. Учили и то, что старший сын Готлиба-Генриха воевал за Россию против турецких завоевателей и с войны не вернулся, пропал без вести.

А вот сын хозяина Готлиб погиб от рук большевиков, защищая семейное подворье, когда со двора сводили лошадей, коров. С усадьбы забрали всю обрабатывающую технику, прихватили из дома ценное имущество.

Пришла беда – отворяй ворота. Жена Готлиба-Генриха Мария-Элизабет тяжело заболела тифом и умерла в муках.

К этим бедам в 1921 году добавилась засуха, неурожай и страшный голод, накрывший всю колонию немцев Поволжья. Вдовцу трудно стало управляться с домашним хозяйством и кучей детей. Готлиб-Генрих отправился на заработки в Подмоскowie – на строительство Каширской электростанции. Эта была первая крупная стройка в послереволюционной России. Проектировали станцию и руководили строительством немецкие инженеры. Готлиб-Генрих познакомился с ними, общался в свободное время. О чем говорили? В основном о житье-бытье на волжской земле. Это не осталось без внимания чекистов, бдительно следивших за всеми контактами русских немцев. Готлиб-Генрих, неплохо заработав, решил вернуться домой. Но на вокзале в очереди за билетами на поезд его арестовали по доносу кого-то из земляков и заключили в тюрьму.

Пока он томился в неволе, в Поволжье, как и по всей стране, шла волна коллективизации. В большой дом бывшего купца в 1928 году снова нагрянули активисты. Лавку описали и отняли, выставили на улицу всю большую семью. Дом, инвентарь, имущество, земля – отошли коммуне.

А Готлиб-Генрих в тюрьме заразился туберкулезом. Он сильно ослабел и не мог уже работать. В 1933 году его выпустили на свободу – умирать. Добирался он до дома с огромным трудом. Изможденного, опухшего человека подобрал на станции Урбах односельчанин и в телеге доставил домой. Но кроватка уже не было – отняли при раскулачивании. Где проживало семейство, потомки уже не помнят, возможно, у кого-то квартировали. Готлиб-Генрих от горя и болезни вскоре умер».

Предгрозовое время

Обретение городом Энгельсом статуса столицы АССР НП способствовало его экономическому и социально-культурному развитию: строительству и реконструкции клеевого, кирпичного заводов, крупнейшего мясокомбината, введению в строй десяти школ, двух высших учебных заведений – педагогического и сельскохозяйственного институтов, кинотеатра «Родина» и других объектов.

В 1930 году вступила в строй мощная передающая радиостанция, вещание велось на русском и немецком языках. Немецкое государственное издательство выпускало значительное количество учебников, художественной литературы на двух языках. Издавались республиканские газеты и журналы. На профессиональной основе работали немецкий и русский драматические театры, немецкая государственная филармония, театры музыкальной комедии, кукол, немецкий государственный хор.

190 Был открыт Центральный музей АССР НП. В его создании принимали активное участие ученые Г. Дингес, П. Рау. Особое значение имел созданный еще в 1923 году Центральный архив области немцев Поволжья (в 1924-м преобразованный в Центральный архив Республики НП), который собрал тысячи документов по истории немецких колоний со времен Екатерины II до 1917 года и периода первой немецкой автономии (1918–1941).

Родина запомнилась картинками

Константин Келлер, сын Фридриха, внук главы рода:

«После раскулачивания деда и выселения из дома мой отец с братом Соломоном построили саманные домики. Их младшие братья Александр и Эрнст жили в небольшом жилище у моего отца.

Старшие дяди и отец работали в колхозе «Майнинг». За отцом были закреплены две лошади, брички. Человек он был аккуратный. Чаще всего возил зерно в заготовительный пункт в Маркс за 50 километров. Иногда запрягал волов. Ему давали в помощь рабочих. Были и другие поручения. Однажды отец взял меня с собой, когда повез в поле груз геологам.

Детей он любил. Часто усаживал на бричку и катал до околицы. Старшие сыновья вместе с родителями выполняли посильную работу в поле. Как-то отец зимой возвращался из райцентра. Обычно он в мешке привозил гостинцы. Вот и

тогда завез мешок домой и отъехал к конюшне распрягать лошадь. Мы с братом Фридрихом залезли в поклажу, достали гостинцы и устроили между собой дележку. Отец вернулся, очень удивился и велел все положить на место. Но не наказал и не ругал. Он молча на всех разделил конфеты. Но с тех пор я запомнил, что без спроса ничего брать нельзя.

Шел 1935 год. Младший брат отца Эрнст, мой дядя, выучился на механизатора. В колхозе работал трактористом, водителем полупортки. Я любил с дядей Эрнстом раскатывать по полям, иногда с ним ездил на элеватор в райцентр.

Жили мы в то время плохо, в засушливые неурожайные годы терпели нужду. В 1935 году осудили за воровство дядю Сашу. При веянии зерна он положил в карман несколько горстей пшеницы, чтобы хоть как-то поддержать семью. В сельсовете состоялся показательный суд, и Александра увезли на «воронке».

Среди жителей села нарастала тревога. В 37-м году наступило мрачное время репрессий. Из села по ночам стали забирать людей как «врагов народа» и куда-то увозить. Никто из арестованных обратно не возвращался.

Люди стали замкнутыми, настороженными, почти перестали между собой общаться. Взрослые говорили вполголоса или шепотом. После работы во двор выходили, только чтобы подоить корову, задать скотине на ночь корма, убрать навоз, наносить воды из колодца.

Вечерами все затихало, и село Боргардт погружалось в тревожную чуткую тишину. Плотнo занавешивались окна. Взрослые снова переходили на шепот. В углу творили молитву. Керосиновую лампу зажигали так, что она едва теплилась. При ее тусклом свете мать пряла шерсть.

Ближе к полуночи на въезде в село становилось слышно урчание машины. Мать гасила лампу, взрослые слушали, где на этот раз остановится «воронка». Остановился неподалеку. Хлопнули дверцы, послышался топот сапог, у соседей заскрипела калитка... Из села ночами увезли уже шестерых мужчин – глав семейств.

Дошла очередь и до нашей семьи. Это случилось 27 ноября 1937 года. Отец вернулся с работы. Мама сказала ему, что его брат Соломон заколол поросенка и приглашает на свежину.

Вечером, как всегда, мы тихонько сидели вокруг мамы при свете керосиновой лампы. Вдруг кто-то из сельского начальства постучал в окно и спросил, дома ли хозяин. Ему ответили, где он находится. Ушли. Наутро тетя Эмма, жена дяди Соломона, рассказала, что произошло.

После ужина мой отец на полу возился с маленькими детьми. Ребятишки ползали по нему и радостно визжали. Вдруг в дом вошли люди в форме во главе с Пином, начальником районного НКВД. Спросили, кто здесь Фридрих Келлер, велели ему собираться. Отец побелел, как мел, стал одеваться, долго не мог найти своей шапки.

Потом все завалились к нам домой: Пин, сотрудник НКВД, водитель «воронка», председатель сельсовета. Устроили обыск. Особенно лютовал Пин, все что-то искал. Перерыли все. Из сундуков бесцеремонно вынимали белье, одежду разбрасывали по полу. Шарились в постели, вспарывали матрацы.

На следующий год я готовился пойти в первый класс. Папа заранее подарил мне новый ранец. В него я складывал рисунки, карандаши, книжки. Пин выхватил из моих рук ранец, раскрыл его и стал все вытряхивать. От обиды я заплакал. Он посмотрел на меня и отдал ранец.

Незваные гости вышли во двор и стали в сарае рыться в бурте пшеницы, заготовленной на зиму. Надо сказать, 1937 год выдался урожайным, отец и дядя Эрнст на трудодни неплохо получили зерна.

Мы были подавлены. Мама молча собрала отцу сухарей, продуктов. Отец подошел к каждому из детей, попрощался.

Когда его выводили, мой старший брат Готтлиб шепотом сказал:

– Ну вот, Костя, ты своего папу больше никогда не увидишь...

Время как бы провело границу детского бытия и поделило все на две неравные половины: до того, как у нас был отец, и после, когда его не стало.

Мы, пятеро детей, были совсем маленькие, когда лишились отца. Ему не было и тридцати трех лет. Старшему его сыну Готлибу исполнилось десять лет, мне – шесть, Фридриху – четыре, младшей Оле не было и двух лет, а в июле еще родился Герберт...

Нашей семье это как-то надо было пережить. Мама много раз ездила в Маркс. Но встречи с «врагами народа» не полагалось. Охранники ей постоянно отвечали: ничего не знаем. О дальнейшей судьбе Фридриха Готлибовича Келлера ничего не было известно сорок лет.

Матери пришлось очень нелегко. Она оставляла детям малыша и работала на колхозных полях, чтобы хоть что-то заработать на пропитание.

177

Шел 1938 год. Однажды утром я проснулся и вижу: в доме объявился дядя Саша. Оказывается, он вернулся из тюрьмы, где просидел три года за пару горстей пшеницы. У всех появилась надежда на возвращение мужа, брата и отца Фридриха Келлера. Хотелось верить, что власти все же разберутся и вернут ни в чем не повинных работающих крестьян в свои семьи, к привычной работе – на поля и фермы. Но чудес не бывает...

В 1938 году дяди – Александр и Эрнст – от нас отделились. Они быстро построили саманный домик на две семьи неподалеку. Женились. У дяди Александра родился сын Готлиб, а у дяди Эрнста дочь Мария. Мне часто доводилось нянчиться с их детьми.

Я пошел в школу, где учеба велась на немецком языке. В деревне был всего один учитель, Франс Завацкий, поляк по происхождению (друг дяди Эрнста). Школа представляла собой небольшую дом с одной комнатой. В одной половине размещался первый класс – восемь – десять учеников, в другой – четвертый класс, примерно столько же учащихся. Во вторую смену ходили второклассники и третьеклассники. Учитель умудрялся одновременно работать со всеми.

Преподавание с различными возрастными потоками невольно приводило к казусам. Однажды учитель задает вопрос первоклассникам:

– Ребятишки, что тяжелее, килограмм пуха или килограмм железа?

Тут уже все подключаются к обсуждению. Четвероклассники, с которыми учился и мой брат Готлиб, над нами, конечно, снисходительно посмеивались.

Вскоре наш учитель женился на коллеге, и у нас стало два учителя. Так я и окончил три класса к началу лета 1941 года».

Гертруда Бельш, будущая жена Константина Келлера:

«Мы жили в селе Боаро кантона Маркштадтский. Моя мать София Давидовна и отец Фридрих Элиасович Бельш родили одних дочерей: Эмилию, Эллу, Луизу, Гертруду, Лидию, Хильду.

Мой отец воевал с турками. Однажды с несколькими сослуживцами им пришлось уходить от преследования. Убегая от врага, залезли в болото с головой и дышали под водой через камышинки. Спаслись. Отцу повезло прийти домой без ранений, но всю жизнь его мучил радикулит.

Наши родители работали в колхозе: отец сторожем, мать на сельхозработах (на полях выращивала зерно, на бахчах овощи). Построили на краю хутора на берегу речки Караман новый

дом с просторным закрытым двором. В доме у нас уже стояли железные кровати – тогдашняя примета современности. Под тесовой крышей был устроен загон для скота, отдельно в загорах хранились все припасы.

Речка огибала усадьбу под углом. Рыбы в ней водилось очень много. Мы, дети, покروшим хлеба и наблюдаем, как красноперки дерутся за прикормку. Однажды я смастерила из стальной проволоки крючок, привязала нитку. Попробовала рыбачить на хлеб. Когда с работы к обеду пришли родители, я уже нажарила большую сковороду рыбы.

Отец из ивняка стал плести не только корзины, но и мордушки. Мы ставили их на ночь. К утру всегда было полно рыбы, и мы всегда были сытыми.

В деревне света не было. Впервые электричество мы увидели на железнодорожном вокзале и на барже во время депортации. Но без света мы не сидели. Во время рождественских колядований нам давали мелкие монеты, и мы приберегали их для покупки свечек, тонких, как карандаши. А в основном вечерами пользовались керосиновыми лампами. Прилаживали их под потолком и при таком свете разделявали шерсть, пряли, вязали, рукодельничали.

Но проживать в родительском доме нам пришлось недолго...»

Депортация из лета в зиму

28 августа 1941 года вышел Указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». В связи с нападением фашистской Германии и «ввиду возможного пособничества фашистам». Насильственному переселению было подвергнуто 894626 лиц немецкой национальности. Только в Новосибирскую область было направлено свыше ста тысяч человек (28600 семей). В соответствии с решением Новосибирского обкома ВКП(б) от 6 сентября 1941 года в Кузбасс, входивший тогда в состав Новосибирской области, направлялось 24600 человек.

Переселением руководили органы НКВД СССР. Брать с собой разрешалось только личные вещи, мелкий хозяйственный инвентарь и продукты из расчета на двадцать дней пути. Выселение производилось районами по составленным спискам, из сельской местности переселялись целыми колхозами. Все жилые помещения опечатывались, имущество и скот передавались местным властям. На руки людям выдавали справки об оставленном имуществе.

Согласно инструкциям НКВД, в пути следования выселяемым должны были два раза в сутки выдавать бесплатную горячую пищу и по 500 граммов хлеба на каждого человека. Кроме того, на станциях, где эшелоны должны были делать остановки, предполагалась выдача кипяченой воды. Однако условия военного времени внесли существенные коррективы. Напряженная ситуация на железной дороге, по которой шла массовая эвакуация людских ресурсов и промышленных предприятий на восток, а также переброска войск, техники и боеприпасов на запад, зачастую срывала выполнение инструкции по своевременному медицинскому обслуживанию, организации питания депортированных. Чтобы не умереть с голоду, они вынуждены были выменивать ценные вещи и теплую одежду на продовольствие.

Константин Келлер:

«Люди с тревогой слушали сводки Совинформбюро о наступлении немцев, еще больше замкнулись в предчувствии плохих перемен. Ждать пришлось недолго. Стало известно, что всех поволжских немцев выселяют в районы Северного Казахстана, Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской области. Причем без разбору, коммунист ты или депутат Верховного Совета – выселять всех под одну гребенку! Был объявлен срочный суточный сбор. В некоторых дворах резали скот, пытались заготовить мясо в дорогу. Но продукты от жары пропадали.

Мать собрала в небольшую тумбочку продукты и документы. Нашу семью и семью дяди Соломона погрузили на трехтонную машину ЗИС-5. Дядя Эрнст с семьей отправился на другой машине. Помогали эвакуировать солдаты и командиры. Везли по 50-километровому маршруту на гористый берег Волги, а потом вниз по течению к переправе напротив Саратова.

Когда мы подъехали, на берегу уже было тесно от большого скопления народа. Суета, гвалт, неразбериха. Кто-то плачет, кто-то поет, кто-то ищет ребятишек. Палит солнце. Я принес немало хлопот своей матери, убегая на Волгу купаться. Представляю, каково ей было, когда в толпе разлетелась весть, что чей-то ребенок утонул.

Скоротали ночь на песчаном берегу. Утром подтащилась большая баржа и две поменьше. Мужчины целый день провозились с устройством трапов из бревен и досок и переноской грузов на баржи. До поздней ночи на суда поднимали и раз-

мещали вначале женщин и детей. В последнюю очередь грузились мужчины.

Я был заворочен движением пароходов по большой реке. Все они были ярко освещены огнями. Каждое судно проходило с продолжительными гудками. На кормах можно было разглядеть военных, пассажиров. Мы все стояли и молча смотрели на них.

К ночи подошел большой буксир, подцепил наши баржи. 90-километровый путь до Энгельса мы тащились всю ночь. В толпе начались панические разговоры, что, мол, могут где-нибудь утопить.

На рассвете 13 сентября прибыли в город Энгельс. Последовала команда: первыми сойти на берег женщинам и детям. После выгрузки мужчины стали таскать барахлишко к железной дороге. Я первый раз увидел рельсы. Начал по ним бегать. Вдруг услышал стук колес, гудок. Паровоз толкал впереди себя вагоны – телятники. Вагоны открыли, и мы увидели ряды нар в два яруса.

Пришел какой-то командир. Мне запомнились его ботинки и кожаные чулки-обмотки вроде голенищ. Он с остервенением выбросил нашу тумбочку. Продукты и документы рассыпались по гравийному перрону. И что могла сделать убитая горем мать с пятью детишками на руках, оставшаяся без мужа?

Наша семья угодила на верхние нары. Только через неделю пребывания в дороге, когда взрослые стали роптать, верхних пассажиров переселили вниз, а нижних наверх».

Гертруда Бельш:

«Сообщения о войне, а вскоре и депортации прозвучали как гром среди ясного неба. Мы все: родители, взрослые и дети – плакали. Всю скотину с наших дворов согнали в большой загон. У нас была корова, телка, теленок, шесть овец (столько разрешали держать в частном подворье), коза, куры, утки, гуси. Ничего брать с собой не позволили.

В назначенное время всех рассадили по подводам. Разрешили кое-что прихватить из одежды. Подъехали в Боаро к дяде отца, Готтлибу. Он обнял нас, сказал, что наверняка видимся в последний раз. Так и случилось.

Ехали до Маркса, это 18 километров. Когда-то родители ездили сюда на рынок, продавали продукты, покупали одежду и прочее. До сих пор помню, какие вкусные там были калачи. А теперь городок превратился в пересыльный пункт. Нас переправили в Энгельс.

173

В Сибирь наш эшелон прибыл 12 сентября. Привезли в деревню Лебедево Промышленновского района. Председатель колхоза Апрелькин выдал на каждого человека по мешку картошки. Всех распределили по колхозам «Красная звезда», «Красный стрелок» и «Модерн».

В «Красной звезде» председатель был жесткий. Немцев он не любил, не помогал им, работу давал только самую черную. Мы же при любых условиях старались хорошо работать. На удивление местным жителям аккуратно и быстро метали ровные и длинные зароды.

Отец и моя старшая сестра Луиза работали в колхозе».

Ольга Келлер, сестра Константина Келлера:

«26 сентября поезд с переселенцами прибыл в Тогучин. Было холодно, выпал первый снежок. Автомобили, возившие зерно на элеватор, обратным рейсом забирали немцев, увозили в колхозы. Постепенно всех увезли. Мы с матерью остались одни под открытым небом, транспорта для нас не было. Мама заплакала. Неподдалеку от станции охраняла склад женщина с винтовкой. Она подошла к нам, заговорила, но мама не смогла ей ответить по-русски. Женщина, глядя на нее, тоже заплакала. В то время у каждого в семье было свое горе, многие люди сочувственно относились друг к другу.

Уходивший куда-то дядя Эрнст вернулся в сопровождении двух бричек, и всех погрузили на них. Везли от станции километров двадцать. Остановились в селе Киик, где нас разместили в конторе колхоза имени Куйбышева. В одной стороне там уже находилось пять наших деревенских семей.

На следующий день мы переместились на пол в клубе, куда поселили тринадцать семей. Семьи большие – от пяти детей и больше. Ходить приходилось переступая друг через друга. Умывались где придется, готовили пищу во дворе, туалет один на всех.

Через некоторое время старшие, в основном родители, стали жаловаться на невыносимые условия проживания. Пришли какие-то люди из сельсовета, посмотрели на наше «общежитие». Согласились, что, действительно, такой «вокзальный» вариант для долгого совместного проживания ни к чему хорошему не приведет. Семьи стали расквартировывать по домам.

Нас определили к незамужней женщине. У нее было две дочери, старшая – инвалид, горбатая, другая – поменьше, лет семи. С хозяйевами мы поладили и прожили в согласии до весны».

Организация трудовых колонн

В октябре – ноябре 1941 года в Новосибирскую область прибывали эшелоны с немецкими переселенцами из Ростовской области, Запорожья, с Кавказа, из Крыма, Баку. Общая их численность составила 124712 человек. При этом местными властями еще не был решен вопрос трудоустройства депортированных.

В постановлении ГКО от 7 октября 1941 года указывалось, что трудоспособные лица немецкой национальности подлежат трудовой мобилизации и направляются на работы в промышленность и строительство. Эта мера была конкретизирована в постановлении ГКО от 10 января 1942 года «О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет». Уточнялось: всех немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, выселенных в Новосибирскую и Омскую области, а также Алтайский и Красноярский края, Казахскую ССР, годных к физическому труду, мобилизовать в количестве 120 тысяч человек в рабочие колонны на все время войны. Из этого числа в ведение НКВД СССР направлялось 45 тысяч человек, на строительство промышленных предприятий – 35 тысяч; на строительство железных дорог Сталинск – Абакан, Сталинск – Барнаул, Акмолинск – Павлодар, Орск – Кадагач, Магнитогорск – Сара передавалось в ведение НКПС СССР 40 тысяч человек. Положение немцев, мобилизованных в трудовую армию, мало чем отличалось от положения заключенных.

Направление депортированных на шахты Кузбасса было далеко не случайным. Потеря Донбасса резко обострила положение в угольной отрасли. Уже с октября 1941 года в Кузбассе стали падать темпы и объемы угледобычи, в том числе коксующегося угля – важнейшего сырьевого компонента оборонной промышленности. За восемь месяцев 1942 года государственный план угледобычи был выполнен в бассейне только на 70,8 процента, снизилась производительность труда, остро ощущался дефицит рабочих кадров. Объявленная ГКО в ноябре 1942 года дополнительная мобилизация в рабочие колонны на время войны всех немцев – мужчин в возрасте от 15 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет – и призвана была решить проблему пополнения шахтерских кадров. Освобождались от мобилизации только женщины, имевшие малолетних детей.

В ноябре 1942 года первые эшелоны с мобилизованными немцами стали прибывать в Кузбасс. К 29 декабря 1942-го на шахтах региона уже работало 9393 мобилизованных немца.

Трудомобилизованные распределялись по трестам, где из них формировались шахтовые отряды, участковые колонны, сменные отделения и бригады. Каждый отряд возглавлял сотрудник НКВД или представитель начсостава Красной армии. Инструкция не допускала возможности общения немцев с местным населением. Но в трудовом процессе избежать контактов с вольнонаемным контингентом было практически невозможно. Прибывшие немцы не владели навыками шахтерского труда, поэтому на наиболее сложных работах допускалось использование квалифицированных вольнонаемных рабочих – машинистов врубмашин, посадчиков лав, запальщиков. Исключался допуск депортированных на работы, связанные с использованием взрывчатых веществ.

Немцам предстоял тяжелый период адаптации к новым жестким условиям работы без признания за собой элементарных гражданских прав и нормального обеспечения. Значительная часть новых тружеников подземного фронта была размещена в малоприспособленных бараках. В лагере при шахте «Байдаевская» мобилизованных и вовсе поселили в одной зоне с заключенными. Трудармейцы испытывали острую нужду в постельных принадлежностях, в теплой и рабочей одежде и обуви.

На работу их водили и возвращали в зону строем под охраной. На шахтах были выделены специальные накопительные участки.

Надо помнить при этом, что большая часть прибывших работала ранее в сельском хозяйстве на территории Республики немцев Поволжья и даже не владела русским языком. Теперь же они должны были не только говорить по-русски, но и освоить шахтерские специальности. Не сразу был преодолен формальный подход в их профессиональном обучении, потребовалось время для подбора кадров преподавателей и переводчиков. Пригодился опыт 1132 человек, ранее работавших в угольной промышленности региона.

Для мобилизованных немцев устанавливался дифференцированный порядок питания. Стопроцентный паек был гарантирован только тем, кто выполнял установленные суточные производственные нормы. Рабочим, выполнявшим наряды в объеме от 50 до 80 процентов, выдавалось продовольствие, в том числе хлеб, на четверть меньше.

Тяжелые условия труда и быта, скудное питание, массовые простудные заболевания, педикулез, унижительный режим заключения, раз-

лука с детьми, враждебное отношение со стороны вольнонаемных – все это, естественно, вызывало недовольство депортированных. Однако любые формы протеста (не говоря уже о побегах) в условиях военного времени жестко карались. А мириться с таким бесправием приходилось и членам партии, и комсомольцам.

Выживание

Константин Келлер:

«Первого октября пришли учителя записать нас на учебу в школу-десятилетку. Меня определили в четвертый класс, брата Фридриха – в первый. Сверстники встретили нас не очень дружелюбно: «Привезли каких-то дикарей из Германии». Надо их понять: шла война, родители пацанов воевали с немцами. Да и говорить по-русски мы почти не умели.

– В какой класс пойдешь? – спрашивают.

Показываю им четыре пальца. Они смеются.

– А этот шкет в какой? – кивают на Фридриха.

Показываю один палец. Они заливаются смехом.

В родном селе в Поволжье у нас были уроки русского языка, но общались-то мы на родном немецком и толком говорить по-русски не могли. А тут на уроке учительница дала мне почитать книжку с русским текстом и, кажется, осталась довольна, несмотря на мой акцент. Но мальчишки в классе все равно хохотали. Быструю разговорную речь я понимал плохо, не всегда усваивал урок. Мне самому казалось, что учителя с нами мучаются, что своим непониманием я мешаю учиться другим. Не только у меня – у всех приезжих вырабатывался комплекс неполноценности.

Я перестал ходить в школу. Другие односельчане тоже стали избегать занятий. К этой беде привлекли учительницу-немку, знающую одинаково хорошо русский и немецкий. Всеми своими педагогическими средствами она пыталась вселить уверенность в своих учеников, мучилась с нами до весны. Но учиться дальше у меня не хватило духу. Да и до учебы ли, когда есть нечего?

Закончив первый год учебы, я пошел в подпаски. За день беготни по полю за животными в кровь избивал босые ноги. Когда собирал боярку с дерева, в пятки забивались занозы. Женщина-пастушка ловко их выковыривала из отвердевшей подошвы. Она хорошо плела лапти из лыка и все уговаривала меня примерить эту нехитрую обувь. А я стеснялся ходить в лаптях.

Но потом все же обул их и понял, какая эта прекрасная спасительная обувь, даже на стерне не колет. Сам научился их быстро плести. С утра надеру лыка и в свободное время плету. Изнашивались, правда, быстро, до двух пар на дню.

Позднее я стал все больше пропадать на ферме. Молча брал вилы и лопату и чистил от навоза животноводческие помещения. Мне кричали: «Костик, подвези сенца!» – и я с готовностью запрягал быка и на волокуше привозил корм. А то попросят за дровами в лес съездить. Беру топор и отправляюсь в березняк. Весной пахал, боронил, летом пас коров.

Не помню, чтобы меня оформляли на работу в колхоз. Вначале работал за кружку молока или пару вареных картошек. Но со временем мне стали иногда выдавать немного зерна, свеклы. Однажды, когда пала лошадь и ее пришлось забить, мне тоже отрезали кусок мяса. Но домой нести было нельзя, могли сообщить коменданту, а чем это кончается, мы все хорошо знали. Мне тогда было одиннадцать лет, но я сообразил конину зарыть в снег, а ночью крадучись притащить в нашу землянку. Редкий случай, когда во время голодной войны мы поели мяса.

Чаще приходилось довольствоваться не вывезенным с поля мороженым турнепсом. Однажды зимней ночью мы с мамой на быке вывезли немного турнепса. Мама была настолько голодна, что прямо из кучи взяла мороженую репку и разгрызла ее на месте.

А говорить по-русски я научился быстро, думаю, что гораздо быстрее, чем если бы ходил в школу, где все уроки преподавали на русском языке. Что ни говори, а живого общения с простыми людьми на понятном крестьянском наречии не заменят даже специальные учебные программы».

Фридрих Келлер, брат Константина:

«Моему старшему брату Готлибу едва исполнилось 16 лет, как за ним приехали: собирайся! Увозили в рабочие колонны все население немцев обоих полов, достигших соответствующего возраста, по сути, в принудительные трудовые лагеря в различные глухие места.

Некоторое время никто ничего не знал о местонахождении уехавших, живы ли они вообще. Но земля слухами полнится. Когда соплеменники что-то узнавали о близких, передавали друг другу информацию, старались наладить контакты. Были даже случаи, когда в трудовую

отправляли посылки с самосадом, а если повезет, то поддерживали и продуктами.

Каким-то образом мама узнала, что Готлиб оказался на руднике Кольчугино в городе Ленинске-Кузнецком. Надо отдать должное решительности, смелости и настойчивости нашей мамы Юлии Александровны. При тотальном контроле, неблагоприятности и подозрительности властей, при обязательной занятости по работе, заботе о детях и плохом знании русского языка мама сумела добиться разрешения навестить сына. И ведь не на попутках тогда добиралась, их просто не было, а шла пешком многие десятки километров!

После первого ее похода на свидание мы узнали, что Готлиб попал на шахту, которую еще до войны закладывали горные специалисты из Германии. В шахте он еще не работал, так как не было семнадцати лет. Его определили на погрузку угля и породы. Конечно, никаких обучающих курсов никто не проходил, вообще никакой горной учебы во время войны не было.

От Готлиба мама принесла грубую безразмерную спецодежду. К тому времени мы все обносились до крайности. Косте уже и работать было не в чем, одни лохмотья. А мама раскроила шахтерскую робу и сшила ему одежонку.

Готлиб, как и все переселенцы, тем более работник трудовой колонны, был лишен возможности нас навещать. Он жил под еще более строгим режимом спецкомендатуры и вынужден был ежедневно отмечаться. Свободы никакой, а любое нарушение режима наказывалось как уголовное преступление. За бегство к родственникам, невыход на работу были статьи, которые в быту все называли «4/25» и «6/25». Это означало, что прогульщик подвергался аресту (опять же с принудительными работами) на четыре месяца с лишением пайки на четверть, за побег – на полгода и тоже с урезанием хлебной карточки на четверть.

В 1942 году забрали и дядей (младших братьев отца) в так называемую трудовую армию: Александра увезли в Нарым, Эрнста – на Урал. Долгое время мы не знали, где они находятся, переписки не было. Позднее выяснилось, что Соломон умер в эшелоне по пути на восток в 1943 году, похоронили его возле железнодорожной станции Иркутск. А четверо его сыновей с осени 1942 года работали в тайге на лесозаготовках».

Трудармия – лагерь подневольных

Лесозаготовками на комбинате «Кузбасс-уголь» занимались рабочие трестов «Севкузбасслес» и «Южкузбасслес», они обеспечивали шахты лесоматериалами и в первую очередь крепёжным лесом. О чрезвычайно сложных условиях работы в лесу говорит хотя бы тот факт, что из 1475 бойцов, прибывших в трест «Южкузбасслес» в 1942 году в составе двух стройколонн РККА, к концу года осталось только 690 человек. Все остальные выбыли по состоянию здоровья и другим причинам. В аналогичной ситуации оказались прибывшие летом 1942-го в трест «Южкузбасслес» 2772 советских немца, демобилизованных из рядов РККА.

Все они были в летнем обмундировании. Их распределили по леспромхозам и направили на лесозаготовки, не снабдив спецодеждой. Из-за быстрого износа обмундирования и обуви, отсутствия портянок летом в лесу более пятисот человек работало босиком. Лапти, в которые стали обувать бывших военнослужащих, не выдерживали нагрузки. С наступлением зимних холодов из-за отсутствия одежды и обуви на работу не выходило до 800 человек ежедневно. В декабрьские морозы люди работали в пилютках, без рукавиц. Только позже благодаря поступлениям мануфактуры и ваты удалось организовать пошив зимней одежды на местах и сократить число невыходов на работу из-за отсутствия одежды до 250–270 человек. Но часть серьезно заболевших вообще выбыла из строя и была демобилизована. К концу января 1943 года в составе треста осталось лишь 1420 человек.

В обычных условиях продолжительность рабочего дня, оплата труда мобилизованных немцев не отличались от вольнонаемных рабочих. В штрафной шахте при повышенных нормах выработки продолжительность рабочего дня увеличивалась до 12 часов. При этом норма питания сокращалась наполовину. В первые два месяца пребывания для мобилизованных устанавливались заниженные нормы выработки, соответственно 60 и 80 процентов, затем – общепринятые со всеми вытекающими отсюда последствиями. Теснота, скученность, педикулез приводили к эпидемическим заболеваниям. В ноябре 1943 года из-за простудных и прочих заболеваний, не считая травматизма, на работу не выходило до 6 процентов наличного состава.

К сестрам на каторгу

Гертруда Бельш:

«В 1942 году всех, кому было 17 лет и старше, стали забирать в трудармию. Моим старшим сестрам Элле и Эмили в 1942-м исполнилось соответственно 18 и 17 лет, то есть они созрели для принудительных работ. В декабре обеих сестер и многих наших поволжских земляков увезли в Тогучин на пересыльный пункт. Оттуда отправили в город Ленинск-Кузнецкий, где требовалась поредевшая за войну мужская рабочая сила на шахтах. Забирали не только молодых. В число трудармейцев попал и брат отца – мой дядя Отто. Всех определили на шахту «Комсомолец».

Шахта была сдана в эксплуатацию в 1933 году. Но если учесть бедное предвоенное время и тяжёлые военные годы, то можно представить, в каких каторжных условиях в отсутствие какой бы то ни было механизации приходилось работать всем шахтерам, в том числе моим сестрам.

Для прибывшего пополнения приспособлен был клуб – как общее спальное помещение с нарами в два яруса. В шахту ходили в том же, в чем приехали. Для работы получили керосиновые лампы, лопаты, кирки да ломы.

Эмили вначале пришлось выполнять разные работы. То отправят зачищать штрек, то занарядят доставить грузы в забой. Позднее определили на ручную откатку вагонеток. Затем перевели на угольный бункер. Элла была рядом, и это как-то помогало вдвоем переносить тяжёлые испытания.

Работать в валенках в шахте – это все равно что ходить в носках по болоту. Вот и пришлось им придумывать обувь. В ход шли изношенные подошвы выброшенных сапог и ботинок, части резиновых голяшек, случайно найденные куски брезента и кожи. Ухитрялись их сшивать, пропитывать гудроном или чем придется. Да только ноги от холодной сырости они все равно не спасали.

Разлука с сестрами давила на нас тоской. Отпросившись у коменданта, мы пошли навстречу им в Ленинск-Кузнецкий. На дорогу из Лебедева ушло четверо суток в один конец. В день проходили километров по 25–30. Повидаемся вечером после смены, наговоримся, наплачемся – и в обратный путь.

В 1945 году Элла заболела тифом. Ослабленный организм не справился с тяжелой бо-

лезню, да и спасать нашу сестренку было некому и нечем. Элла умерла, и хоронить ее пришлось одной Эмили».

Проклятие военной деревни

Константин Келлер:

«Я, Оля и Гера продолжали учиться. Надеть и обуть было нечего, ухитрялись как-то добираться до занятий. Мама с утра уносила полуголового Герберта в школу, а после уроков приходила его забирать. Как бы там ни было, школу мы не бросали. Мне удалось окончить пять классов».

Ольга Келлер:

«Мама доила колхозных коров. Чтобы не теснить хозяйку небольшого домика, она пристроила нам новое «жилье». На окраине деревни был ветхий заброшенный сарай, в котором когда-то заваривали корм поросятам, варили картошку. Туда мы и решили переселиться.

Вместе на земляном полу настелили досок, собранных с разрушенных построек. Стены изнутри обмазали глиной. Посреди соорудили печку. Устроили двое полатей. На одних размещались мы с мамой, на других «валетом» – три моих брата. По одному одеялу на каждые нарты.

Мучил жуткий голод. Сильно заболел Фридрих. Он лез на стенку, дико кричал, буквально сходил с ума. А какая могла быть медицинская помощь в глухой деревне в условиях военного времени? Мама привела ветеринара. Он осмотрел мальчика и посоветовал его прикормить, желательно сухариками, чтобы начал работать желудок. Да где ж их взять-то, эти сухарики, когда мы все пухнем от голода? Мама мне, шестилетней девочке, велела просить милостыню в соседней деревне. «Иди, Оля, надо брата спасать, – напутствовала она. – Бог милостив, что-нибудь дадут».

Мы с младшим братом Герой стучались в каждый дом. Прошу краешку, а слезы сами текут. Кто откажет, а кто предложит поесть полхлебки на доньшке миски. Немного насобирали кусочков хлеба. Братишка смотрит голодными глазами, просит: «Дай». – «Ты что, – говорю ему, – надо нести этот кусочек домой, а то Фридрих умрет».

Из того, что насобирали, мама часть спрятала и помаленьку выдавала больному Фридриху. Он стал понемногу успокаиваться. Думаю, что еще и молитвы матери помогали. А Фридрих потом не раз говорил: «Если бы не Оля, ме-

ня бы давно не было на свете, Оля спасла мне жизнь».

Труднее всех, конечно, пришлось маме. Ее могли даже убить. От отчаяния и голода она как-то решилась на кражу картошки из чужого погреба. В тот вечер в клуб привезли кино и вся деревня отправилась смотреть картину. Пока мама лазила в погреб, Костя стоял на стреме. Видимо, кто-то заметил и сообщил в клубе о воровстве. Прибежали, вытащили воровку из погреба и стали жестоко ее избивать. Свалили, пинали ногами... Но тут подошел человек:

– Что вы делаете, она мать пятерых детей! Кто их кормить будет?

Самосуд был окончен, люди разошлись. Мать почти без сознания увели домой. Она потом долго лежала, не могла подняться. А на следующее утро братишки обнаружили у входа немного картошин: чья-то добрая душа пожалела бедных переселенцев.

После того как мама поднялась на ноги, над ней решили устроить в клубе публичный суд, чтобы другим неповадно было лазить по погребам. Она пришла по вызову на сход. Стояла перед людьми молча, не проронила ни единого слова. Ее осмотрели и не нашли ни одного синяка или следов побоев. Люди удивились: такого быть не может, это после пинков сапогами! Позднее мама говорила, что Бог сохранил ее от настоящего суда.

Мама работала на ферме. Иногда я приходила к ней. Пока она доит коров, украдкой даст мне в кружке молока. При этом всегда боялась, что кто-нибудь доложит начальству, и тогда беды не миновать.

Люди по-разному относились к прибывшим немцам. Кто-то злобствовал, издевался, были случаи, когда наших землячек насилывали. Но многие проявляли понимание и сочувствие. Когда я у мамы на ферме пила молоко, некоторые женщины специально выходили из коровника, чтобы покарать и предупредить маму о приближении бригадира.

Шла война. В деревню приходило много похоронок. Некоторые женщины свое горе вымещали на немцах. У мамы были длинные густые волосы. Когда она садилась на скамью, плетеная коса оказывалась под ней. И вот одна овдовевшая баба обмотала косу мамы на кулак и ну таскать ее по навозному полу в коровнике с проклятиями фашистам. Я уцепилась за маму, реву, а чем могу ей помочь?

Вернулся с фронта без руки односельчанин, его поставили бригадиром скотной фермы. Как-то он стал свидетелем подобного издевательства и сказал: «Если еще кто-нибудь посмеет их тронуть, отдам под суд». Конечно, сквернословия, ругательства пришлось еще немало услышать, но побои прекратились.

Однажды селянам выдавали зерно на трудодни. Я тоже пошла получать за маму и брата Костю заработанное (сами они в это время находились на ферме). Но их в списках не оказалось. Позднее эту ошибку исправили и дали нам 48 килограммов ячменя.

Как-то в апреле в соседнем селе мы с мамой просили у людей мелкую картошку на посадку. В углу одной избы была навалена целая куча клубеньков. Но хозяйка отказала нам, грубо выгнала да еще и собаку спустила. Псина накинулась и вырвала у мамы кусок лодыжки. Мама корчилась от боли, галоша наполнялась кровью. Пока мы дошли до своей деревни, мама застудила ногу. Полгода потом не могла ее согнуть и рана постоянно нарывала. Мама боялась, что ногу потеряет.

Тогда все же удалось собрать немного мелкой картошки, спрятали ее в подвал до посадки. А есть-то хочется. Герберт достал несколько картошин, зарыл в поддувало в золу и стал ждать, когда она испечется. На этом мама его и поймала. И отшлепала. А потом всю ночь билась в истерике: вместо того чтобы ребенка накормить, она его отлупила!

На ферме издохла лошадь. Мама попросила бригадира отрезать ей кусок дохлятины. Бригадир не дал. Павшую скотину увезли и закопали. Мама проследила где и вечером с Костей отправилась в то место.

Конягу выкопали, отрубили куски мяса, сняли шкуру. В два больших котла, вмазанных в печь, сложили порубленную конину. Мы с Фридрихом натаскали воды. Много наварили мяса и впервые наелись от души. И еще часть засолили.

Наша мать была сильной женщиной. Сколько пришлось ей пережить за свою жизнь! Но никогда она не жаловалась на судьбу, стоически переносила испытания. И только по ночам я иногда просыпалась от ее рыданий. И тогда я поднимала с нар братьев: «Вставайте, мама опять плачет». Мы все ее обхватывали и вместе ревели. Тогда мама переставала плакать и начинала молиться...»

Жизнь по новой инструкции

До августа 1943 года спецотряды ежеквартально пополнялись небольшими партиями мобилизованных немцев. Они распределялись по трестам по потребностям шахт.

Необходимо было увеличить добычу, и 19 августа ГКО обязал НКВД мобилизовать и направить в угольную промышленность страны еще семь тысяч немцев, проживающих в Казахской ССР, Красноярском и Алтайском краях, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях.

В соответствии с приказом наркома угольной промышленности В. В. Вахрушева № 269 от 28 августа 1943 года на комбинаты «Кузбассуголь» и «Кемеровоуголь» направились соответственно полторы и тысяча мобилизованных немцев. Руководителям комбинатов и угольных трестов предписывалось срочно, до 25 сентября, подготовить для их приема зоны, охрану и необходимые бытовые условия.

На 1 апреля 1944 года на предприятиях Кемеровской области трудилось 16028 мобилизованных немцев, в том числе в угольной промышленности 14,5 тысячи человек. В трестах «Севкузбасслес» и «Южкузбасслес» тогда числилось 708 мобилизованных немцев. Однако вскоре рабочая сила леспромхозов была заметно увеличена. Так, численность мобилизованных в тресте «Южкузбасслес» довели до 1100 человек. В состав этих рабочих колонн попало много молодежи и женщин. В январе 1945 года в том же тресте работало 1078 человек, из них 49 женщин, два подростка в возрасте до 16 лет, 24 – от 16 до 18 лет. Кроме того, 444 человека трудилось в Кузбассе на строительстве шахт, 355 – на строительно-монтажных работах при возведении промышленных объектов и жилья, 350 – на заводе «Прогресс» Наркомата оборонной промышленности в Кемерове. Небольшие группы советских немцев работали на золотодобывающих рудниках Тисульского района.

Ситуация в угольной отрасли изменилась в лучшую сторону во второй декаде ноября 1943 года – с появлением новой инструкции по трудоустройству мобилизованных немцев. Это заставило руководство шахт и трестов начать смотреть на переданную им рабочую силу как на постоянные квалифицированные кадры, способные решать вопросы угледобычи. Были выделены большие фонды белья и одежды. Охрану зон доверили самим немцам. Обслуживающий персонал пищеблока тоже мог быть заменен лицами немецкой национальности. Управлению спецотрядов бы-

ли переданы штаты работников банно-прачечных комбинатов и насосных, а также отдельные медпункты.

Все спецотряды в 1944 году организовали ОРСы и свои подсобные хозяйства, получив земельные участки. Стал уходить в прошлое враждебный подход к спецконтингенту. Произошли изменения в снабжении продовольствием, одеждой, обувью, постельными принадлежностями. Многие немцы прошли техминимум, освоили шахтерские профессии, стали перевыполнять норму, в ряде случаев опережая вольнонаемные бригады. Весной 1944 года по тресту «Анжеруголь» отдельные забойщики выполняли норму на 134 процента, навалоотбойщики – на 144, лесодоставщики – на 200. В тресте «Кемеровоуголь» насчитывалось 167 ударников и 60 стахановцев из числа мобилизованных. Для них создавали улучшенные условия в бараках, выделяли стахановские комнаты, в столовых – стахановские столы. Часть ударников и стахановцев стала проживать вне зоны – в частных домах.

А главное, что еще 20 августа 1943 года для стимулирования труда немцев – стахановцев и ударников Совнарком СССР распоряжением 16057рс разрешил перевезти 2500 семей мобилизованных, главы которых работали на шахтах комбината «Кузбассуголь», систематически выполняли и перевыполняли производственные нормы выработки.

В 1944 году по тресту «Прокопьевскуголь» этнические немцы составляли три четверти общей численности работающих на шахтах, в том числе на подземных работах – 70 процентов. Также немцы трудились на строительстве объектов на территории зон, эксплуатационных работах на рудоремонтном заводе, в железнодорожном цехе, подсобном хозяйстве и ОРСе, швейно-обувных мастерских для пошива спецодежды, в коммунальном и медицинском обслуживании.

И еще важная деталь: для работающих немцев установили три выходных дня в месяц и восьмичасовой отдых для сна.

К концу войны мобилизованные были закреплены в составе постоянных кадров угольной, золотодобывающей, оборонной промышленности. На них стали распространяться все льготы отраслей. В промышленности региона они представляли существенную долю квалифицированных специалистов. Часть их оставалась проживать на частных квартирах вместе с семьями, другие были переселены в общежития, и лишь оставшееся незначительное число проживало на территориях спецотрядов.

Часть депортированного в Кузбасс немецкого населения, не подлежавшая мобилизации в трудовую армию, находясь в сельской местности, работала полеводцами, животноводами и механизаторами на полях и фермах местных колхозов, а также в потребительской кооперации. В основном это были подростки, женщины, имеющие малолетних детей, люди преклонного возраста и инвалиды.

В начале января 1945 года в Кузбассе находилось на спецпоселении 36511 человек, включая малолетних детей и стариков. Их статус определялся в соответствии с постановлением Совнаркома СССР № 35 от 8 января 1945 года «О правовом положении спецпереселенцев».

В том же 1945 году в Кузбасс по репатриации из Германии прибыло свыше пяти тысяч советских немцев, ранее проживавших в Одесской, Николаевской и других областях СССР, в Краснодарском крае. Это были так называемые «фольксдойче». В соответствии с директивой НКВД СССР № 181 от 11 октября 1945 года их без фильтрации взяли на учет спецпоселений. После прохождения государственной проверки в ПФЛ они были расселены преимущественно в Юрге и Яшкинском районе, где ощущалась особенно острая потребность в рабочей силе. Многие репатрианты были направлены работать лесорубами на Курганский и Литвиновский лесозаготовительные участки Яшкинского района. Часть немцев пополнила ряды колхозников и рабочих совхозов северных и центральных районов Кузбасса. Некоторое число репатриантов было закреплено за предприятиями НКВД СССР управления «Главспецметзолото» на территории региона в качестве вольнонаемных рабочих.

Побег из деревни

Константин Келлер:

«Разрешения на переселение в город для соединения семьи мы не получили, только обещания. Поэтому наш отъезд из деревни был похож на побег. Надзор и сельское начальство сделали вид, что к ним за разрешением никто не обращался (это на тот случай, если кто-то учинит с них спрос). Но война была позади, все отпраздновали Победу, и пришло некоторое неформальное послабление в режиме переселенцев.»

К тому же власти знали, что переселение к поднадзорному шахтеру Готлибу непременно приведет его подрастающих братьев на работу в шахты. Тогда не хватало горняков, ведь многие не вернулись с войны, а для восстановления разрушенного хозяйства стране нужен был

уголь. В шахтах работали женщины, на поверхность принимали подростков. А мы и были тем недостающим рабочим материалом.

К тому времени в деревне мы обрели белоблужую корову Лыску. Я обучил ее перевозить грузы в упряжке. Отремонтировал старые сани.

25 марта 1946 года, когда еще всюду лежал снег, мы нагрузили бараклишко и тронулись в путь, в Ленинск-Кузнецкий. Лыска бодро тащила сани с грузом, мама, я и Фридрих шагали следом. Прихватили с собой и верного пса Трезора, он мне здорово помогал пасты стадо, какая-никакая, а охрана.

Корова такая умница: дойдет до развилки и остановится, ждет, куда ей дальше путь укажут. Куда я махну рукой, туда она и поворачивает. На ночлег мы останавливались в деревнях у таких же, как мы, немцев-переселенцев.

31 марта въехали в Ленинск-Кузнецкий. Снега здесь уже не было, зато грязь по колено. Корова очень измоталась за долгий путь. В темноте кое-как добрались до глухого рабочего района города. К нам подошла испуганная, зареванная, полураздетая девушка. Она рассказала, что жулики сняли с нее одежду, вывернули руку.

Прогудел последний ночной гудок, означавший, что в рабочем поселке отключают свет до утра. Я стал искать место ночлега. Нашлись добрые люди, накормили нас вареной дрябл¹⁵¹ой картошкой, и все мы упали спать мертвецким сном. Утром я проснулся от яркого света. Оказалось, на наше счастье ночью выпал снежок.

За военные годы работы в деревне мы не накопили никаких запасов. Не было денег, хлеба, а сена для коровы с собой взять было немисливо. Чем же ее кормить? Мама ни за что не хотела продавать кормилицу. Но все же пришлось бедную Лыску свести со двора и продать».

От пожизненного спецпоселения к послаблениям

Постановлением Совета Министров № КР-6 3237 от 4 декабря 1948 года лица немецкой национальности, мобилизованные в угольную промышленность Кузбасса, наряду с другими категориями переселенцев закреплялись на пожизненное спецпоселение по месту высылки. На 1 января 1953 года в Кемеровской области насчитывалось на спецпоселении 64653 немца, включая и тех, кто работал на шахтах.

Позже начался постепенный процесс освобождения немцев от спецпоселения. Вышло постановление Совета Министров СССР от 3 июля

1954 года № 1439-649с, и со всех поселенцев, в том числе немцев, проживающих в Кемеровской области, были сняты некоторые ограничения в правовом положении. Так, им было предоставлено право свободного передвижения в пределах районов, области без смены постоянного места жительства в районе поселения (до этого действовало положение, запрещавшее без разрешения МВД отлучаться за пределы спецкомендатуры). Люди получили возможность встречаться с родственниками на территории области. Многие специалисты смогли выезжать в служебные командировки за пределы Кузбасса, поставив об этом в известность соответствующие органы. И на регистрацию в милицию спецпоселенцам теперь требовалось являться только один раз в месяц. Были смягчены меры наказания за нарушения режима и побег.

С земли – под землю

Гертруда Бельш:

«После войны мы решились на побег из деревни в город для соединения семьи. У нас уже была в собственности корова, ее выдали нам по документам как семье переселенцев. Запрягли ее в телегу со скарбом. И ночью 5 мая 1946 года покинули деревню Лебедево.

В Ленинске-Кузнецком наш земляк Иван Бауэр жил с родителями в бараке. В двух комнатах у него уже разместилось две семьи с кучей детей. Но нас они пустили к себе под крышу, так что мы стали третьей семьей, устроились на полу. Позднее нам дали одну комнату в бараке в рабочем поселке шахты имени 7 Ноября.

Особых проблем, связанных с переменной адреса, не возникло. Правда, работу уже выбирать не приходилось. Отец устроился ассенизатором, очищал и вывозил на лошади в емкостях нечистоты на окраины рабочих поселков.

Луиза перевелась на шахту имени 7 Ноября сумконоской (была тогда такая профессия – доставлять динамит для взрывника). Добыча в те годы велась в основном с помощью взрывчатки, на «отпалку». Мы, младшие сестры (я, Лидия и Хильда), выполняли за низкую зарплату различные работы в подсобном сельском хозяйстве.

Когда наступил подходящий возраст, я попросилась в шахту. Надо сказать, после войны все женщины стремились работать под землей по одной существенной причине: паек и зарплата там были выше, чем на поверхности. В годы послевоенного восстановления народного хозяйства люди жили очень плохо. А подземная рабо-

та давала больше возможности приобрести одежду, обувь, предметы домашнего быта. Но вначале трудились за повышенную продуктивную пайку.

В 17 лет меня приняли на погрузочный комплекс на поверхности шахты. Поставили на ручную выборку породы. Позднее перевели на ручную откатку вагонеток. Тяжелый труд и для мужчин, а каково женщине толкать груженные породой или углем вагонетки? Но мы не роптали, делали свое дело так, чтобы не было никаких нареканий.

В 19 лет я сама попросилась перевести меня под землю на откатку вагонеток по наклонным стволам. Странно, что эта работа считалась женской, тут нужна была воловья сила. А пыли и грязи в горном деле всегда было с избытком. В мойке после смены приходилось долго смывать с себя штыб. Но даже из-за этого я никогда не обрезаала волосы, а в девичестве всегда заплетала косы с лентами.

Луиза тоже была занята этим тяжелым трудом – вплоть до вывода из шахты по беременности с переводом на лесопилку. Перевод она переживала до слез, ей так не хотелось терять в заработке. Но вскоре случилось страшное: на шахте произошел взрыв. Погибло семь человек, в том числе ее напарница и подруга Эмма Гауэрт.

В 1949 году распоряжением правительства всех женщин стали выводить из шахты. А мне удалось между родами заработать (в общей сложности с работой породовыборщицей на обогатительной фабрике) восемь лет горного из 22 лет общего трудового стажа.

Сейчас это трудно представить – родить и поднять восемь детей, а между родами еще обеспечить хотя бы сносный материальный достаток. После работы некогда было присесть. Надо было ухаживать за скотиной, заниматься огородом, готовить еду на растущую с каждым годом семью, обстирывать ее на стиральной доске в лохани, делать заготовки на зиму, шить одежду, вязать носки. Всему этому нас, шесть девочек, научили с детства, и это была хорошая школа домоводства, помогавшая нам выживать всю жизнь.

Даже при беспросветной бедности военных и послевоенных лет в молодых немецких семьях, образовавшихся далеко от родины в Сибири, всегда был порядок, взаимопонимание, тепло и уют.

Старшие мои сестры вышли замуж: Эмилия – за хорошего русского парня из Тюмени Анатолия Антипина, Елизавета – за поволжского земляка Ивана Галле.

Но все же тяжелая работа в шахте, сытость, недоедание сильно отражались на здоровье. У Эмилии первые роды оказались неудачными. На свет появилась двойня, однако мальчик умер сразу после рождения, а девочки не стало через три года.

Эмилия снова стала работать на участке подземного транспорта, затем на угольном опрокиде, опять же под землей. Через некоторое время ей доверили управление подъемными машинами – скипами. Так и зарабатывала подземный трудовой стаж с 1942 по 1951 год. И в дальнейшем она родила еще пятерых детей».

Под арестом комендатуры, под контролем ФЗО

Константин Келлер:

«Как бы там ни было, а молодость брала свое. Готлиб, работая в трудовой колонии, познакомился с красивой, умной и веселой девушкой Екатериной Михаэлис. С 1949 года они стали жить вместе в построенной землянке.

Екатерина была беременна, и в декретный отпуск она поехала к родственникам в Талды-Курган. Там родился старший сын Виктор.

Комендант не дал Готлибу даже кратковременного отпуска, чтобы навестить самых близких ему людей. Но разве мог молодой отец усидеть на месте? И он поехал к Екатерине и сыну на свой страх и риск. Вместе вернулись примерно через месяц. Готлиба сразу арестовали и посадили в изолятор, не сказали даже, на какой срок. Только через четыре месяца его выпустили. Так реализовалось наказание «4/25» – тюремное заключение с принудительными работами на четыре месяца с урезанием хлебной карточки на четверть.

К тому времени Готлиб уже работал в шахте на навалоотбойке. С ним рядом орудовал лопатой Эрнст Готлибович, его дядя, вернувшийся с Урала. Готлиба поставили бригадиром навалоотбойщиков, руководил он бригадой, состоящей в основном из пленных японцев. В лаве № 20 угольный пласт залегал под углом 30 градусов. Воды – по колено. Но норму надо было выполнять при любых горных условиях.

Меня приняли на породовыборку 10 апреля 1946 года. В то время хлеб был такой плохой, что постоянно мучила изжога. Приспособился спасаться от болей в желудке очищенным кусочком угля. Оботрешь его об штаны – и под язык; посасываешь, как леденец, и вроде легче становится.

Наручных часов тогда ни у кого не было. В редком доме имелись ходики. На смену шахтеров собирали по гудкам. Все научились по звуку определять сирены шахт «Комсомолец», «Журилка», имени Ярославского. Гудели они так: в 7 часов утра – один длинный, в 8 – два коротких, в 15 часов – один длинный, в 16 – два коротких, в 23 – один длинный, в полночь – два коротких. На разных шахтах продолжительность и тональность гудков отличались. Механизм паровой сирены простой: под действием пара металлические пластинки вибрировали, что и создавало мощный гудок.

В полночь, когда случались сбои и уголь из шахты не шел, я прибежал в котельную к кочегару Попову. Мне было интересно собирать всю рабочую окраину, и даже когда я не был на смене, все равно шел в котельную и просил дать погудеть. Для Попова это давно не было забавой, и он позволял.

Как-то он спросил меня:

– Сколько тебе лет?

– Пятнадцать.

– Рановато пошел на работу. Что же это брат тебя не жалеет?

А я согласен был пойти и в шахту ради большей пайки, но под землей разрешалось работать только с 16 лет, а до «проходного» возраста я пока не дотягивал.

Как-то я из любопытства украдкой спустился в шахту по вертикальному ходу (восемьсот ступенек) и увидел, как работают забойщики. Шахтеры после взрывной отпалки лопатами кидали уголь на решетчатый конвейер. Норма на смену была девять тонн на одного забойщика. Но рабочие перекидывали до пятнадцати тонн, чтобы больше заработать хлебных карточек. Рубахи у каждого были мокрыми от пота, многие вообще обнажались по пояс... Я же старательно выбирал породу на поверхности между разногласными сменными гудками весь апрель и половину мая.

В то время ребят моего возраста чуть ли не насильно сгоняли в ФЗО – школы фабрично-заводского обучения. А я сам пришел к коменданту и стал проситься на учебу. Меня сразу же оформили. Выдали зеленые брюки и гимнастерку, фуражку и хромовые ботинки – по тем временам это было шикарно. Потом нас, учащихся, на полторке увезли в подсобное хозяйство за станцией Егозово. В то время у каждого предприятия были свои подсобные хозяйства, обычно в них определяли детей мастеров, бухгалтеров и прочих служащих. Каким-то образом в это число попал и я.

В начале лета мы сажали картошку, сеяли овес. Народ после войны жил полуголодным. А учащиеся ФЗО подкармливали картошкой, хлебом, крупой. Один паренек из села Мусохраново промышлял отловом сусликов. Нам их готовила повариха. Это было изысканное лакомство. Иногда к нам приезжал директор ФЗО Деньгин, он тоже любил полакомиться «имуранками», как мы называли полевых грызунов.

Безобразия, хулиганство, воровство среди фэззушников процветало. Отчаянных ребят было достаточно, доходило до того, что они дрались с мастерами. Однажды с культстана исчезли мои меченые ботинки 38-го размера. Правда, позднее сворованную и припрятанную на всходах овса обувь отыскал мастер и вернул мне.

Как-то ученик Абрамов бросил на поле лошадь, на которой боронил, и вместе с другими сбежал домой. Мастер Жариков увидел, как лошадь запуталась и упала. Он спросил, умею ли я обходиться с лошадьми, боронить. Еще бы, я с детства справлялся с любой полевой работой! Так для меня дело с лошадьми стало почетной обязанностью.

В сентябре начались занятия. В ФЗО было 13 групп. Учили на электрослесарей, мотористов, машинистов электровоза. Меня определили в мотористы. Учили горному делу, технике безопасности, другим предметам.

После сдачи экзаменов нас направили на трехмесячную практику по шахтам. Мне было еще 15 лет, но, как ученика школы ФЗО, все же допустили. Попал на участок № 25 шахты имени Кирова.

Я моторист. Мое дело – включать и отключать по сигналу привод. Однажды у двух забойщиков выгорели лампы, и они взяли их у нас, фэззушников. Работать пришлось на ощупь в темноте. Потом нам вернули одну лампу выгоревшей, другую с порывом провода. После смены мы выходили из лавы на уклон, слышим: постукивают колеса вагонов по рельсам. А света нет. Я подергал-подергал проводку – свет и включился. И вовремя, потому что перед нами высветились мчащиеся «козы» – вагонные площадки, на которых доставляют различные грузы. Мы резко отскочили к борту, прижались к стене. А ведь могла произойти трагедия...

Практиковался я около двух месяцев – до министерского приказа, потребовавшего вывести всех несовершеннолетних из шахт на поверхность. Так я попал на шахту «Журилка-3». А зима стояла морозная – градусов сорок. Пока доберешься до работы, насквозь продрогнешь.

В конце января мы сдали экзамены по профессиям. После аттестации 20 февраля 1947 года я пришел устраиваться на шахту «Комсомолец». Заместитель начальника шахты меня и еще одного паренька – обоим неполных 16 лет – повел предлагать по участкам. С первого захода от нас, пацанов, сразу отмахнулись: мол, не до вас. А на участке шахтного транспорта Лукин взял к себе кондукторами на электровоз. Работали как сигнальщики в хвосте грузовых подземных поездов.

В 1949 году я построил дом шесть на четыре метра, помогли Эрнст и Готлиб. В доме жили всей семьей, только без Готлиба, его с каждым годом растущее семейство проживало отдельно.

После переезда в город мать стала водить нас на воскресные христианские собрания в молитвенный дом на улице 10-летия Октября. Мне богослужение понравилось.

Я уже знал Милю (Эмилию) Бельш по совместной работе, она тоже ходила на собрания. С ней как-то пришла и сестра Гертруда. Мы познакомились, стали дружить. А 12 августа 1951 года сыграли скромную свадьбу без регистрации в загсе (до реабилитации 1956 года депортированных немцев не регистрировали).

Подвенечное платье для невесты, костюм для жениха подбирали всей родней, землячеством – у кого что было. Тогда еще в свободной продаже нельзя было купить ткани, не говоря уже о платье или костюме. В одном костюме или в одном платье в те годы могла обручиться не одна пара, и все это считалось в порядке вещей.

Ровно через год (13 августа 1952 года) родился Костя. Интересно, что ровно через 20 лет, в свой день рождения (13 августа 1972 года), он женился. Так что в нашей семье эта дата особая.

С рождением первенца в домике становилось тесновато. Тесть, Фридрих Ильясович Бельш, присмотрел и предложил купить продававшийся дом. В ноябре 1953 года родился Володя. Мы сообща насобирали нужную сумму и переехали в купленный дом. Брату Фридриху я оформил прежний дом дарением».

Признали гражданами страны

К 20 февраля 1956 года внутренними органами Кузбасса было снято с учета 41743 человека немецкой национальности, значительная их часть проживала в шахтерских городах. Большая концентрация немцев наблюдалась и на строи-

тельстве Юргинского машиностроительного завода, горнорудных предприятий КМК.

При снятии с учета бывшим спецпоселенцам было объявлено, что они не имеют права проживать в той местности, откуда выселены. При этом конфискованное у них при выселении имущество возвращению не подлежало. Каждый человек в отдельности был ознакомлен под расписку с Указом Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года.

Снятие немцев со спецучета способствовало официальному признанию их гражданами страны, в том числе на производстве. По состоянию на 5 мая 1958 года в угольной промышленности Кузбасса работал 9951 немец. При этом 1815 человек значились передовиками производства. Уже в первые годы освобождения 166 человек, работавших в угольной промышленности, были отмечены государственными наградами. А к концу 80-х годов бывшие немецкие трудармейцы были удостоены медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

В смертельно опасных условиях

Константин Келлер:

«Работаю на шахте «трех уклонов». С 1948 года начали бить три уклона: по одному выдавали породу, по другому – уголь, по третьему – спускали лес. Позднее ее назвали «Комсомолец». Мне рассказали, что еще в двадцатых годах шахтостроителей из Германии пригласили в Кольчугино (Ленинск-Кузнецкий) строить большую шахту, впоследствии разделившуюся на несколько: имени 7 Ноября, «Комсомолец», «Новая». Немцы горношахтным строительством занимались в течение десяти лет. Они же ставили бараки для жилья. Но дело до конца не довели. В 1931–1932 годах пришел приказ: немцев отправить домой.

Преподаватель КРО (курсы рабочего обучения) Лильков после года моей работы кондуктором уговорил выучиться на машиниста электровоза – «хлебную» профессию. Мы всегда учились без отрыва от производства: днем выполняем наряды на рабочей смене, вечером сидим за столами в учебном классе. Грамоты не хватало. Но когда во все вникаешь, то становится доступно и понятно. Я очень старался, поэтому быстро освоил вождение и обслуживание машин.

У меня появлялся опыт, я старался выполнять свою работу быстро и надежно. Вскоре мой портрет вывесили на Доску почета шахты. Позднее я еще раз удостоивался такой чести.

Брат Фридрих пришел на шахту в 13 лет. А когда достиг возраста допуска в шахту, перешел на участок шахтного транспорта.

После войны шахтеры стали жить богаче. Все постепенно стали обзаводиться часами. А в 1960-х годах передовикам к празднику «котлы» вручали вместо премии. Не раз получал их и я. Пришло уважение людей. Этим всегда дорожил...

Через десять лет, когда я уже имел семью и детей, захотел стать электрослесарем. Появился интерес быстро найти и устранить неисправность или аварию. Слесаря в забое всегда ждут, на него надеются, ему доверяют.

Но шахта – дело темное... Помню, как нам с Фридрихом довелось менять установленные вертикально рельсы-проводники для скипового подъема и увеличивать прогон на 43 рельса 12-метровой длины каждый. Страшная работа! Внутренняя бетонная обшивка копра (ствола) всегда в ручьях от притока грунтовых вод. Зимой стенки покрываются льдом. А глубина ствола тогда была более трехсот метров. Помощник главного механика Николай Задорожный, наш сверстник, доверял нам самые сложные операции.

На стыках работали на подвешенных «лодках», страхуясь ремнями. Мы демонтировали рельсы, скрепляли их тросами. Подъемными механизмами тащили наверх. Представьте наше состояние: висеть на тросах над трехсотметровой пропастью в лодке со смертельным грузом!

Однажды на подъеме рельсы расклинило по бортам – ни вверх, ни вниз. Чтобы расклинить, надо было спуститься сверху по тросу. Я попробовал. Вися над вертикальной бездной, натерпелся страху. Сделать ничего не смог, выбрался обратно. Сидим и думаем, что делать дальше. И тогда по тросу спустился Фридрих. Ему удалось расклинить связку рельсов».

Фридрих Келлер:

«Вместо проектной добычи 6 тысяч тонн угля в сутки угледобытчики рубили до 9 тысяч тонн. Приводной двигатель транспортной линии от больших нагрузок нагревался. Надо было останавливать ленту для охлаждения мотора. Приходилось что-то совершенствовать, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Смонтировали второй конвейер. Их включали попеременно.

Но вот однажды по недосмотру ночной смены было допущено затопление обоих двигателей. Я пришел на утреннюю смену. Сделал все, чтобы отвести воду от моторов. Пришли главный

энергетик, механики, и никто не знает, что делать с двигателями. Я открыл люк одного – внутри стоит вода: не держат сальники. Шлангом откачал воду. Протер изнутри статор и ротор тряпками. Надо сушить, но на это уйдет много времени, шахта встанет. Решили один мотор снять. Другой, с выпущенной водой, включили. Поехали. Знали: сырой мотор долго не выдержит. И часа через полтора он нагрелся, из него пошел пар. Потом пробило. Но к тому времени мы подготовили второй мотор, переключили ленту. Занялись ремонтом вышедшего из строя двигателя. К концу авральной смены заработали обе конвейерные линии.

Мы старались избежать травм, шахта не пренебрегла непредусмотрительности и легкомысленности. Но однажды с братом Константином не по его вине случилось то, о чем начальник участка сказал: «У нас произошел несчастливый несчастный случай».

Бригада электрослесарей всегда работала во время праздников, когда на шахте добыча угля не велась. В тот раз мы занимались совершенствованием и капитальным ремонтом опрокидывателя – громоздкого сооружения метра три в диаметре для опрокидывания угля из вагонеток. Надо было установить более надежное оборудование, так как стопорный механизм, удерживающий магниты на тросах, иногда не срабатывал.

Константин работал в нижней части опрокидывателя. Когда он вылез из люка, два спаренных магнита весом 150 килограммов с грохотом сорвались вниз. Пролетели по касательной и упали Константину на спину. Крепко придавило. На крик все сбежались. Быстро освободили травмированного. Унесли его на носилках и увезли в больницу. Оказались сломанными несколько ребер. Мой брат выжил случайно. Пожалуй, это единственный случай почти за 50-летнюю его шахтерскую практику, когда он оказался серьезно травмированным, с госпитализацией в больницу».

Крестьяне стали шахтерами

Константин Келлер:

«Из сельских районов Новосибирской области, а также вернувшиеся после работы в трудармии поволжские немцы, наши родственники, земляки съезжались в основном в шахтерский город Ленинск-Кузнецкий, где требовались рабочие руки.

Здесь обзаводились семьями, рожали по много детей. Мы все были приобщены к христианской вере, следовали традициям своих предков, и в нашем роду считалось смертным грехом даже

думать об абортах. При этом все немецкие семьи – и моя, и моих братьев, родственников, знакомых земляков (мы со всеми старались поддерживать близкие отношения, помогать во всем, особенно во время строительства жилья) – вынуждены были отмечать в спецкомендатуре детей, родившихся до 1956 года, то есть до реабилитации. Таким образом, два-три раза в неделю троих старших сыновей – Костю, Володю и Сашу – я водил на отметку.

Прослойка русских немцев была значительная. Она заметно поредела лишь в последние годы, после массовых выездов на историческую родину в Германию, когда рухнули все надежды на возрождение немецкой автономной республики.

Конец сороковых, пятидесятые, начало шестидесятых годов прошлого столетия были знаковыми в нашем роду по закладке основательного фундамента воспроизводства численности рода. Именно в эти годы образовались новые семьи, давшие богатейший урожай для будущего наследия».

Обосновались в Кузбассе

В мае 1955 года немецкое население (12969 семей) в Кузбассе компактно проживало в 9 городах, 12 рабочих поселках и 1057 населенных пунктах сельской местности. На 1 июля 1955 года на учете спецпоселенцев в Кемеровской области состояло 42660 лиц немецкой национальности, значительная часть которых работала на угольных предприятиях.

Вскоре вышло несколько важнейших документов, касающихся их правового статуса: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря, приказ министра юстиции СССР № 64 от 14 декабря и приказ МВД СССР № 0601 от 16 декабря 1955 года, которые не были опубликованы в печати, а поступили в организации под грифом «Для служебного пользования». Вслед за этим и бюро Кемеровского обкома КПСС 29 декабря 1955 года приняло соответствующее постановление – «О снятии ограничений в правовом положении немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении».

Константин Келлер:

«После развенчания культа личности Сталина в период так называемой «оттепели» началась реабилитация жертв политических репрессий. Мой брат Фридрих приложил немало сил, чтобы хоть что-то узнать об отце. Официальные ответы ввали: «...умер в 1944 году от сухого плеврита, могила неизвестна».

Только 9 августа 1990 года был получен, думаю, достоверный ответ. «Прокуратура Союза ССР, прокуратура Саратовской области... рассмотрели ваше заявление. Нами истребовано и изучено архивное уголовное дело в отношении вашего отца. Установлено, что Келлер Фридрих Готлибович, 1904 года, уроженец с. Боргардт Маркштадтского кантона АССР немцев Поволжья, был арестован 27 ноября 1937 года и обвинялся в том, что среди своего окружения проводил антисоветскую агитацию против мероприятий партии и правительства, высказывал пораженческие настроения, дискредитировал Конституцию СССР. За указанные действия постановлением тройки при НКВД АССР немцев Поволжья от 9 декабря 1937 года Келлеру Ф. Г. назначена высшая мера наказания – расстрел. Решение тройки приведено в исполнение 11 декабря 1937 г. Сведений о месте приведения в исполнение решения несудебного органа и месте захоронения вашего отца в деле не имеется. Постановлением президиума Саратовского областного суда от 21 мая 1963 года постановление тройки отменено и дело в отношении Келлера Ф. Г. прекращено, то есть он реабилитирован. Справка о реабилитации получена гр-ном Келлером Ф. Ф. 13 июня 1963 г.».

Послесловие

Этот очерк не только дань уважения к прошлому. Цель его – призыв к будущему, еще более деятельному возрождению ключевых элементов во всех сферах жизни российских немцев. Это тем более важно, что в последние годы в совместной практической работе произошло объединение всех значимых общественных сил в регионах (в том числе в Кузбассе) и на федеральном уровне под крышей единой демократической общественной Самоорганизации российских немцев (СОРН).

Сейчас впервые в современной истории российские немцы говорят одним голосом и имеют в лице СОРН легитимного представителя и защитника своих интересов. Активная повседневная деятельность и ответственная общественная позиция снискали уважение к самоорганизации в государстве и обществе. Заметно повысилась роль российских немцев в создании гражданского общества, в процессах поддержания международного мира и согласия в России.

И в этом нам помогает наша память, наш зрячий посох.

г. Междуреченск

Александр ЯРОЦУК

ИНЖЕНЕР-РОМАНТИК, ВСЕГДА ДАВАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все умные уверяют, что сделать ничего нельзя; приходит безумец и заявляет: проблем нет, все возможно.

Н. М. Вдовин

Николай Михайлович Вдовин (1918–1999) – сын крестьянина села Усманка Мариинского уезда. Окончив Кемеровский коксохимический техникум, он стал работать на коксохимзаводе, откуда и ушел на фронт.

В 1958 году Вдовин окончил Всесоюзный заочный политехнический институт. С 1960-го работал на химкомбинате (ныне КАО «Азот»), а уже в 1962 году за разработку новых катализаторов при пуске капролактама был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Николай Михайлович – автор 24 изобретений, многие из которых запатентованы за рубежом – в ЧССР, Японии, ФРГ. За освоение новых технологий получения химикатов для резины в 1976 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В мае 1988 года Н. М. Вдовину было присвоено звание «Почетный гражданин города Кемерово».

Работоспособность Вдовина была уникальной. Запускаемые на кемеровском заводе производства (капролактама, ионообменные смолы) не имели аналогов в стране, и от ведущего инженера-химика требовалось максимальное напряжение физических и творческих сил. Увлеченный проблемой, он порой пребывал вне времени и пространства. Запирался в кабинете и, обложившись горой книг, искал решение, не выходя сутками. И, появляясь потом в приемной, интересовался у секретаря: «А какой сегодня день?»

Зачастую Николай Михайлович принимал решения, противоречащие указаниям сверху и даже, казалось бы, здравому смыслу. Однако в конечном счете всегда оказывался прав.

Освоение производства диафена ФП, прежде закупаемого за границей, вообще что-то исключитель-

ное. Сегодня это назвали бы импортозамещением. А тогда приобретенные в Японии технология и оборудование (торговая фирма «Тойе Менко») уже при первом пуске совместно со специалистами производителя показали полную неработоспособность. Процесс сложный, многостадийный, непрерывный, с применением более 30 компонентов. И вот у нас не пошел синтез дифениламина даже на самой первой стадии-100. У себя японцы получили продукт на опытной установке периодического действия, вознамерились перенести этот опыт на установку большой мощности и, еще не убедившись в эффективности, поторопились продать в СССР.

Случился скандал, и закончился он уступками со стороны продавца: японцы выплачивают многомиллионную неустойку, и все их специалисты остаются в Кемерове до завершения освоения производства.

Главным переговорщиком со стороны покупателя выступил Н. М. Вдовин. И тут же принял чрезвычайно смелое решение – отказаться от услуг японцев по доработке стадии-100. Сделаем сами! Представители нашего министерства, как и японцы, были шокированы, но согласились на все условия.

И началась титаническая работа в библиотеках, лабораториях, на опытных установках в течение пяти (!) лет. Никакие известные ранее науке катализаторы не помогали. И только разработанный командой Николая Михайловича катализатор ВСВ – на зависть японцам – решил проблему.

Ах, как они стремились заполучить секрет! Очевидцы рассказывали, что представители этой технической продвинутой державы крали страницы из операционных журналов, записные книжки из карманов работников, подбирали любую бумажку, валявшуюся в цехе, не гнушались и разбором урн в курилках. Но узнать смогли лишь о том, что стоит где-то какой-то бункер, в котором смешиваются два сухих порошка, а в результате получается водный раствор катализатора.

И это без добавления воды?! Ну чисто русская фантазия!

Дальнейшее известно из рассказа С. Н. Наумова, начальника производства химикатов. По его словам, когда подошли к гарантийному испытанию всей технологической схемы, на совещании японские специалисты спросили у Вдовина: «Где собираетесь закупать столько дифениламина для проведения испытаний?» Николай Михайлович обвел всех своим по-крестьянски хитрым, умным взглядом и бросил реплику в звенящую тишину: «Господа, я вот думаю, куда буду отгружать лишний дифениламин. Помогите найти рынок сбыта!» Японцы были в ступоре...

И действительно, пришло время, когда избыток этого химиката с кемеровского завода начали отгружать на сторону. В том числе и на предприятие Гознака, ведь именно дифениламин придает бумажным купюрам долговечности.

Николай Михайлович всегда находился на самом переднем крае науки и первым на предприятии стал использовать в работе электронно-вычислительные машины. Несмотря на свою занятость, значительное внимание уделял повышению уровня знаний технического персонала. Одно его распоряжение запомнилось особенно: каждый инженерно-технический работник должен хоть раз в неделю посетить техническую библиотеку завода. Неудивительно, что рационализаторская работа на предприятии стояла на высочайшем уровне, и «Азот» по ней всегда занимал первые места в стране. Наши специалисты были востребованы по всему СССР. Достаточно сказать, что в феврале 1976 года в город Навои (Узбекистан) для запуска крупного завода было направлено около сотни высококлассных инженеров во главе с директором кемеровского предприятия А. И. Нестеренко. В их числе главный механик А. Ф. Волна, заместитель главного инженера М. Г. Плешаков.

Следующая группа наших специалистов высадились на Кубе, руководил этим «десантом» другой заместитель – талантливый инженер К. В. Дмитриев. Но сам «Азот» при этом не оказался брошенным: опираясь на подросшие молодые кадры, завод продолжал стабильно работать.

Для меня имя Н. М. Вдовина столь же священо, как и имя моей первой учительницы. Все двадцать семь лет моей производственной деятельности (заместитель начальника цеха № 41, начальник цеха № 44) протекали во времена руководства Николая Михайловича, и некоторые знаковые встречи с главным инженером «Азота» я запомнил навсегда.

А впервые столкнулся я с ним еще в Кузбасском политехническом институте, где учился на вечернем отделении химического факультета. Он преподавал там дисциплину «Технология и аппараты химических производств». Как сейчас вижу на кафедре невысокого человека, объясняющего устройство ректификационной колонны и делающего математические расчеты флегмового числа, количества тарелок, оперируя логарифмами и интегралами. С тех пор он стал для меня примером для подражания на всю жизнь.

Вскоре я встретился с Н. М. Вдовиным при первом сливе сероуглерода из железнодорожной цистерны в хранилище на производстве химикатов ПО

«Азот». Надо сказать, что работа эта, кажущаяся на первый взгляд простой, на самом деле очень опасна. Малейшее нарушение инструкции грозит бедой. По этой причине никто не удивился, когда к месту слива приехал сам главный инженер – Н. М. Вдовин. Руководил этой операцией я, начальник смены.

Вдовин вошел в помещение, поздоровался, попросил меня показать всю схему и рассказать, как мы будем сливать продукт. Внимательно выслушав, он коротко распорядился: «Приступайте».

«Николай Михайлович, вам надо покинуть помещение!» – произнес я. Он с удивлением уставился на меня. «Согласно подписанной вами же инструкции, здесь должен находиться только обслуживающий персонал», – настаивал я. Вдовин постоял, постоял, бросил: «Действуйте» – и вышел. Да, он всегда жестко требовал исполнения инструкций, но и сам исполнял их образцово.

Еще одна встреча с ним случилась при драматических обстоятельствах. В цехе № 41 произошел выброс сероводорода с групповым отравлением обслуживающего персонала (забегая вперед, скажу: слава богу, никто тогда серьезно не пострадал). И вот, как это всегда бывает, еще не успели устранить загазованность, а уже налетели в цех всякого рода инспектирующие организации, мешая проводить дегазацию. Тогда-то и появился он – Главный. В первую очередь выгнал всех посторонних (а особо ретивых инспекторов – с матом) и взял руководство по ликвидации аварии на себя. Я был поражен не столько мужеством этого человека, сколько его профессионализмом, знанием каждого аппарата, прибора и вентиля в этом цехе.

Последняя встреча с Николаем Михайловичем состоялась в то время, когда я уже руководил цехом № 44 синтеза резинового антистарителя – диафена ФП. Это производство было самым трудным и, наверное, поэтому самым опекаемым детищем Вдовина. Несмотря на то что цех уже работал стабильно, Николай Михайлович часто навещался на производство с новыми идеями по улучшению технологии.

Многие считали: если Вдовин принял какое-то техническое решение, то никогда, ни при каких обстоятельствах от него не отступит. Так думал и я. А Николай Михайлович в этот раз прибыл в цех с новой идеей по улучшению работы ректификационной колонны на стадии № 100 синтеза дифениламина. Собрав руководящий состав цеха, он изложил план конструктивных изменений и показал их на уже готовых к работе чертежах. Изменения предполагали дополнительный монтаж насосов, теплообменника

и другой аппаратуры. Реконструкция влекла за собой остановку цеха как минимум на две недели.

Все промолчали, соглашаясь. И тут я, подавив робость перед таким огромным авторитетом, взял слово и озвучил свою версию, отмечающую предложение Вдовина. Я вынашивал эту идею много дней. Она была проста, как бабушкин безмен, и требовала всего-то изменить схему обвязки уже стоящего рядом пленочного испарителя.

Николай Михайлович внимательно выслушал мои доводы, подумал, шевеля губами, и – неожиданно для всех – смахнул свои чертежи со стола: «К чертям все это! Делаем, как он скажет!» Повернулся и вышел.

Всего за несколько мгновений он вспомнил устройство аппарата, много лет стоявшего в цехе без применения, просчитал его возможности и тут же

принял решение. Как я гордился тогда доверием Главного! Не передать словами.

Мне думается, что Н. М. Вдовин был романтиком, который больше всего полагался на свою интуицию и опыт: «Дайте результат, и я к нему любую теорию подведу!» А вот один из его заместителей являлся человеком совершенно другого склада, прагматиком до мозга костей: «Ты мне, Яроцук, докажи теоретически, проведи расчеты, испытай на опытной установке – вот тогда мы внедрим твою идею в производство».

Кто из них более прав, утверждать не берусь. Но все-таки лучшие результаты всегда были у Вдовина. И именно его пример трудолюбия вдохновлял меня, именно ему я следовал, десять лет работая над разгадкой тайн египетских пирамид.



«ОПЕРЕНИЕ»

СТИХИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ДИПЛОМАНТОВ МОЛОДЕЖНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Аня ПРОНКЕВИЧ

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИЯ»

2.

*Перекрашивай волосы в розовый,
Смейся громче, смелей танцуй.
Притворяйся серьезно-взрослыми
В целом мало кому к лицу.*

*Залюбуйся внезапно зайчиком
Ярко-солнечным на заре.
Заведи себе попугайчика,
Джунгли высади во дворе.*

*Обнимай, когда сердцу хочется,
Тех, кто душу согреть сумел.
Сохрани под подушкой творчество,
Убегай от ненужных дел.*

*Разгляди в суете прекрасное,
Чувствуй сбившийся сердца стук.
Счастье ярче, когда негласное.
Счастье ближе, когда не вслух.*

*Оставайся навечно лучиком
Среди тысяч угрюмых лиц.
Наслаждайся счастливым случаем
И осанке учись у птиц.*

*Будь собой. Пусть другим не нравится...
Растворяйся. Люби. Твори.
В воскресенье, субботу, пятницу
Счастье рядом. Вокруг. Внутри.*

3.

*Снился вечер уютный, теплый,
В кружке бабушкин вкусный чай,
И закат в деревянных окнах
На ладонях баюкал май.*

*Снилось детство с чумазым смехом,
Босоногое, бесконечное.
Скорый поезд куда-то ехал,
Я в вагоне, моя – конечная.*

*Снился запах травы некошенной,
Теплый ветер в косе растрепанной.
Снился голос родной из прошлого
И чужой сарафан заштопанный.*

*Рыжий кот за листвою гонялся,
Где-то рядом играли дети,
И седой старичок смеялся,
Будто снова мы с ним соседи.*

*В колыбели своей природа
Убаюкала, укачала.
Мам, мне три с половиной года.
Мам, мне хочется все сначала.*

4.

*Непрощеное недосказано,
Не отложено с миром в сторону.
Цепью вечности перевязано
И молчанья замком заковано.*

*Отдалось меж лопаток выстрелом
И в глазах отразилось яростью.
Недосказано, недописано,
Не оплакано тихой жалостью.*

*Недостроено и разрушено,
До последней надежды выжжено.
Разоренное незаслуженно
Не прошептано, не услышано.*

*Каруселью безумной крутится
Миллионный оттенок грусти...
Непрощеное не забудется.
Незабытое не отпустит.*

г. Кемерово

Климентий МАЛИНОВСКИЙ

* * *

*Мне печально порой бывает,
Что зачахнет струящийся свет,
Что бывшее навек покидает,
Затерявшись в сумятице лет.*

Что по лужам уже не топтать,
Впредь березок не обнимать...
Зарастают любимые тропы,
И состарили годы мать.

Я кручинюсь о днях далеких,
О девчужке с тугою косой,
О сосне, что стоит одиноко
Над звенящей в остуде рекой.

Знаю, в прошлое нет дороги,
Лишь молиться осталось вслух
О местах, где коров косоногих
Подгоняет сутулый пастух.

* * *

Утро... Пахнет пирогами,
А на улице тепло!..
Над зелеными лугами
Солнца плещется крыло.

Пастухи сошлись лениво,
Отгоняют слепней, ос.
За рекой по взгорью нива,
А внизу шумит покос.

Облаков валки кудлато
Заполняют небосвод –
Ветер гонит их куда-то,
В край чужой с собой зовет.

Сердце полнится истомой
Под мычание коров,
А домой зовет знакомый
Запах сочных пирогов.

* * *

За околицей ни звука,
Твердь в тиши стоит земная.
И луна опять без стука
В сени входит, как родная.
А кедр в себе запрягал
Что-то, ветви опуская.
И манит куда-то мята,
Терпким запахом лаская.
Смокла за окном пичужка,
Тени словно рожки корчат...
Как спокойна деревушка
Под покровом тихой ночи...

За околицей ни звука.
Твердь в тиши стоит земная.

г. Березовский

Богдан РЫТЕНКОВ

ВСТРЕЧНЫЙ ПАЛ

Хищно горящий,
Ничуть не стоящий,
Вечно сметенный,
Вечно бездомный.

Голод, желание,
Жажда, страдание,
Тяжесть, растление,
Дар, вождение.

Бунт и сгорание,
Язык, исчезание:
Деревья и вал...
Встречный пал!

Страсть и игра
Огня и огня.
Любовь – кинжал –
Встречный пал.

Сотни игл,
Сотни жал,
Перед огнем
Огонь пал.

Звезд осколки
Разбросал,
Сам утихши,
Встречный пал.

г. Кемерово

Андрей НАЗАРОВ

ЭТО ЛЕТО

Давай это лето закатывать в банки?
Закручивать крышки движением ловким,
Хранить до зимы его в старой кладовке,
Затем выворачивать мир наизнанку.

Когда одолеет январская стужа,
Снега в декабре и февральские вьюги,
С тобою мы выпустим лето наружу –
И птицы обратно потянутся с юга.

*Июльское солнце повиснет над нами,
И зелень покроет заснеженный город.
Давай сбережем эту дивную пору
И будем в морозы делиться с друзьями?*

*Давай это время оставим на полке?
Наделаем фото нелепых, нерезких.
Напялим смешные штаны и футболки,
Для дома в цветочек найдем занавески.*

*Давай это лето оставим на память?
Запомним его бесконечным и юным.
Когда этот город скует холодами –
Нам всем пригодится немного июня.*

РОМАШКИ

*Пускай ромашки не так красивы,
Как те букеты, что сплошь и рядом,
Но я за ними через крапиву –
В слепой надежде, что будешь рада.
Твою улыбку в душе лелея,
Искал их, словно в стогу булавку.
С того, быть может, они ценнее,
Что их не купишь в цветочной лавке.
Я помню, любишь сплошные волны
Покрывших поле ромашек белых.
Пока есть поле, прошу: позволь мне,
Пока есть время, дарить тебе их.*

г. Кемерово



ДО ВЫСТРЕЛА ПОДУМАТЬ О ДУШЕ

(к 80-летию
Анатолия Кулемзина)

Анатолий Михайлович Кулемзин – доктор культурологии, профессор, ученый-археолог, автор почти двух сотен научных работ, педагог, подготовивший большое количество специалистов в области охраны памятников и музейного дела, общественный деятель, художник и просто неординарный, яркий человек, реализовавший себя в различных сферах жизни. Его деятельность хорошо известна в России и за рубежом, отмечена многими званиями и наградами.

Я, бывшая студентка, знаю Анатолия Михайловича как интересного демократичного педагога, в совершенстве владеющего своим предметом историка-преподавателя. Уже в зрелом возрасте мне довелось познакомиться с литературным творчеством Кулемзина, и я была взволнована его содержательными рассказами, чаще всего связанными с реальными событиями. Эти произведения написаны простым и в то же время образным языком, они заслуживают того, чтобы с ними познакомилось как можно больше читателей.

Темы рассказов Анатолия Михайловича из ряда вечных: о глубинных свойствах народа, о том, что составляет его душу, соответствует нравственным основам тысячелетнего существования нашей страны и русского народа, ее собравшего. Не обходит вниманием автор и нынешние смутные и неопределенные времена... И на этом фоне – человек, его непростая и часто горькая судьба.

Тема природы в творчестве Анатолия Михайловича – это не только восхищение ее красотой, но и возможность обратиться к нравственным проблемам. Рассказ «Я смотрел в эти глаза» явился результатом раскаяния за содеянное в молодости, когда охота для автора «превратилась чуть ли не в ремесло», когда он еще не чувствовал «безнравственности выстрела». И вот, в очередной раз занеся нож над смертельно раненой косулей, стремясь добыть ее, герой рассказа впервые так близко видит глаза умирающего по его вине живого существа. Этот взгляд вывернул наизнанку его душу и стал той точкой от-

счета, с которой началось его духовное перерождение.

Акценты в рассказе расставлены откровенно и жестко. Зверь наделяется душой, а человек ее теряет. Это противостояние человека и природы трагично. Гармонии нет, а только на нее и упование. И финал не обещает чудес: даже друзья из «безжалостного воинства» охотников каждый раз оказываются глухи к уговорам «подумать и о своей душе». Но, несмотря на это, автор продолжает верить в целительную силу слова и настойчиво пытается спасти человеческое в человеке.

Нравственное прозрение юноши из рассказа «Я смотрел в эти глаза» было бы невозможным без того опыта, что усваивался им с детства. Об этом и идет речь в рассказе «Душа есть у всего». Отношение к природе как к живой и даже мыслящей наверняка начало развиваться в авторе повествования благодаря общению с такими добрыми людьми, как его знакомый дядя Федя. Этот мудрый деревенский житель все предметы вокруг себя наделяет человеческими качествами: старые ворота у него «стонут», ватрушка «смотрит», коряга «лежит себе спокойно на телеге и гадает, куда ее повезут». Вот и юный помощник дяди Феди ощущает полное единство с природой и способен воспринимать ее как близкое и родное существо.

Удивительно поэтично звучит финал рассказа, в котором благодаря фантазии мальчика старая коряга – это не что-то утилитарно-бытовое, попросту будущее дрова: она и нами, читателями, воспринимается уже как нечто одушевленное и возвышенное.

Рассказ Анатолия Михайловича «Просто собака» – очередная рана на его сердце. Это история о встреченной на берегу любимой реки Кии худющей, невзрачной, но умнейшей дворняжке. Она в одиночку управлялась со всем деревенским стадом с утра до вечера, не получая за это от людей и корки хлеба.

Трагизмом проникнут весь этот небольшой рассказ, но особенно не по себе становится от жуткого в своей обыденности финала: понадобилось больному чахоткой истопнику «лечебное» мясо – он и съел дворняжку, ведь это была просто собака...

Горькая правда и чистейшая искренность явлены во всем творчестве Анатолия Михайловича Кулемзина. Этим, впрочем, он отличается и в реальной жизни: не приемлет фальши, лжи, лицемерия. А еще – пошлости, глупости, приспособленчества. И, судя по его произведениям, этих позиций автор оставлять не намерен.

Ирина ЗАБОЛОТСКАЯ,
г. Новокузнецк

ОТ ЧИТАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ

О книге Дмитрия Филиппенко «Зайди за мною жить»

Сложен вокруг меня мир, сложен человек, но мне хотелось сегодня написать простыми словами о своем земляке – шахтере Дмитрие Филиппенко.

Читая книгу стихотворений на крыльце своего дома, я вот что подумала.

Название – «Зайди за мною жить». Это же не просто приглашение, это такой акт, жест. Читателю предлагают не только зайти и выйти, а больше – остаться с ним жить. Жить – жизнь, то есть обзавестись бытом.

Зернами пшеницы засеяно ленинск-кузнецкое небо. И если каждая звезда – это судьба человека, то кто должен отогреть и вывести на свет слова, мысли автора в пространство своего времени?

А чтобы вывести книгу в свет, ее надо не только прочесть, но и вытащить из темноты нынешней ночи... Ночи нашего времени, где книга среди других книг может не только потеряться, но и быть не замеченной никем.

Книга начинается сразу с нотки печали:

Печален я, и болен я...

Первая мысль – бежать на помощь, залечить раны, но читаешь дальше. Автор печалится о будущем, он смотрит в окно – символ грядущего – и видит, как же быстро его страна переделалась и переобулась.

Тут, конечно, стихотворение больше, чем о стране...

Хотелось еще упомянуть о другом понравившемся:

*В подземной колыбели тишина,
Ползет змеею ленточный конвейер.
Мужская дружба здесь всегда сильна,
Прохладой взнезмой по шахте веет.*

В голове мягко вздрагивающая тишина, попадаю в ритм стихов – печаль застучала гулко в висках.

«В подземной колыбели тишина, ползет змеею ленточный конвейер...» Человек, который не знает, что такое шахта, сразу и не поймет, о чем это автор, почему под землей – колыбель? А для поэта шахта не просто место работы – а целая вселенная.

Для автора большое значение имеют звуки, запахи, цвета.

Почему смерть глухонемая?

Почему в шахте запах соуса с горчицей?

Почему фонарю приснилась золотая люстра?

На эти все вопросы вы сможете найти ответы в сборнике стихотворений поэта и шахтера Дмитрия Филиппенко.

Самое главное в этой книге – жить и работать на совесть, смотреть, слышать, слушать, учиться. И писать о том, что изучил как следует, что пережил сам. А этому научиться непросто, ведь молодые поэты часто стремятся уйти в мир фантазий, красотостей, а тут этого нет...

И я точно знаю, что эта книга у автора не последняя, впереди еще много будет книг. Этот город просто нуждается в простых насущных вещах, и кто, как не поэт, напишет о них так, чтобы сердце человека не только бы откликнулось на слово, но и захотело открыться навстречу словам «зайди за мною жить».

Ирина НАДИРОВА,
г. Ленинск-Кузнецкий

РОССИЯ И СТИХИ – ЕДИНЫ...

«Русская литература, поэзия всегда жили и подчинялись другим законам – не вымороченным, придуманным в угоду тому или иному направлению, – но законам всечеловеческого восприятия добра и милосердия. Русская поэзия испокон была прозрачной и животворящей. И завещано нам, стихотворцам, Слово Пушкина, Бунина, Есенина, Заболоцкого, Рубцова».

Это слова Александра Ивановича Каткова, замечательного поэта, недавно ушедшего из жизни.

Он был добрым человеком, преданным самым чистым идеалам. Но становился и ершистым, и громким, и напористым, когда отстаивал свои взгляды. Голос его доходил до высоких нот, казалось, что сейчас захлебнется, захрипит, прервется. И поэт действительно прерывался от захлестнувшего надрыва и замыкался на время, недовольный собой. Бывало, и на друзей обижался в спорах, но больше скорее на себя, что не смог из-за своей горячности, торопливости раскрыть и донести мысль, быть убедительным.

Надрыв в нем чувствовался всегда – из-за постоянных переживаний. За все. За то, что происходит в стране, за неустроенность быта, за разрушение культуры, за падение нравственности в литературе и жизни.

Его последняя книга, вышедшая в 2016 году, названа коротко и ясно: «Вина». Вот что пишет сам Катков в предисловии к ней:

«Однажды под утро или в гремящем поезде, или на краешке судьбы вдруг настигнет тебя, подступит к сердцу мысль, неизбежная и горькая, как наказание.

И жизнь твоя начнет раскручивать киноленту памяти, и проявятся все те, кого ты любил когда-то, да недолюбил и предал, те, которые недолюбили и пре-

дали тебя. И чья вина больше, и какая разница – ведь крест достался тебе одному».

И поэт несет этот крест. И в стихах продолжает эту тему:

Я ночью выломлю фрамугу
И закричу за рубежи
Уже единственному другу:
«Мой крест тяжелый поддержи!»
<...>
И мы озябшими руками
Поднимем, донесем свой крест
Под грозowymi облаками
До дальних мест,
До горних мест...

И становится понятна причина его надрыва. Русский путь, который не все могут осилить. Оттого и не выдерживают многие: то впадают в опустошающую депрессию, то погружаются в алкогольную трясину... И только самым сильным этот подвиг по плечу:

Ничего, это нам уже стало с руки
Привыкать, чтобы снова среди мора и глада –
Наши русичи, ратники, мужики
Нашу родину справно наладят.

Другая книга поэта, вышедшая в 2010 году, называется «Россия, моя Березиня...». «Давно сказано: не приведи Господь жить в эпоху перемен, – пишет Катков в предисловии. – Нам – довелось. Во времена, когда <...> отменяются такие понятия, как справедливость, добро, вера в ближнего своего, не говоря уже – во Всевышнего».

И здесь тема Родины у поэта – тема боли, покаяния:

Ад крошечный, а все же Россия.
Безнадега уже, беспредел.
Словно целый народ, обессилен,
К Богу руки в надежде воздел.

И надежда эта небеспочвенна, если народ един:

...наши русские сердца
Вместили поле Куликово,
Полтаву и Бородино
И поле, ставшее безвестным.
Но в каждом сердце все равно
Для поля оставалось место.

Родился поэт 27 июня 1950 года на казачьем хуторе Зайцево Ставропольского края, «где по поясу растет мурава, / где высокие и извечные / постигались однажды слова». И где «мальчонкой бежал / к смеющейся маме, в ее молодые ладони».

Александр Иванович получил прекрасное образование: окончил Пятигорский институт иностранных языков, затем университет в Лейпциге. После этого служил в армии – в ракетных войсках в Прибалтике. Работал переводчиком и преподавал немецкий язык в кемеровских вузах. Членом Союза писателей России стал в 1992 году.

Конечно, творчество А. Каткова не исчерпывается одной гражданской лирикой. Многие его стихи – о любви. Есть и о первом, робком, неразделенном чувстве, и ласково-теплые воспоминания, «когда печально припомнишь женщину одну».

А ночь была, где руки наразброс,
Где у виска, и холодея, и грея,
Твой локон, зацелованный до слез,
И завиток, и родинка на шее...

Однако и в самых тонких лиричных строках звучит все та же надрывность, пробивающаяся сквозь нежность. Особенно когда речь идет о детях.

Этот локон льняной по темечку
И дыхание у плеча...
Заклинаю Тебя, пусть теплится
Золотая моя свеча.

Потому что поэт уже знает нестерпимую боль и горечь потерь... И все же он полон светлых ожиданий:

И кажется, большего в жизни не надо,
Лишь только глазами жадными пить
До самого дна голубую прохладу,
Лицо подставляя дождю листопада,
С наивной надеждою вечно прожить.

Да, вечно жить невозможно. И потому следует подведение итогов. Но без обычного надрыва, поразительно спокойное, с удивительной ясностью.

Надо, чтоб что-то осталось –
Надежда, строка, сын.
А смерть – это сушая малость,
Когда на земле не один.
Надо и в будни, и в праздник
Верить, сгорая дотла,
Чтоб жизнь не была напрасной,
А утренней была.

Мне больше нечего добавить. Если только стихотворение Бориса Бурмистрова, посвященное А. Каткову, «Разговор с другом»...

Сашенька, мне плохо без тебя
Жить от февраля до февраля.
В доме нашем блуд да суета,
Не осталось места для Христа.
Помнишь наши утренние дни?
Ты себя напрасно не вини –
На двоих у нас одна вина.
Мы не пили легкого вина,
Легкой жизни не искали мы,
Жили от зимы и до зимы...
А теперь, дружнице, уж прости –
Мне и дальше этот крест нести...
Только тяжелее мне вдвойне
Без тебя в российской стороне.
Как нам эту негодь победить?
Ты оттуда помогай нам жить.

Татьяна КОЛАЧ,
г. Юрга

НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ. ДВА СМЫСЛА – И ОБА ПРАВИЛЬНЫ

В 2017 году при Союзе писателей России был создан Совет молодых литераторов, призванный сформировать единое пространство для молодежи в области литературы. Возглавил его прозаик Андрей Тимофеев. И по принципу Союза писателей России у этого совета начали создаваться региональные отделения по всей стране.

Весной 2021 года такое отделение открылось у нас в Кузбассе. Его председателем был назначен я. И прежде всего мне важно было понять, с какой молодежью работать и где эта молодежь. Я придумал литературно-социальный проект «На честном слове» по выявлению талантливой молодежи. Почему «На честном слове»? Потому что литература держится на чем-то откровенном, правдивом, настоящем, а значит, честном. Проект поддержали Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Кузбасский центр искусств и Союз писателей России.

Мы с Дмитрием Мурзиным и Галиной Золотаиной объехали все двадцать городов Кузбасса. Даже шутили, что начали в футболках, а закончим в пуховиках. Так оно и вышло: колесили по региону с августа по декабрь. В рамках проекта проводились разборки рукописей (мини-семинары) молодых поэтов и прозаиков, круглые столы о проблемах развития молодежной литературы Кузбасса, беседы о представлении своего творчества в журналах, лекции по освоению литературного процесса в России и по самопродвижению начинающих авторов. А еще мы смотрели, насколько местные управления культуры вовлечены в литературный процесс, как они взаимодействуют с людьми пишущими, в какой степени руководители литературных групп владеют знаниями о писательском мастерстве.

Благодаря реализации этого проекта молодые авторы, проживающие на территории Кемеровской области, стали лучше осведомлены о творчестве друг друга и культурно-просветительской, литературоведческой, образовательной работе, проводимой Союзом писателей России в разных городах Кузбасса. Это во многом позволило решить проблему вовлечения молодежи в творческую деятельность, формирования патриотического отношения к родной земле как к родине больших талантов. Проект позволил одаренным авторам из разных уголков Кузбасса приобщиться к культурным ценностям нашего регио-

на, дал им возможность заявить о себе, представить свои произведения и получить рекомендации экспертов.

В каждом городе мы задавали ребятам вопрос: «Что вам необходимо или чего вам не хватает для литературного развития?» И практически везде получали одинаковые ответы. Что молодым людям не хватает обучения литературному мастерству, им больше хочется участвовать не в конкурсах, перформансах, а в семинарах, мастер-классах (то есть в мероприятиях, связанных с образованием, получением знаний). Еще ребята сетовали: «Старшее поколение нас не замечает»; «Не хватает информации о литературной жизни Кузбасса и за его пределами»; «Не знаем, куда обратиться для получения информации о проектах»; «Не хватает общения с профессиональными писателями»; «Не хватает критики на произведения, отзывы, обратной связи».

Нам удалось познакомиться с молодыми авторами со всего Кузбасса. Их оказалось более ста человек. Ребята в хорошем смысле этого слова горят литературой и хотят ею заниматься профессионально. По итогам проекта написана большая программа, способствующая развитию молодежной политики в области литературы. Совет молодых литераторов Кузбасса и Союз писателей России будут всячески помогать начинающим авторам, участвовать в их развитии и профессиональном росте. Но в литературе остаются только фанаты, и прежде всего от желания самих ребят зависит их творческое будущее. При этом у многих юных сочинителей уже сейчас есть большой недостаток. Они мало читают, а если и читают, то в основном зарубежных авторов. И к сожалению, совсем не знают кузбасских писателей.

Во время встреч в городах мы рассказывали о журнале писателей России «Огни Кузбасса», о Всероссийском литературном молодежном фестивале имени Алексея Бельмасова, о конкурсе «Оперение». И оказалось, что в городе Калтане даже руководитель литературной группы не знал о существовании журнала «Огни Кузбасса» (а что тогда спрашивать со студийцев?). Про Бельмасовский фестиваль и конкурс «Оперение» практически во всех городах не имели представления, хотя информация об их проведении в местные управления культуры и центральные библиотечные системы доводится своевременно.

За время реализации проекта вскрылось огромное количество проблем. Скажу о самых острых и тяжелых.

1. Незаинтересованность управлений культуры развивать литературу в своих городах. Организация встреч «На честном слове» в каждом городе «отписывалась» на библиотечные системы, музеи или руководителей литературных групп. Сами сотрудники управлений культуры не посещали мероприятия, за исключением Березовского (заместитель начальника) и Ленинска-Кузнецкого (начальник управления культуры). Управления культуры отказывают в софи-

нансировании грантовых литературных проектов, но при этом требуют, чтобы литераторы в них участвовали. Многие управления культуры готовы развивать вокальные, танцевальные студии, КВН, но только не литературу. Сложилось впечатление, что работники учреждений культуры воспринимают литературные группы как некие секты. Словно литература для них находится в какой-то другой, несуществующей реальности! Специалисты со странным провинциальным менталитетом даже не представляют, не знают и ни разу не видели, как проходят литературные фестивали, совещания, семинары, но постоянно пытаются учить литераторов, как эти мероприятия организовывать и проводить. Можно подумать, что все застряли в вязком ментальном болоте и, если видят чьи-то попытки из этой трясины выбраться и организовать что-то новое и что-то свое, тянут к этому человеку руки и затаскивают его снова в болото...

2. Нет взаимодействия между управлениями культуры и литераторами напрямую. Всегда участвуют посредники в виде директоров библиотечных систем, музеев. Хотя, скажем, в Междуреченске ситуация противоположная: управление культуры и библиотечная система готовы помогать литераторам, но от тех самих нет отклика, не работает обратная связь.

3. Некомпетентность руководителей литературных групп. Зачастую эти должности занимают люди, не имеющие никакого отношения к литературе, они не владеют информацией о том, что происходит в литературном мире, не знают и не умеют вести грамотно литературный процесс в своем городе, не обладают нужными знаниями и опытом, чтобы обучать участников групп.

4. Литературные группы Кузбасса на 80–85 % состоят из участников в возрасте 65+. Зачастую это отпускает молодых ребят. Старшие участники групп выдают молодёжь, считая, что сначала нужно приобрести литературный и жизненный опыт, чтобы получить радость общения с ними.

5. Во многих городах Кузбасса проводятся фестивали, однако на эти мероприятия нет отбора, и, по сути, они стали сборищем (пристанищем) людей со слабым уровнем произведений. Творческого развития и литературной пользы такие фестивали не приносят. Но поскольку участников собирается довольно много, управления культуры закрывают глаза на низкий профессиональный уровень мероприятия, ведь массовость обеспечивается, а это, видимо, управлениям важнее, чем развитие литературы. Совет молодых литераторов Кузбасса уже предложил ряд изменений в порядок проведения литературных фестивалей в Кузбассе. В частности, необходимо обеспечить существенную долю (не менее 30 %) участников в возрасте от 18 до 35 лет. Кроме того, все положения о фестивалях должны согласовываться с председателем СМЛ СПР по Кузбассу. И, к слову, почти во всех городах эти предложения принима-

лись нормально, только в Прокопьевске организатор фестиваля «Осеннее многоцветье» сообщил, что в таком случае они будут свой фестиваль проводить отдельно, не согласовывая его с Союзом писателей России. Что это, как не безразличие к развитию молодежи Кузбасса в области литературы?

6. Во многих городах региона нет литературных альманахов, соответственно, нет и платформы для публикаций молодых авторов.

7. Нет обучения литераторов и заинтересованных людей по составлению грантовых заявок, а это, как выяснилось, особенно необходимо.

8. Не хватает литературных кружков в учебных заведениях.

9. Не во всех городах проводятся детско-юношеские литературные конкурсы. А вообще, очень мало проводится в городах литературных мероприятий из-за отсутствия финансирования или нежелания руководителей литературных групп организовывать эти мероприятия.

10. Библиотеки во многих городах находятся в запущенном состоянии, не обновляется книжный фонд. Их работники признаются: «Если хочешь, чтобы сделали ремонт, нужно выиграть грант и стать модельной библиотекой, в противном случае работать в халупе». Потому и у молодежи нет желания идти в эти библиотеки. И уже не удивляет, что в Киселевске на первом этаже библиотеки расположился... рынок.

167

А в одной из библиотек директор прямо сказал, что общественная организация «Союз писателей России» «для нас никто, чтобы мы с ней считались». На мой взгляд, считать пустым местом организацию, которая развивает русский язык и русскую литературу, – это как минимум неуважительно и некрасиво.

Словом, ситуация в целом по Кузбассу выглядит не слишком радужно. Приведу конкретные примеры с мест.

В Киселевске совсем нет литературной группы и, соответственно, молодежи некуда пойти, чтобы получить литературное развитие. И через два месяца после посещения этого города в рамках проекта «На честном слове» все оставалось по-прежнему, попыток что-то изменить со стороны библиотеки не последовало. А вот в Таштаголе была создана молодежная литературная группа, и теперь ребята собираются (спасибо за это библиотеке и молодому автору Наталье Алтуниной). Сделаны первые шаги по созданию литературной группы и в Тайге.

В Осинниках на встречу с нами собрали пять молодых авторов, но, как выяснилось, после того работа с молодежью не ведется. Получается, мероприятие было проведено просто для галочки.

В Калтан мы приехали на час раньше назначенного времени, а библиотека была закрыта. Дальше началось и вовсе странное. Руководительница литературной группы при нас начала искать свою молодежь... И это при том, что на сбор у нее было две недели.

Новокузнецк вообще проигнорировал проект. На встречу никто не пришел, даже руководители литературных студий. Да, мы согласны, у всех может быть своя занятость. Но хотя бы позвонить или написать сообщение (примерно так: «Сегодня не сможем, но готовы к сотрудничеству») точно не составило бы труда.

В Белове руководительница литературной группы жаловалась, что руководство библиотеки не идет на встречу, не разрешает проводить собрания чаще, чем раз в месяц. Хотя сама она является работником библиотеки. Абсурд? Абсурд!

В Тайге присутствующий на встрече учитель русского языка и литературы заявил, что современной российской прозы не существует, хотя прямо за спиной стояли на полках книги современных писателей. А что, если этот педагог и на уроках говорит детям, что российской прозы нет? Разве это не странно и не страшно?

Переведу разговор в другую плоскость. Почему нет положительных результатов у сборной России по футболу? Ответ прост. По всей стране убит детский футбол, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Талантливые детские тренеры не хотят работать за двадцать тысяч рублей в месяц. Такая же ситуация и в литературе. Практически во всех школах отсутствуют литературные кружки, даже в вузах нет литературных студий. А где они есть, все держится на голлом энтузиазме руководителей студий. Но рано или поздно любой энтузиазм заканчивается. Нужно обязательно вводить ставки для таких людей и оплачивать их труд. Иначе мы так и будем удивляться, почему профессиональным писателям некому передать свой опыт. И почему с детства россиянам не прививается любовь к русской книге... В девяностых годах нас пичкали американской культурой, теперь молодому поколению навязывают культуру корейскую. А когда дойдет очередь до культуры нашей, российской?

Но есть и положительные моменты. Приятно удивил Гурьевск и Березовский, где уже работают молодежные литературные студии. Спасибо Анжеле Лавицкой и Юрию Михайлову. Активная работа с молодыми авторами ведется в Мысках, Юрге. В Анжеро-Судженске действует молодежный клуб «Читалка», на заседаниях которого ребята читают и обсуждают современные книги. Хорошая литературная

база в Мариинске, но там нет молодежной студии. А ребят, увлекающихся литературой, много! В школе № 73 города Ленинска-Кузнецкого работает детский литературный клуб, в котором ребята 12–15 лет пишут стихи, прозу, эссе. Возглавляет клуб Алина Вишневская.

Нужно вводить актуальные формы работы и общения с Таштаголом. Город отдален, но бросать его ни в коем случае нельзя. Потому что это настоящий город-сказка со своим особым миром.

Отлично во время проекта проявили себя Анжела Лавицкая (Гурьевск), Александра Коржова (Калтан), Алексей Рыбалко (Анжеро-Судженск), Татьяна Маркинова (Белово), Кирилл Наседкин (Юрга), Ольга Солодовникова (Прокопьевск), Жанна Хасьянова (Киселевск), Татьяна Дмитриева (Тайга), Наталья Алтунина (Таштагол), Оксана Рокова (Березовский), Алена Дошлова (Киселевск), Алена Шебалина (Междуреченск), Владислав Попов (Ленинск-Кузнецкий). Ребята стали членами Совета молодых литераторов Кузбасса. Также в этот совет вошли Юлия Сливина (Ленинск-Кузнецкий), Агата Рыжова (Кемерово), Ирина Надилова (Ленинск-Кузнецкий), Константин Стафиевский (Кемерово).

Реализация проекта «На честном слове» показала, что работы предстоит много. Но главное, что мы ее не боимся и с ней справимся. В первую очередь нужно возобновить деятельность областной молодежной литературной студии, создать молодежный литературный альманах. Проводить для молодых авторов семинары, конференции, форумы, конкурсы, лекции, беседы, литературно-интеллектуальные игры. Организовывать выступления членов Союза писателей России по городам Кузбасса в учебных заведениях и учреждениях культуры. Совершать поездки по поиску молодых талантов по поселкам городского типа и крупным селам. Открыть молодежные секции в действующих литературных группах Кузбасса. Создать сайт, ютуб-канал Совета молодых литераторов Кузбасса, молодежное литературное интернет-радио региона. В каждом городе нашей области устраивать детско-юношеские литературные конкурсы. И все будет хорошо!

Да, литература держится на честном слове. Звучит эта фраза двусмысленно. Но оба ее смысла верны.

Дмитрий ФИЛИППЕНКО,
г. Ленинск-Кузнецкий



ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

17 ноября в Кузбасском центре искусств на Советском, 40 прошел молебен святителю Павлу, митрополиту Тобольскому. Перед молебном выступил краевед, руководитель патриотического общества «Стяг» В. Ермоленко. Рассказал о создании иконы Святителя Павла Тобольского и его прижизненных подвигах. Отслужил молебен, панихиду по Ф. М. Достоевскому и усопшим кузбасским писателям, произнес пастырское слово о. Андрей Заблодский. Присутствовали писатели и члены общества «Стяг».

18 ноября в кемеровской школе № 45 прошла встреча учеников с Е. Тюшиной. Писательница познакомила школьников с книгами для детей, в которых герои попадают в прошлое города Кемерово. Дети не только слушали рассказ, но и задавали вопросы, отгадывали загадки из книг автора.

18 ноября в школе-интернате № 22 состоялась встреча учащихся с В. Лавриной. Дети познакомились со сказками и стихами писательницы, посмотрели видео с ютуб-канала В. Лавриной.

23 ноября председатель кемеровского отделения Совета молодых литераторов Союза писателей России Д. Филиппенко стал лауреатом премии Союза писателей России «Слово».

6 декабря в Кузбасском центре искусств на Советском, 40 состоялась творческая встреча с человеком трудной судьбы, членом Союза писателей России Тамарой Черемновой. Писателя поздравил председатель Совета по вопросам попечительства А. Е. Цивилева. Отрывки из произведений Тамары читали актеры Театра драмы Кузбасса Д. Мартышина и О. Кухарев.

8 декабря в библиотеке школы № 45 прошла встреча учеников 9-х и 10-х классов с кузбасскими поэтами Д. Мурзиным, ответственным секретарем журнала «Огни Кузбасса», и Д. Филиппенко, руководителем регионального отделения Союза молодых литераторов и организатором проекта «На честном слове».

10 декабря представление журнала «Огни Кузбасса» в библиотеке «Книжный меридиан» провел ответственный секретарь журнала, поэт Д. Мурзин.

14 декабря подведены итоги IX детского конкурса «На утренней зорьке», посвященного литературному творчеству писателей Владимира и Геннадия Неунывахиных и проходившего в онлайн-формате. В конкурсе приняло участие более 100 детей. Организаторы конкурса – Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского и Дом детского творчества № 1 (Новокузнецк).

14 декабря в Кузбасском центре искусств на Советском, 40 прошло представление пятого номера журнала «Огни Кузбасса», посвященного 200-летию Ф. М. Достоевского. Стихи из опубликованной подборки прочел поэт Д. Филиппенко, свою пьесу представил И. Назаров. О своих материалах рассказали И. Фролова и Е. Чириков. Э. Вистерман, руководитель литературно-исторического народного проекта «Достоевский в Сибири», представил репринтное издание Библии Достоевского. Вел встречу главный редактор журнала С. Донбай.

16 декабря представление журнала «Огни Кузбасса» в библиотеке им. В. Мазаева провел ответственный секретарь журнала, поэт Д. Мурзин.

18 декабря в библиотеке «Книгоград» прошла встреча читателей с поэтом Д. Мурзиным.

22 декабря в рамках мероприятий, приуроченных к вручению VIII Кузбасской литературной премии им. святителя Павла, митрополита Тобольского, в Кемерове состоялась встреча студентов Кемеровского государственного университета с русским писателем, публицистом и педагогом, секретарем правления Союза писателей России Владимиром Крупиним. Во второй половине дня прошла встреча Владимира Николаевича с местными писателями в Кузбасском центре искусств на Советском, 40.

22 декабря вручена литературная премия «Иду на грозу». Журналисты и литераторы получили денежные призы за рассказы и очерки о науке. И. Назаров награжден как лучший автор – популяризатор науки за очерк «Щит Чинакала» о деле знаменитого ученого-горняка Николая Чинакала.

23 декабря в Кемеровском епархиальном управлении состоялось вручение VIII Кузбасской литературной премии им. святителя Павла, митрополита Тобольского. Церемонию возглавил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

В 2021 году лауреатами стали:

в специальной номинации – В. Крупин;

в номинации «Проза» – Л. Яковлева;

в номинации «Православное краеведение» – коллектив авторов книги «Служение Богу, Церкви и Кузбассу: митрополит Евлогий (Смирнов)»: протоиерей Сергей Адодин, Г. Шалакин, С. Скобликов.

Дипломы номинантов получили:

в номинации «Поэзия» – Д. Мурзин;

в номинации «Православное краеведение» – И. Евтихеева.

Э. Вистерман, руководитель литературно-исторического народного проекта «Достоевский в Сибири», представил репринтное издание Библии Достоевского и международную общественную награду «Звезда

Достоевского», которая была учреждена в год 200-летия великого русского писателя. По просьбе учредителей ордена митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх провел церемонию награждения. Орден получили:

О. Бритвин – начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»;

Д. Голофаст – заместитель директора по административным вопросам Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»;

С. Донбай – член приемной коллегии и секретарь Союза писателей России, главный редактор журнала «Огни Кузбасса»;

А. Кошечко – доктор филологических наук, доцент;

А. Кулемзин – почетный профессор Кузбасса, член Международного совета музеев.

ЛАУРЕАТЫ ЖУРНАЛА «ОГНИ КУЗБАССА» ЗА 2021 ГОД

ПРОЗА

Ильдимирлова Татьяна. Сто сорок ударов в минуту. Повесть (№ 3)

Рыжова Агата. Проспект Мира. Рассказ (№ 4)

Верясова Дарья. История блогера Сони. Роман (№ 2)

ПОЭЗИЯ

Золотаина Галина. Буду тратить, пока жива (№ 2)

Гамзов Алексей. Навсегда (№ 3)

**Денисенко Александр. Эти брови платком не со-
трешь** (№ 1)

ПУБЛИЦИСТИКА

Коваленко Александр. Дед Павел. Документально-художественная повесть (№ 4)

Ракузо Людмила. Когда мы жили на «43-м пикете» (№ 2, 3)

Прищепова Ирина. Затопленная родина (№ 4)

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

В Санкт-Петербурге вышел ежегодный альманах «День поэзии. XXI век» (2020–2021). Первый альманах «День поэзии» был выпущен в 1956 году, воссоздан в 2006-м. Выпуск посвящен памятным датам классиков отечественной поэзии: 150-летию И. А. Бунина, 200-летию А. М. Жемчужникова, 125-летию С. А. Есенина, 180-летию со дня смерти М. Ю. Лермонтова, 200-летию Аполлона Майкова, 200-летию Н. А. Некрасова, 200-летию А. А. Фета и светлой памяти ушедших поэтов и литераторов Льва Анненского, Леонида Губанова, Александра Еременко, Валерия Дударева,

Сергея Мнацаканяна, Василия Казанцева, Александра Казинцева, Леонида Колганова, Владимира Луговского, Андрея Романова, Сергея Соколкина, Владимира Сорочкина, Владимира Фирсова, Игоря Шкляревского. Кузбасс в альманахе представлен стихами поэтов **Б. Бурмирова, С. Донбая, В. Коврижных и Д. Мурзина.**

На сайте газеты «Российский писатель» (Москва) опубликованы стихи **А. Раевского.**

В альманахе «Чеховская осень – 2020» (Ялта) вышел рассказ **Н. Дубровской.**

Журнал «Дальний Восток» (Хабаровск) № 5–6 за 2021 год опубликовал подборку стихов **О. Хапиловой** «Продолжается жизнь».

Журнал «Бельские просторы» (Уфа) № 2 за 2021 год напечатал подборку стихов **Д. Мурзина** «Год Тихой Сапы».

Журнал «Традиции и авангард» (Екатеринбург) № 4 за 2021 год опубликовал «Листы студенческого календаря» **А. Мухарева.**

Международный литературный журнал «9 муз» в ноябрьском номере опубликовал подборку стихов **В. Каганова.**

Альманах «Наше близкое и дальнее зарубежье» (Киев) за 2021 год опубликовал стихи **Н. Якушевой.**

В «Литературной газете» (Москва) 28 ноября вышло интервью **Д. Филиппенко** «И в шахте пишутся стихи».

ИЗДАНЫ КНИГИ

Оперение: поэзия и проза / Региональный молодежный литературный фестиваль-конкурс. – Кемерово: Кузбасский центр искусств, 2021. – 148 с.

Литературно-художественный альманах «Тайгинские зори» (Тайга). – 2021. – № 13. – 96 с.

Лаврина В. Сестра: мемуарная повесть. – Кемерово, 2021. – 200 с.

Литературный альманах «Образ» (Ленинск-Кузнецкий). – 2021. – № 4. – 100 с.

Филиппенко Д. Качели ностальгии: стихотворения. – Самара: Слово, 2021. – 90 с.

за живре

проект помощи приютам для бездомных животных

Доброе дело – в твоих руках



Помоги бездомным животным



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также с журналами других регионов России:

«Наш современник» (Москва),
«Родная Ладога» (Санкт-Петербург),
«Сибирские огни» (Новосибирск),
«День и ночь» (Красноярск),
«Врата Сибири» (Тюмень),
«Алтай» (Барнаул),
«Бийский вестник» (Бийск),
«Дальний Восток» (Хабаровск),
«Сибирь» (Иркутск),
«Начало века» (Томск),
«Сихотэ-Алинь» (Владивосток),
«Литературный меридиан» (Приморский край, г. Арсеньев),
«Подъем» (Воронеж),
«Север» (Петрозаводск),
«Енисей» (Красноярск),
«Природа Алтая» (Барнаул),
«Гостиный двор» (Оренбург),
«Роман-журнал. XXI век» (Москва),
«Бельские просторы» (Уфа),
«Русское эхо» (Самара).



По отдельности тиражи наших журналов небольшие, но если их сложить, сумма света, который они несут, будет значительной.

Наше издание распространяется в библиотеках и учебных заведениях Кузбасса, высылается авторам журнала, в редакции вышеперечисленных журналов и литературных газет, а также подписчикам.

Редакция журнала принимает рукописи, отпечатанные на компьютере через полтора интервала (12–14-й кегль), с обязательным приложением флешки с набором текста в любом формате. Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

Редакция знакомится с рукописями авторов не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Наш электронный адрес: sp_kuzbass@mail.ru.

Наш сайт: www.ognikuzbassa.ru.

Редакция журнала «Огни Кузбасса» благодарит за поддержку администрацию города Кемерово, АО «Стройсервис».

Журнал «Огни Кузбасса»

Главный редактор **С. Л. Донбай**

№ 1. Дата выхода в свет: 04.05.2022

Индекс 12234

Тираж 1600 экз.

Формат 60×84%. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Arial».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0 + 0,5 л. цв. вкл. Уч.-изд. л. 20,0. Заказ № 172. Цена свободная

Адрес редакции: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 40. Тел. 8 (3842) 36-85-14.

Адрес издателя ГАУК «Кузбасский центр искусств»: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 6. Тел. 8 (3842) 75-04-88.

Адрес типографии ООО «Вектор-Принт»: 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Стахановская 1-я, д. 39а, оф. 211.

Журнал «Огни Кузбасса» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ42-00877 от 10 марта 2017 г.

Учредитель (соучредители) (адрес): Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский центр искусств»

(650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 6),

Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса» общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 40)

Корректор **М. Н. Долгов**

Верстка: **Е. К. Метякова**

Лауреаты журнала «Огни Кузбасса» за 2021 год

ПРОЗА



Татьяна Ильдимирова



Агата Рыжова



Дарья Вересова

ПОЭЗИЯ



Галина Золотайна



Алексей Гамзов



Александр Денисенко

ПУБЛИЦИСТИКА



Александр Коваленко



Людмила Ракузо



Ирина Прищепова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписку на журнал «Огни Кузбасса»
можно оформить
через ООО «Урал-Пресс Кузбасс»
по телефону 8 (3842) 58-70-37

Приобрести журнал можно в редакции
по адресу: пр-т Советский, 40